НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ

КЕН КИЗИ



Над кукушкиным гнездом
Кен Кизи

Аннотация
Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая

Аннотация

Фабулу известнейшего романа Кена Кизи можно вкратце изложить как «жизнь дурдома-психушки изнутри по-американски».

Снятый М. Форманом по роману художественный фильм завоевал шесть премий Оскара.

Кен Кизи
Над кукушкиным гнездом[1]

Посвящается Вику Ловеллу, который утверждал, что драконов не существует, а потом сам привел меня в их логово.
...первый полетел на юг, а второй вернулся в дом, третий сделал плавный круг над кукушкиным гнездом...

Детская считалочка

---

[1] Примечания: 1

В английском языке слово cuckoo, кроме основного значения — кукушка, — имеет ряд других значений; одно из них — сумасшедший, не в своем уме.

Часть первая

Они там.

Черные в белых костюмах проснулись раньше, чтобы заняться сексом в коридоре и убрать все прежде, чем я их застукаю.

Выхожу из спальни — они уже вытирают пол, угрюмые и ненавидящие все вокруг: утро, больницу и тех внутри ее, с кем им приходится работать. В такие минуты лучше не попадаться им на глаза, и я в тапочках бесшумно крадусь вдоль стены. Но их особо чувствительные приборы засекают мой страх — все трое как один поднимают головы и глядят на меня. Их глаза мерцают на черных лицах, словно радиолампы внутри старого приемника.

— А вот и Вождь! Это же супер-Вождь, ребята! А ну, поди сюда, Вождь Швабра.

Суют мне в руки тряпку и показывают, где мыть сегодня. Один сзади бьет меня шваброй по ногам — поторапливайся, мол. Я повинуюсь.

— Ого, классно работает! Надо же, такой длинный, что смог бы, наверное, яблоко у меня с головы зубами снять, а слушается, как ребенок!

Все трое смеются. Затем что-то бормочут у меня за спиной, склонившись друг к другу, — гул черных машин, источающий вокруг себя ненависть, смерть и другие больничные тайны. Их не беспокоит то, что я рядом и могу узнать их страшные секреты: они думают, я глухонемой. Все так думают. Мне все-таки удалось обмануть их всех — настолько я всегда осторожен. И если то, что я наполовину индеец, как-то помогло мне в этой грязной жизни, то как раз в том, чтобы быть особенно осторожным все последние годы.

Вожусь с тряпкой у входной двери, вдруг слышу: снаружи кто-то вставляет ключ. Механизмы замка мягко и плавно поддаются повороту ключа, и я понимаю: это Большая Сестра. Только она так хорошо умеет управляться со всеми замками. Сестра проскальзывает в дверь, впустив немного холодного воздуха, и вновь щелкает замком. Ее пальцы скользят по отполированной стали — каждый ноготь, как и губы, одного цвета — странно оранжевого, словно жало паяльника. Когда она касается тебя этим цветом, не поймешь, горячий он или холодный.

У нее с собой плетеная сумка, похожая на корзину для всяких инструментов, с пеньковой ручкой, вроде тех, какими обычно торгует вдоль раска-

ленного августовского шоссе племя Ампкуа. Все годы, что я провел здесь, эта сумка при ней. Сквозь редкое плетение видно, что там внутри. В ней нет ни пудры, ни помады, ни всяких там женских мелочей, зато полно разных штуковин, которые Большая Сестра использует в своей работе: колесики и шестеренки, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилюли, сверкающие, словно фарфоровые, пинцеты и иглы, часовые зажимы и мотки медной проволоки…

Сестра кивает мне, проходя мимо. Бросаю тряпку, прижимаюсь к стене и улыбаюсь, но глаза отвожу в сторону — только так можно обмануть ее приборы обнаружения: они бессильны, если твои глаза закрыты.

В созданной мною темноте слышу, как стучат по кафелю ее каблуки, брякают в сумке вещи, и понимаю, что она чинно вышагивает дальше. Открываю глаза: она уже в конце коридора, поворачивает к застекленному посту для медсестер. Там она проведет весь день, сидя за столом, глядя в окно и делая пометки о том, что происходит в дневной палате перед ней в течение восьми часов. При мысли об этом выражение ее лица становится спокойным и умиротворенным.

Вдруг… она замечает черных. Они все еще там,

переговариваются, не зная, что она уже вошла в отделение. Наконец они почувствовали ее яростный взгляд, но поздно. Не следовало им, конечно, собираться и болтать перед ее приходом. Смущенные, они отскакивают в разные стороны. Сестра медленно приближается к тому месту, где застигла их врасплох. Она знает, о чем они говорили, и я представляю, насколько она разъярена. Сестра не дает себе отчета и, кажется, сейчас разорвет на куски этих черных ублюдков. Она вся раздувается, раздувается: белая форма вот-вот лопнет у нее на спине, а руки она вытянула так далеко, что может обхватить их всех пять, а то и шесть раз. Своей громадной головой она вертит по сторонам — вокруг никого, кроме Швабры Бромдена, глухонемого индейца-полукровки, который прячется за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что не умеет разговаривать. И она дает себе волю: улыбка исчезает, накрашенные губы растягиваются в оскал, сама она раздувается еще больше, почти превращается в трактор, так что я даже слышу запах механизмов внутри, как можно слышать запах на пределе работающего мотора. Я затаил дыхание и соображаю: Боже, на сей раз с ними все-таки что-то будет! Теперь уже их ненависть превысит допустимые пределы и

они разорвут друг друга в клочья прежде, чем сообразят, что делают!

Но только она начинает сгребать черных своими многочисленными руками, а они потрошить ее брюхо ручками швабр, как из спален появляются больные: посмотреть, что там за гам, и она вынуждена принять свой прежний вид, чтобы не увидели ее настоящего звериного обличья. Пока больные протирают глаза и с трудом соображают, из-за чего весь сыр-бор, перед ними вновь оказывается старшая медсестра, как всегда, улыбающаяся, сдержанная и спокойная. Она лишь выговаривает черным за то, что они собрались группой и болтают, когда сегодня утро, понедельник, и столько дел предстоит сделать в первый день новой рабочей недели…

— Понимаете, ребята, понедельник, утро.

— Да, мисс Вредчет…

— А у нас еще столько заданий на сегодня… Так что если в том, чтобы стоять группой и разговаривать, нет большой надобности…

— Да, мисс Вредчет…

Она замолкает и кивает окружившим их больным, которые таращатся своими красными и опухшими от сна глазами. Она кивает каждому четким, доведенным до автоматизма движени-

ем. Лицо у нее гладкое, все детали выверены, как у дорогой куклы, бело-кремовая кожа точно эмаль, голубые глаза как у ребенка и маленький нос с короткими розовыми ноздрями — все в идеальном соответствии, кроме цвета губ и ногтей и огромной груди. В процессе производства явно допустили ошибку, когда эту непомерно большую грудь посадили на тело, которое при прочих обстоятельствах можно было бы назвать совершенным. Судя по всему, она этим немало была расстроена.

Больные все еще стоят, движимые любопытством: чего это она накинулась на черных. Тогда она вспоминает, что видела меня, и объясняет:

— Сегодня, ребята, понедельник. Так почему бы нам в качестве хорошего почина в начале недели не побрить мистера Бромдена первым до завтрака, пока в комнате для бритья нет столпотворения? Тем самым мы, вероятно, избежим… э-э… различных беспорядков, которые он склонен вызывать.

Пока меня не начали искать, ныряю обратно в чулан, где хранятся швабры, плотно захлопываю за собой дверь и стараюсь затаить дыхание. Ничего нет хуже, чем бриться до завтрака. Когда перекусишь, становишься сильнее и внимательнее, и

этим ублюдкам, работающим в Комбинате, не так просто подсунуть тебе какую-нибудь машинку вместо электробритвы. Но бритье до завтрака, как она мне уже несколько раз устраивала такое, — в полседьмого, в комнате с ослепительно белыми стенами, такими же белоснежными раковинами и длинными лампами дневного света, чтобы не было теней, лишь вокруг тебя кричат лица, запертые за зеркалами, и ты ничего не можешь сделать против их машинок!

Прячусь в чулане и слушаю. Сердце стучит в темноте, но я стараюсь не пугаться и пытаюсь переключить свои мысли на что-нибудь еще: например, вспомнить поселок и большую реку Колумбия…

…Однажды мы с папой охотились на птиц в кедровой роще под Даллзом…

Но всякий раз, когда я пытаюсь мысленно очутиться в прошлом и спрятаться там, сквозь память просачивается близкий страх. Чувствую, как по коридору идет черный коротышка, принюхиваясь к моему страху. Черными воронками он раздувает ноздри, вертит непропорционально большой головой и втягивает страх со всего отделения. Учуял меня, слышу, как он фыркает. Не понимает, где я спрятался, но вынюхивает, ищет.

Стараюсь не двигаться.

…Папа приказывает мне замереть, объясняет, что собака почуяла где-то рядом птицу. Мы одолжили пойнтера у одного жителя Даллза. «Все поселковые псы, — говорит папа, — бестолковые дворняги, питаются рыбьей требухой и ни на что не годятся, а у этой собаки есть *инстинкт*.» Ничего не говорю, но уже вижу птицу в кедровом кустарнике, притаившийся серый комок перьев. Собака носится внизу кругами, слишком много запахов вокруг сбивают ее с точного следа. Птица в безопасности и пока не двигается. Держится она неплохо, но собака ее вынюхивает, кружит, она все громче и ближе. И вот птица не выдерживает, расправляет перья и выпрыгивает из кедровника прямо под папин выстрел…

Не успеваю отбежать и десяти шагов от чулана, как черные, коротышка с кем-то из больших, ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не пытаюсь вырываться или шуметь. Крикнешь — тебе же хуже. Сдерживаюсь. Пока они не добираются до висков. Трудно сказать, бритва это или какая-нибудь подменная машинка. Но вот они подбираются к вискам, и я больше не могу терпеть. Какая уж тут сила воли! Это уже не виски бреют — это жмут на… *кнопку*, воздушная

тревога! воздушная тревога! Она включает меня на полный звук, не сравнимый ни с каким другим. За стеклянной стеной все орут на меня, заткнув уши, их лица искажены, но я ничего не слышу. Мой крик впитывает все другие звуки. Они снова включают машину тумана, и она покрывает меня холодными, белыми хлопьями снега, как сбитым молоком, таким густым, что можно в нем спрятаться, если бы они меня не держали. В этом тумане не видно и на десять дюймов, сквозь мои вопли лишь слышно, как Большая Сестра с шумом носится по коридору, расшвыривая в стороны больных своей плетеной сумкой. Понимаю, что она движется сюда, но не могу унять свой крик. Она приближается. Они меня продолжают держать, и она втискивает сумку со всем содержимым мне в рот, заталкивая все это ручкой швабры.

…Охотничья собака, испуганная, мечется в тумане, потому что ничего не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных; она водит во всех направлениях своим красным резиновым носом, но не может уловить никаких запахов, кроме собственного страха, который, как пар, сжигает ее…

Меня так же будет жечь и преследовать воспо-

минание о больнице и в конце концов заставит рассказать обо всем: о ней, о сестре, о людях… И все это с шумом вырвется, словно паводок, и вы подумаете, что этот парень несет вздор или бредит. Вы решите, что это слишком ужасно, чтобы быть правдой! Все же прошу вас. Мне пока трудно ясной головой думать об этом. Но все это правда, даже если этого и не могло быть.

* * *

Когда туман рассеивается, становится видно: на этот раз я не в Шоковой мастерской, а в дневной комнате. Я помню, как меня несколько раз запирали в изоляторе и черные приносили объедки того, что предназначалось мне, но съедали сами. И вот я лежу на пахнущем мочей матрасе, а они завтракают, вытирают яйцо на тарелке поджаренным ломтем хлеба, затем жуют его; слышен запах сала, хрустит хлеб. Иногда они приносят холодную кашу и заставляют меня есть ее, даже не подсоленную.

Сегодняшнего утра я совсем не помню. Они так напичкали меня таблетками, что я ничего не соображаю, только слышу, как открывается дверь в отделение. Это значит, время около восьми. Выходит, я часа полтора провалялся в

отключке в изоляторе и техники могли делать со мной все, что угодно, а я даже никогда не узнаю, что именно.

Слышу шум у двери в отделение, где-то в коридоре — отсюда не видно. Этой дверью начинают пользоваться в восемь, и открывается она и закрывается по тысяче раз на день: ших-ших, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль стен дневной комнаты, складываем головоломки, слушаем, не вставят ли ключ в замок, и ждем, кто там появится. Больше делать особенно нечего. Иногда у двери возникает живущий при больнице один из молодых врачей, который наблюдает за нами до лечения, — до эл, как они называют. Изредка кого-нибудь навещает жена — на высоких каблуках, сумочка плотно прижата к животу. Иногда приходит группа учителей в сопровождении придурка по связям с общественностью, который постоянно всплескивает своими потными руками и говорит, насколько он рад, что в лечебницах для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью. «Согласитесь, какая радостная атмосфера!» Он вьется вокруг учительниц, сбившихся кучкой для безопасности, и восклицает:

— Ах, когда я вспоминаю прошлое время, грязь,

плохое питание и даже — да-да! — жестокость, о дамы, я понимаю, какой большой путь мы прошли в нашей деятельности!

Кто бы ни вошел в дверь, радости он не приносит, но всегда есть надежда, и, как только ключ поворачивается в замке, все поднимают головы, словно марионетки.

Сегодня механизмы замков гремят как-то странно — у двери необычный посетитель. Слышен раздраженный и нетерпеливый голос сопровождающего: «Новенький, распишитесь,» — и черные уходят.

Новенький. Все бросают играть в карты и в «монополию» и поворачиваются к двери в дневную комнату.

Обычно я подметаю коридор и вижу, кого привели, но сегодня утром, как я уже объяснил, Большая Сестра затолкала в меня тысячу фунтов и я не в силах оторваться от стула. Обычно же я первым наблюдаю, как новенький протискивается в дверь, пробирается вдоль стенки и стоит испуганно, пока черные расписываются в его приеме и забирают его в душевую; там они его раздевают, дрожащего оставляют у открытой двери, а сами втроем, ухмыляясь, бегают по коридорам в поисках вазелина.

— Нам нужен вазелин для термометра, — говорят они Большой Сестре.

Она смотрит на одного, затем на другого: «Я уверена, что он вам просто необходим, — и вручает им банку объемом, по меньшей мере, с галлон, — но смотрите, ребята, не собирайтесь там вместе».

Потом я вижу их в душевой с новеньким. Они намазывают на термометр слой вазелина толщиной в палец, приговаривая: «Вот так, мамочка, вот так», потом закрывают дверь, включают все души, и злое шипение воды, бьющей по зеленому кафелю, заглушает все остальные звуки. Обычно я рядом и все это вижу.

Но сегодня мне приходится сидеть на стуле и только слушать, как его приводят. И все же, хоть я ничего не вижу, почему-то уверен, что он не простой новичок. Не слышно, чтобы он испуганно ползал вдоль стены, когда же ему говорят о душе, он не соглашается робким таким «да», а сразу отвечает громким и зычным голосом, что уже чертовски хорошо помылся, спасибо.

— Сегодня утром меня мыли в суде, а вчера вечером в тюрьме. Клянусь, они бы помыли и мои уши по дороге в такси, если бы у них были условия. Да, ребята, каждый раз при перевозке меня постоянно дрят до, во время и после этого собы-

тия. Я уж теперь, как только слышу плеск воды, сразу начинаю складывать вещички. И отвали со своим термометром, Сэм, дай мне осмотреться в моем новом жилище. Сроду не приходилось бывать в Институте психологии.

Больные озадаченно смотрят друг на друга, потом снова на дверь, откуда по-прежнему доносится его голос. И говорит он громче чем следует, несмотря на то, что черные рядом. Голос у него такой, что кажется, будто они внизу, а он намного выше их, и будто он плывет в двадцати ярдах над ними и кричит им сверху. Это говорит о его силе. А как он двигается по коридору? Это тоже говорит о силе: он не скользит трусливо, на его каблуках железо, и звон по полу идет как от подков. Вот он появился в дверях, остановился, большие пальцы в карманах, ноги широко расставлены. Он стоит, а больные смотрят на него.

— Доброе утро, ребята.

Над его головой на бечевке висит бумажная летучая мышь. Он протягивает к ней руку и щелчком раскручивает ее.

— Отличный осенний денек.

Его речь немного напоминает папину: голос громкий и полный озорства. Но он не похож на папу. Папа был чистокровным американским

индейцем, вождем, твердым и блестящим, как оружейный приклад. А этот парень рыжий, с длинными огненными баками и торчащими из-под кепки всклоченными волосами — давно не стригся. Такой же широкий, как папа был высокий: широкие скулы, плечи, грудь, широкая белозубая дьявольская ухмылка; и твердость его другая, чем у папы: как у бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Нос с одной скулой пересекает рубец — кто-то хорошо звезданул в драке, — и швы еще не сняли. Он стоит и ждет. Но никто даже не шевелится, чтобы ответить. И тогда он начинает смеяться. Никто точно не может сказать, почему он смеется, ничего смешного не происходит. Но смеется он не так, как тот, из службы связей с общественностью. Это свободный и громкий смех, который все шире расходится кругами, достигает стен и звучит по всему отделению. Он звучит по-настоящему, и я вдруг начинаю понимать, что слышу смех впервые за много лет.

Он стоит и смотрит на нас, откидываясь назад, и смеется, смеется. Большие пальцы у него в карманах, остальные растопырены на животе. Я вижу, какие большие и избитые у него руки. Все, кто находится в отделении: больные, персо-

нал, — все ошарашены его видом и смехом. Никто не останавливает, и все молчат. Насмеявшись какое-то время, он переходит в дневную комнату. Он уже не смеется, но его смех все еще дрожит вокруг него, как дрожит звук вокруг только что отзвонившего колокола: он в его глазах, улыбке, развязной походке, в манере говорить.

— Меня зовут Макмерфи, ребята. Р. П. Макмерфи. И у меня страсть к азартным играм. — Он подмигивает и поет отрывок из песни: — «Как только вижу я колоду карт, все деньги я готов поставить…» — И снова смеется.

Он подходит к одной из компаний картежников, толстым и тяжелым пальцем приподнимает карты одного из острых, смотрит на них прищурясь и качает головой.

— Так точно, именно для этого я и прибыл сюда: за карточным столиком развлечь вас и повеселиться, цыплята. На пендлтонской исправительной ферме уже никого не осталось, кто бы скрасил мои дни, поэтому я, видите ли, попросил перевести меня. Мне нужна свежая кровь. Хо-хо, вы только посмотрите, как этот гусь держит карты: во всем доме видно. Э, детки, я вас обстригу как овечек!

Чесвик собирает свои карты. Рыжий протяги-

вает ему руку:

— Привет, приятель. Во что поиграем? Пинэкл? Боже, теперь понятно, почему тебе наплевать, что твои карты видят все. Разве у вас тут нет нормальной колоды? Что же, пожалуйста. Я прихватил свою. Так, на всякий случай. Присмотритесь к картинкам, а? Все разные. Пятьдесят две позиции.

Чесвик и так уже вытаращил глаза, а от того, что он увидел на этих картах, лучше ему не стало.

— Полегче, не мусоль их. У нас впереди полно времени, и мы еще наиграемся. Я люблю играть этой колодой, потому что пройдет не меньше недели, пока другие игроки начнут хотя бы присматриваться к масти.

На нем брюки и рубашка, выданные на ферме и выгоревшие до цвета разбавленного молока. Лицо, шея и руки его стали пунцовыми от длительной работы в поле. В волосах застряла черная мотоциклетная шапочка, через руку переброшен кожаный пиджак, на ногах — башмаки, серые, пыльные и такие тяжелые, что, если ими ударить, любой сломается пополам. Он отходит от Чесвика, снимает кепку и хлопает ею по бедру, выбивая целую пыльную тучу. Один из черных

кружит вокруг него с термометром, но он слишком быстр для них. Пока тот прицелится — он уже среди острых, ходит, всем пожимает руку. Манера разговаривать, подмигивание, громкий голос, важная походка — все это напоминает мне продавца автомобилей или оценщика скота, или одного из торговцев на ярмарке, что стоят обычно в полосатых рубашках с желтыми пуговицами на фоне развевающихся флагов и притягивают к себе все взгляды, будто магнитом.

— Тут такая история вышла. По правде говоря, на исправительной ферме я попал в пару потасовок, и суд постановил, что я психопат. Вы думаете, я буду спорить с судом? Фью, можете поставить свой последний доллар, что я этого не буду делать. Если мне это поможет слинять с чертовых гороховых полей, то я буду всем, чем только пожелают эти мерзавцы: психопатом, бешеной собакой или оборотнем, потому что мне наплевать на мотыгу до самой смерти. Теперь мне говорят, что психопат — это тот, кто много дерется и слишком охоч до баб. Но, думаю, это неправда, правильно? Я никогда не слышал, чтобы с человеком нельзя было разобраться. Привет, приятель, как тебя зовут? Я, Макмерфи, спорю с тобой на два доллара, что ты не знаешь, сколько

в этой игре у тебя очков на руках, только не смотри. Два доллара, что скажешь? Черт тебя побрал, Сэм, неужели нельзя подождать полминуты и не тыкать меня своим чертовым термометром?

* * *

С минуту новенький оглядывает дневную комнату. В одном углу — больные помоложе, или острые, — доктора считают их еще слишком больными, чтобы лечить, — заняты армреслингом и карточными фокусами, когда нужно столько-то прибавить, отнять и отсчитать, и тогда угадываешь нужную карту. Билли Биббит пытается научиться сворачивать самокрутку, а Мартини ходит и ищет какие-то вещи под столами и стульями. Острые много двигаются. Они обмениваются шутками и прыскают в кулак (никто не может расслабиться и засмеяться, не то весь персонал сбежится с блокнотами и кучей вопросов), и пишут письма желтыми обкусанными огрызками карандашей.

Они шпионят друг за другом. Иногда кто-нибудь случайно сболтнет что-то о себе, тогда один из тех, кто это слышал, зевнет, встанет, шмыгнет к большому специальному журналу на дежурном посту и внесет услышанную им информацию,

которая представляет терапевтический интерес для всего отделения. Большая Сестра говорит, что журнал и заведен для этого, но я знаю, что она просто накапливает достаточные улики, чтобы отправить какого-нибудь беднягу на переделку в Главный корпус, где ему капитально переберут мозги и устранят неисправность.

Имя того, кто внес эту информацию в журнал, пометят и позволят назавтра лечь позже.

В другой части комнаты, напротив острых, находится брак продукции Комбината — хроники. Держат их в больнице не для лечения, а чтобы они не бродили по улицам и не позорили марку. Хроники здесь навечно, и в этом персонал вынужден признаться. Хроники делятся на ходоков, как я, — если их подкармливать, они еще могут передвигаться, — колясочников и овощей. Хроники, то есть большинство из нас, — это машины с внутренними неисправностями, которые нельзя починить, или с неисправностями врожденными, или вбитыми: когда человек многие годы бьется обо что-то твердое, больница подбирает его, иначе он будет гнить на каком-нибудь пустыре.

Но среди нас, хроников, есть и такие, в отношении которых персонал когда-то допустил ошибки:

кое-кто пришел острым, а потом превратился в хроника. Например, Эллис. Поступил острым, но его крепко испортили, перегрузив в этой грязной комнате, где убивают мозг и которую черные называют «Шоковой мастерской». Теперь он, как охотничий трофей, прибит к стене в том же состоянии, в каком его сняли со стола в последний раз, в той же самой позе: руки вытянуты, ладони согнуты, с тем же ужасом на лице. Гвозди вытаскивают, когда нужно поесть или перевезти его на койку, а еще — чтобы я мог вытереть лужу там, где он стоит. На прежнем месте он простоял так долго, что моча проела пол и балки под ним, и он постоянно проваливался в палату внизу, создавая путаницу и различные недоразумения при проведении проверок личного состава.

Ракли, тоже хроник, поступил несколько лет назад как острый, но его перегрузили иначе: случилась какая-то ошибка в одной из машин. Он был вообще невыносим: лягал черных, кусал практиканток за ноги. Поэтому его и забрали, чтобы починить. Его привязали к столу, дверь закрылась, и только мы его и видели. Но перед этим он успел подмигнуть и сказать черным, когда они от него отходили: «Вы, чертово воронье, поплатитесь за это».

Через две недели его привезли в палату, обритого наголо, все лицо — жирный лиловый кровоподтек, а над каждым глазом вшито по пробке размером с пуговицу. Как они его там выжигали, нетрудно было догадаться по его глазам, задымленным, серым, опустошенным, как перегоревшие предохранители. Теперь он ничего не делает, только держит старую фотографию перед выжженным лицом, вертит и поворачивает своими холодными пальцами, от этого карточка с обеих сторон стала серой, как его глаза, и уже ничего нельзя разглядеть на ней.

Медики считают Ракли одной из своих неудач, но я не уверен, что ему повезло бы больше, если бы его ремонт прошел нормально. Теперь они ремонтируют довольно успешно: у них прибавилось сноровки и опыта. Уже нет украшений на лбу, вообще никаких разрезов — они лезут внутрь через глазницы.

Иногда какой-нибудь парень отправляется подремонтироваться. Отделение покидает злое, бешеное и обиженное на весь мир существо, а возвращается, недель через несколько, правда, с фонарями под глазами, будто после драки, самое милое, приятное и послушное создание из тех, с которыми ты когда-либо встречался. Через

пару месяцев он может даже отправиться домой — низко надвинутая шляпа прикрывает лицо лунатика, который бродит в простом и счастливом сне. Говорят, это успешный случай, а я скажу, что это еще один робот для Комбината, и для него было бы лучше, если бы он стал неудачей, как Ракли, и сидел бы там, щупал свою фотографию и пускал слюни. Больше он ничем не занимается. Черному коротышке время от времени удается вывести его из себя, когда, наклонившись к нему поближе, он спрашивает:

— Слушай, Ракли, чем, по-твоему, занимается сейчас твоя женушка?

Ракли вскидывает голову. Где-то в перемешанном его механизме начинает журчать память. Он багровеет, вены его на одном конце закупориваются, от этого его так распирает, что из горла едва вырывается свистящий звук. В уголках рта появляются пузыри, он с огромным усилием двигает челюстью, пытаясь что-то сказать. Наконец ему все-таки удается выдавить несколько слов — тихий хрип, от которого мороз идет по коже: «На… жену! На… жену!» И от этих усилий он тут же теряет сознание.

Эллис и Ракли — самые молодые хроники, а вот полковник Маттерсон — старше всех. Это усох-

ший от времени кавалерист еще первой войны. У него привычка задирать своей тростью юбки проходящим медсестрам и преподавать что-то вроде истории всем, кто готов слушать, по письменам на своей левой руке. По возрасту в отделении он старший, но находится здесь не очень давно: жена отдала его лишь несколько лет назад, когда уже просто не могла ухаживать за ним.

Дольше всех больных в отделении я — со второй мировой войны. Но еще дольше всех здесь Большая Сестра.

Хроники с острыми обычно не общаются. Каждый на своей части дневной комнаты — так хотят черные. Они говорят, что так лучше и больше порядка, и дают каждому понять, что так будет всегда. Они приводят нас после завтрака, смотрят, как мы разбились на группы, и кивают: «Правильно, джентльмены, хорошо. Так и оставайтесь».

Вообще-то они могли бы и ничего не говорить, потому что хроники, кроме меня, мало передвигаются, да и острые считают, что им лучше быть на своей стороне, мол, от хроников пахнет хуже, чем от грязной пеленки. Но я-то знаю, что не из-за вони они держатся подальше от нас, а просто не хотят, чтобы им напоминали: такое может когда-нибудь случиться и с ними. Боль-

шая Сестра понимает этот страх и знает, как им пользоваться. Как только у острого появляется дурное настроение, она объясняет, вы, мальчики, лучше будьте умницами, выполняйте указания персонала, которые разработаны для вашего же лечения, иначе вы окажетесь на той стороне.

(Все в отделении гордятся послушанием больных. У нас есть даже маленькая медная табличка на кленовой дощечке со словами: «Поздравляем отделение больницы, которое обходится наименьшим количеством персонала». Это награда за послушание. Она висит на стене над журналом, точно посередине между хрониками и острыми).

Рыжий новичок Макмерфи сразу понял, что он не хроник. За минуту осмотрев дневную комнату, он увидел, что его место на стороне острых, и направился прямо туда, ухмыляясь и пожимая руки всем встречным.

Я вижу, что поначалу все они чувствуют себя не в своей тарелке из-за его хохм, шуточек, зычного покрикивания на черного, который все еще гоняется за ним с термометром, и особенно из-за его громкого смеха. От этого смеха начинают дергаться стрелки приборов пульта управления. Острые выглядят струхнувшими и пришибленными, как дети в классе, которые, когда учитель

вышел, а какой-нибудь хулиганистый пацан устраивает целый бедлам, боятся, что учитель вновь заглянет в класс и решит оставить их после уроков. Они ерзают, дергаются в такт со стрелками пульта управления. Вижу, Макмерфи заметил их беспокойство, но его это не останавливает.

— Черт побери, ну и компания! Что-то вы мало похожи на сумасшедших.

Он пытается их растормошить — так ведущий аукциона сыплет шутками, чтобы расшевелить толпу до начала торгов.

— Кто тут из вас считает себя самым сумасшедшим? Кто самый чокнутый? Кто руководит карточными играми? Я здесь первый день и хочу сразу произвести хорошее впечатление на нужного человека, если он мне докажет, что он и есть тот человек. Кто здесь пахан-псих?

Он обращается прямо к Билли Биббиту. Наклонился и смотрит так пристально, что тот с заиканием вынужден выдавить из себя, что он еще не па-па-пахан-псих, а за-за-заместитель.

Макмерфи сует ему огромную руку, и Билли ничего не остается, как пожать ее.

— Что ж, приятель, — обращается он к Билли, — я рад, что ты за-заместитель, но так как я подумываю о том, чтобы прибрать к рукам

эту лавочку, всю чохом, может, мне лучше переговорить с главным? — Он осматривается, видит, что некоторые острые прекратили играть в карты, кладет одну руку на другую и сжимает, щелкая всеми суставами. — Задумал я, приятель, заделаться здесь игорным королем и начать жестокую игру в очко. Так что отведи-ка ты лучше меня к своему начальнику, а уж мы разберемся, кто здесь будет боссом.

Непонятно, дурачится этот человек, у которого грудь колесом, на лице шрам и наглая улыбка, либо он в самом деле такой ненормальный, а может, то и другое вместе, но у них начинает появляться большой интерес к нему. Они видят, как он кладет свою красную ручищу на тонкую руку Билли и ждет, что скажет тот. Для Билли ясно, что ему нужно что-то ответить, поэтому он оглядывается, замечает одного из игроков в пинэкл, и говорит:

— Хардинг, по-по-моему это к т-т-тебе. Ты президент совета па-па-пациентов. Этот ч-ч-человек хочет с тобой п-п-поговорить.

Острые заулыбались, беспокойство их прошло, и они рады, что происходит что-то необыкновенное. Начинают дразнить Хардинга, спрашивают, пахан-псих он или нет. Тот кладет свои карты.

Хардинг — скучный нервный человек, иногда кажется, что ты видел его лицо в фильме, как будто оно не может принадлежать обыкновенному человеку. У него широкие худые плечи, и он пытается обнять ими свою грудь, когда хочет уйти в себя. Руки его настолько длинные, белые и изящные, что кажутся мне вырезанными из мыла. Иногда они высвобождаются и, как две белые птицы, свободно парят над ним, пока он их не заметит и не поймает, обхватив коленями. Его смущает то, что у него красивые руки.

Он президент совета пациентов потому, что у него есть документ, где сказано, что он окончил колледж. Документ в рамке стоит на ночном столике рядом с фотографией женщины в купальнике, о которой тоже можно подумать, что видел ее в кино: у нее очень большая грудь, пальцами она придерживает верхнюю часть купальника и смотрит в сторону объектива. Хардинг тоже запечатлен на этой фотографии. Он сидит за женщиной на полотенце, жутко тощий в своем плавательном костюме, и кажется, будто он боится, что какой-нибудь здоровяк насыплет ногой песка на него. Хардинг много хвастает своей женой, говорит, что это самая сексуальная женщина в мире и ей явно мало его по ночам.

Когда Билли показывает на Хардинга, тот откидывается на спинку стула, принимает важный вид и говорит в потолок, не глядя на Билли и Макмерфи:

— Мистер Биббит, этот… джентльмен записался на прием?

— Вы з-з-записались на прием, м-м-мистер Макмерфи? Мистер Хардинг — з-з-занятой человек и без записи никого не принимает.

— Этот занятой человек мистер Хардинг и есть главный псих? — Макмерфи смотрит на Билли, не поворачивая головы, и Билли быстро и часто кивает: он рад, что на него все обращают внимание. — Тогда скажи главному психу Хардингу, что Р. П. Макмерфи желает с ним встретиться. Эта больница тесна для нас двоих. Я привык быть главным на всех лесозаготовках Северо-Запада, главным картежником еще с корейской войны, был даже главным на прополке гороха на этой гороховой ферме в Пендлтоне, так что уж если мне приходится быть психом, то хочу быть дьявольски лучшим. Скажи этому Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусливый скунс и ему лучше убраться из города до захода солнца.

Хардинг еще больше откидывается на спинку

стула, цепляет большие пальцы за лацканы.

— Биббит, сообщи этому молодому выскочке Макмерфи, что я встречусь с ним в главном коридоре в полдень, и там в борьбе наших пылающих либидо[2] мы решим этот вопрос раз и навсегда. — Хардинг старается говорить медленно и лениво, как Макмерфи, но из-за его тонкого задыхающегося голоса это у него выходит смешно. — Чтобы быть честным, ты также можешь предупредить его, что я главный псих отделения уже два года и более сумасшедшего, чем я, не найти.

— Мистер Биббит, сообщи-ка этому мистеру Хардингу, что я такой ненормальный, что, признаюсь, голосовал за Эйзенхауэра.

— Биббит, мистеру Макмерфи будет интересно знать, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра *дважды*!

— Передай ответ мистеру Хардингу, Биббит, — он кладет обе руки на стол и наклоняется, голос его становится тише, — что я такой ненормальный, что собираюсь снова голосовать за Эйзенхауэра в *ноябре*!

— Снимаю шляпу, — говорит Хардинг, склоняет голову и пожимает Макмерфи руку.

---

[2] Примечания: 2

Либидо — в психоанализе учение о различных формах и проявлениях психической энергии с акцентом на сексуальных влечениях.

Мне совершенно ясно, что Макмерфи одержал победу, но я не совсем понимаю какую.

Все острые побросали свои дела и придвинулись ближе посмотреть, что за птица этот новый парень. До сих пор ничего подобного в отделении не было. Они расспрашивают его, откуда он и чем занимался. Такими я их еще никогда не видел. Макмерфи говорит, что он увлеченный человек. Рассказывает, что был бродягой и работал на лесоразработках, пока не попал в армию и не узнал о своих природных наклонностях. Одних армия научила сачковать, других — придуриваться, а его — играть в покер. После этого он осел и посвятил себя всевозможным карточным играм. По его словам, если бы ему не мешали, он бы только играл в покер, не женился бы, жил, где и как захочет, «но вам известно, как общество преследует увлеченных людей. С тех пор как я нашел свое призвание, я отбыл сроки в тюрьмах стольких маленьких городков, что могу написать об этом брошюру. Говорят, я закоренелый скандалист и люблю подраться. Чепуха. Им было наплевать, когда в драку попадал тупой дровосек. Это, мол, простительно, мол, рабочий человек спускает пар. Но если ты картежник, и они об этом знают, то стоит только плюнуть в неположенном месте

— как ты уже проклятый уголовник. Хо-хо, они там прилично потратились, катая меня из одного захолустья в другое.»

Он качает головой и надувает щеки.

— Но это лишь поначалу, потом я освоился. По правде говоря, до нападения с побоями, за которые я отбывал срок в Пендлтоне, я не залетал почти год. Поэтому и попался. Не было практики: парень сумел подняться и сообщить в полицию быстрее, чем я смылся из города. Очень крепкий мужик…

Он снова хохочет, жмет руки и садится за стол помериться силой всякий раз, когда рядом появляется черный с термометром. Он познакомился со всеми острыми и, закончив пожимать руку последнему, сразу направился к хроникам, как будто между нами нет никакой разницы. Не поймешь, вправду он такой дружелюбный или у картежников свой интерес знакомиться с тяжелыми больными, большинство из которых даже не помнят своего имени.

Вот он отрывает от стены руку Эллиса и трясет ее так, будто он политик и кандидат на выборах, а голос Эллиса значит ничуть не меньше других.

— Приятель, — говорит он Эллису торжественным тоном, — меня зовут Р.П. Макмерфи, и мне

не нравится, когда взрослый человек плескается в собственной луже. Почему бы тебе не пойти просушиться?

С большим удивлением Эллис смотрит на лужу у своих ног.

— О, спасибо, — говорит он и даже делает несколько шагов в направлении уборной, но гвозди тянут его руки обратно к стене.

Макмерфи движется вдоль хроников, пожимает руки полковнику Маттерсону, Ракли и старику Питу. Обменивается рукопожатиями с колясочниками, ходоками и овощами, пожимает руки, которые больше напоминают мертвых, заводных птиц, — эти чудеса из тонких косточек и проводков, замершие и упавшие. Жмет руки всем подряд, кроме водяного психа Большого Джорджа, который улыбается, но робко отстраняется от не идеально чистой руки, поэтому Макмерфи просто отдает ему честь и, уходя, обращается к своей правой руке:

— Рука, как же этот друг догадался обо всех твоих злых делах?

Никто никак не поймет, к чему он клонит и зачем этот цирк с непременным пожатием руки каждому, и все-таки это лучше, чем разбирать головоломки. Он не устает повторять, как это

важно обойти всех и познакомиться с людьми, с которыми ему придется иметь дело, и это входит в обязанности игрока. Но должен же он понимать, что игра с восьмидесятилетним образчиком органики, который только и может, что взять карту в рот и пожевать, маловероятна. Тем не менее он, похоже, получает от этого удовольствие и к тому же здорово может рассмешить людей.

Последний — я. Дойдя до меня, Макмерфи останавливается, снова цепляется большими пальцами за карманы и хохочет, закинув голову, как будто я смешнее всех остальных. Меня неожиданно охватывает страх: вдруг он догадался, что я лишь симулирую, сидя с подтянутыми к груди коленями, обхватив их руками и глядя вперед, как будто ничего не слышу.

— Ого, — произносит он, — кто это здесь такой?

Этот момент я помню отчетливо. Помню, как он, прикрыв один глаз, приподнял голову, посмотрел сверху только начавшего заживать розового шрама на носу и захохотал. Сначала я решил, что он смеется над моим лицом и черными масляными волосами индейца. Потом, помню, подумал, что ему смешно, какой я слабый. Но вдруг я понял: он смеется из-за того, что с самого начала догадался,

что я лишь играю роль глухонемого, и, как бы хитро я не вел себя, он раскусил это дело, а теперь смеется и подмигивает, чтобы мне было ясно.

— Поведай о себе, Большой Вождь. Ты как Сидящий Бык[3] на сидячей забастовке. — И Макмерфи посмотрел на острых: может, засмеются шутке. Когда они лишь хихикнули, он снова повернулся ко мне и подмигнул: — Как зовут тебя, Вождь?

Через всю комнату раздался голос Билли Биббита:

— Его з-з-зовут Бромден. Вождь Бромден. Но все н-н-называют его Вождь Швабра, потому что санитары чаще других з-з-заставляют его подметать. Пожалуй, ничего другого он не м-м-может делать. Глухой. — Билли почесал рукой подбородок. — Если бы я был г-г-глухой, — вздохнул он, — я бы п-п-покончил с собой.

Макмерфи продолжал смотреть на меня:

— Он растет, скоро прилично вырастет, а? Сколько он сейчас?

— Кто-то однажды з-з-замерял. Кажется, почти семь футов. Большой-то, большой, а собствен-

---

[3] Примечания: 3

Сидящий Бык (ум. 1890) — индейский вождь. Командовал индейцами племени сиу в битве у реки Литтл Бигхорн 25 июня 1876 г., когда погибло более 200 американских солдат, в том числе и генерал Джордж Армстронг Кастер.

ной т-т-тени боится. Просто б-б-большой глухой индеец.

— Когда я увидел, как он тут сидит, я так и подумал, что он похож на индейца. Но Бромден не индейское имя. Из какого он племени?

— Не знаю, — ответил Билли, — я п-п-прибыл — он уже был здесь.

— У меня есть сведения от врача, — сказал Хардинг, — он лишь наполовину индеец, из индейцев Колумбии, по-моему. Это вымершее племя из района ущелий реки Колумбия. По словам доктора, его отец был вождем, отсюда кличка. А что касается фамилии Бромден, то, боюсь, в моих познаниях об индейцах эти сведения отсутствуют.

Макмерфи наклонил голову прямо к моему лицу:

— Это правда? Ты глухой, Вождь?

— Он г-г-глухонемой.

Макмерфи собрал губы в трубочку и долго смотрел мне в лицо. Потом выпрямился и протянул руку:

— Черт побери, но руку пожать он может? Хоть глухой, хоть какой. Ей-Богу, Вождь, пусть ты большой, но пожми мне руку или я расценю это как оскорбление. А оскорблять нового главного психа больницы не очень хорошо.

Сказав это, он оглянулся на Хардинга с Билли и скривил рожу, по-прежнему протягивая мне свою огромную, как тарелка, руку.

Хорошо помню, как выглядела эта рука: сажа под ногтями еще с тех пор, как он работал в гараже, ниже суставов — татуировка якоря, на среднем суставе — отклеившийся по краям грязный пластырь. Остальные суставы покрыты шрамами и порезами, старыми и новыми. Помню ладонь, гладкую и твердую, как кость от трения о деревянные ручки мотыг и топоров. Такую руку трудно представить с картами. Ладонь мозолистая, мозоли потрескались, и в трещины въелась грязь — дорожная карта его поездок по Западу. Его ладонь держала мою руку с шершавым звуком. Помню, как его толстые и сильные пальцы сомкнулись над моими и в моей кисти возникло какое-то странное чувство: она стала разбухать на моей тонкой руке, как будто он вливал в нее свою кровь. В ней заиграла сила. Помню, она раздулась и стала такой, как у него.

— Мистер Макмерри.

Это Большая Сестра.

— Мистер Макмерри, подойдите сюда, пожалуйста.

Это черный с термометром исчез и привел ее.

Она стоит, слегка постукивая этим термометром по своим часам, глаза бегают по новичку, пытаясь оценить его. Губы сердечком, как у куклы, готовой взять игрушечный сосок.

— Мистер Макмерри, санитар Уильямс рассказал мне, что вас довольно трудно уговорить принять предписываемый новичкам душ. Это правда? Поймите, пожалуйста, я должным образом оцениваю ваши действия по знакомству с пациентами отделения, но всему свое время, мистер Макмерри. Простите, что я прерываю вас и мистера Бромдена, но вы должны понимать: *каждый…* обязан выполнять правила.

Он отводит назад голову и подмигивает так, будто она сможет одурачить его не больше, чем я, и он ее раскусил. С минуту он смотрит на нее одним глазом.

— Знаете что, — говорит он, — именно так кто-нибудь всегда говорит мне о правилах…

Он улыбается. Они оба оценивающе улыбаются друг другу.

— И именно тогда, когда видит, что я собираюсь сделать как раз наоборот.

И он отпускает мою руку.

* * *

В застекленном посту Большая Сестра открыла упаковку с иностранной надписью и набирает в шприц травянисто-молочную жидкость из пузырьков. Рядом сестричка, у которой один глаз блуждает и всегда опасливо смотрит назад, пока другой занят обычным делом, берет маленький поднос с наполненными шприцами, но пока не уходит.

— Мисс Вредчет, какое ваше мнение о новом пациенте? По-моему, он симпатичный, общительный и все такое прочее, но, если я не ошибаюсь, он определенно захватывает власть.

Большая Сестра проверяет острие иглы пальцем.

— Боюсь, — она втыкает иглу через пузырек в резиновую пробку и тянет поршень, — именно это и собирается сделать новый пациент: захватить власть. Он из тех, кого мы называем «манипуляторами», мисс Флинн. Такие люди используют все и вся ради своих собственных целей.

— Но… здесь, в психиатрической больнице?! Какая у него может быть цель?

— Какая угодно. — Она спокойна, улыбается,

вся ушла в работу, наполняя шприцы. — Комфорт и легкая жизнь, например. Или желание чувствовать власть и уважение, денежные поступления, наконец. Может быть, все это вместе. Иногда цель манипулятора просто развалить отделение. Есть и такие люди в нашем обществе. Манипулятор может повлиять на других больных и разложить их до такой степени, что потребуются месяцы, чтобы все снова наладить. При нынешней политике вседозволенности в психиатрических больницах им это сходит с рук. Несколько лет назад все было иначе. Помню, находился у нас в отделении некто мистер Тейбер… невыносимый манипулятор… недолгое время… — Она отрывается от работы, наполовину заполненный шприц перед глазами как маленький прутик. Взгляд рассеянный и довольный от воспоминаний. — Мистер Тейбер, — повторяет она.

— Но как? — удивляется сестра. — Что на свете может заставить человека разваливать отделение? Какие мотивы…

Она обрывает сестричку — снова вонзает шприц в резиновую пробку, наполняет его, выдергивает и кладет на поднос. Я вижу, как двигается ее рука, когда она берет следующий шприц: прыжок, зависла в воздухе, схватила.

— Мисс Флинн, вы, кажется, забываете, что мы имеем дело с сумасшедшими.

Большая Сестра по-настоящему выходит из себя, если что-то мешает ее хозяйству работать точно и четко, как хорошо отлаженный механизм. Малейший сбой, непорядок или что-то в этом роде превращают ее в белый тугой комок ярости с натянутой улыбкой. Она прохаживается по отделению все с той же кукольной улыбкой, втиснутой между носом и подбородком, с тем же спокойствием, исходящим из глаз, но внутри она напряжена, как стальная струна. Я это знаю и ощущаю. И не капли не расслабится, пока источник нарушения не устранят или, как она называет, «не приведут в соответствие с окружающей обстановкой».

Под ее руководством внутренний мир отделения почти полностью соответствует окружающей обстановке. Дело, однако, в том, что она не может все время находиться в отделении. Часть времени она вынуждена проводить во внешнем мире. Поэтому она не оставляет мысли и его, мир внешний, привести в соответствие. Тот факт, что она работает рядом с такими же, как сама, — их я называю Комбинатом, то есть огромной организацией, которая стремится привести в

соответствие внешний мир, в какое уже приведен мир внутренний, — тот факт превратил ее в настоящего ветерана этого дела. Давным-давно, когда я только поступил сюда из внешнего мира, Большая Сестра уже Бог знает сколько лет отдала делу приведения в соответствие.

Я замечаю, как с годами она становится все более опытной. Практика укрепила ее и придала ей уверенности, и теперь она обладает реальной властью, которая распространяется вокруг по тончайшим проводкам, невидимым для всех, кроме меня. Я наблюдаю, как она сидит в центре этой паутины проводов и, словно внимательный робот, следит за состоянием сети с механической сноровкой насекомого, она знает, куда каждую секунду идет тот или иной проводок и какой ток направить, чтобы получить нужный результат. До того как армия послала меня в Германию, я был помощником электрика в учебном лагере, к тому же в колледже изучал целый год электронику, поэтому знаю, как можно сделать все эти штучки.

Сидя в центре этих проводов, она мечтает о мире порядка и четкого функционирования деталей, как в карманных часах со стеклянной задней крышкой; ей нужно, чтобы порядок никогда не

нарушался, а все пациенты внутреннего мира превратились в послушных ее лучу хроников в колясках, у которых в каждой штанине по катетеру, соединенному с канализационным стоком под полом.

Год за годом она подбирала себе идеальный штат: врачи всех возрастов и мастей являлись перед ней со своими идеями о том, как управлять отделением, у иных даже хватало характера отстаивать эти идеи, и каждого из них она изо дня в день пронзала своим ледяным взглядом, пока в странном ознобе они не отступали. «Уверяю вас, я не знаю, в чем дело, — объясняли они заведующему по кадрам, — но, с тех пор как я работаю в отделении с этой женщиной, мне кажется, что в моих жилах течет аммиак. У меня постоянная дрожь, мои дети отказываются сидеть у меня на коленях, а жена не хочет спать со мной. Я *настаиваю* на переводе — неврологический бункер, алкоцистерна, педиатрия, мне все равно!»

И так у нее год за годом. Врачи держатся кто три недели, кто три месяца. Наконец она останавливается на человечке с большим широким лбом, мясистыми щеками и сжатой на уровне глаз головой, как будто раньше он носил слишком узкие очки, причем так долго, что они сдавили

его лицо посередине, поэтому теперь он цепляет очки шнурком за пуговицу на воротнике; они болтаются на багровой переносице его маленького носа и всегда сползают то в одну, то в другую сторону, и он должен наклонять голову при разговоре, чтобы они сидели ровно. Вот этот доктор ей подходит.

Своих трех дневных санитаров она подбирала еще дольше, проверив и забраковав тысячи. Они проходили перед ней длинной вереницей черных, толстоносых масок, с первого взгляда ненавидящих ее и ее кукольную белизну. Примерно с месяц она присматривалась к ним, оценивая их ненависть, затем спроваживала, потому что мало ненавидели. Когда наконец она нашла тех нужных трех, причем по одному, не сразу, а в течение нескольких лет, встраивая их в свои планы и сеть, она была точно уверена: они ненавидят так, что справятся.

Первого она добыла спустя пять лет, как я прибыл в отделение, — скрученный жилистый карлик цвета мокрого асфальта. Его мать изнасиловали в Джорджии, а отец в это время находился рядом, привязанный постромками плуга к раскаленной печи, и кровь стекала по его ногам в ботинки. Мальчику было пять лет, он мог только

одним глазом наблюдать через дверную щель чулана и с тех пор ни на дюйм не вырос. Теперь его тонкие серые веки далеко свисают из-под бровей, и кажется, будто на переносице сидит летучая мышь. Он приподнимает их чуть-чуть каждый раз, когда в отделении появляется кто-то новый; смотрит из-под них украдкой, изучает новичка с головы до ног и кивнет лишь один раз, как будто да, он уже окончательно убедился в том, в чем и так уверен. Выйдя первый раз на работу, он принес носок, набитый дробью, чтобы приструнивать пациентов, но она ему объяснила, что теперь так не делают, велела оставить эту колотушку дома и обучила собственной методике: не показывать свою ненависть, быть спокойным и ждать, ждать своего момента, маленькой слабинки, но уж потом набрасывать удавку и тянуть, не отпускать. Таким образом ты приструнишь их. Так она учила.

Остальные черные появились через два года с разницей в месяц, причем один был похож на другого настолько, что мне кажется, будто она заказала копию с того, который пришел раньше. Оба — высокие, резкие и костлявые, на лицах высечено выражение, которое никогда не меняется, — как кремниевые наконечники стрел.

Взгляд пронзает. Если провести рукой по волосам, наверное, сдерешь кожу с ладони.

Все такие черные, как телефон. Чем они чернее, тем больше времени будут заниматься мытьем, уборкой и поддержанием порядка в отделении — это она усвоила по большому числу их предшественников. Действительно, форма у них просто белоснежная. Белая, холодная и жесткая, как у нее.

У всех троих накрахмаленные белые брюки, белые рубашки с металлическими застежками сбоку и такие же белые туфли, отполированные, как лед, причем благодаря красной каучуковой подошве они передвигаются всегда бесшумно, как мыши, возникая в различных местах отделения всякий раз, когда больной решил уединиться или шепотом сообщить другому что-либо по секрету. Не успел пациент забиться в уголок, как вдруг пискнула мышь-подошва, и по щеке — изморозь. Он поворачивается — на фоне стены парит холодная каменная маска. Видно только черное лицо. Без тела. Стены такие же белые, как их форма, чистые и отполированные, будто дверца холодильника. Лишь черное лицо и руки, парящие на фоне стены, словно призрак.

Годы тренировок дают о себе знать — троица

все точнее настраивается на частоту Большой Сестры. Один за другим они в состоянии отключаться от проводов и работать по лучу. Она больше не отдает устных приказов и не оставляет письменных распоряжений, которые могут попасть в руки приходящим сюда женам или учительнице. Это уже не нужно. Связь идет на волне ненависти высокого напряжения: она еще не успела приказать, а они уже выполняют.

После того как штат подобран, отделение начинает функционировать четко, как часы вахтенного. Все, что люди думают, говорят, рассчитано несколько месяцев назад на основе пометок, сделанных сестрой в течение дня. Они отпечатываются и загружаются в вычислительную машину, которая, я слышу, гудит за стальной дверью в дальней части медсестринского поста. Затем машина выдает перфокарту — приказ по части, или ПЧ. В начале каждого дня карта ПЧ с соответствующей датой вставляется в прорезь стальной двери, и в стенах возникает шум: шесть тридцать — в спальне зажигается свет, черные выталкивают острых с кроватей и отправляют работать: натирать пол, высыпать пепельницы, заделывать царапины на стене в том месте, где накануне закоротился один старикан, а затем

рухнул в ужасном дыму и запахе жженой резины; колясочники опускают на пол безжизненные колоды ног — ждут, словно сидячие статуи, когда кто-нибудь подкатит им кресла. Овощи мочатся в постели — тотчас включается электрошок со звонком, овощи шлепаются на кафель, там черные обмывают их из шланга и одевают в чистое зеленое.

Шесть сорок пять. Зажужжали бритвы — острые выстраиваются у зеркалов в алфавитном порядке: А, Б, В, Г, Д… Затем очередь ходоков вроде меня, потом привозят колясочников. Последние — овощи, три старика с желтой плесенью на обвисшей коже подбородков. Их бреют в своих легких креслах в дневной комнате, кожаный ремень на лбу придерживает голову, чтобы не болталась под бритвой.

В отдельные дни, чаще по понедельникам, я прячусь и стараюсь увильнуть от распорядка. В другие дни мне кажется, что хитрее встать на место между «А» и «Б» алфавита и двигаться по маршруту со всеми остальными, не поднимая ног: мощные магниты в полу управляют людьми в отделении, как марионетками…

Семь часов. Открывается столовая, порядок очереди меняется: колясочники, ходоки, острые

берут подносы, кукурузные хлопья, яйца с беконом, тост, а сегодня утром — консервированный персик на обрывке зеленого салата. Некоторые острые подают подносы колясочникам. Это хроники с отказавшими ногами, они едят самостоятельно. Овощей кормят. У них от шеи и ниже ничего не шевелится, да и выше — мало что. Черные вталкивают их, когда все усядутся, оставляют на колясках у стены и несут им одинаковые подносы с грязноватого вида пищей и диетлистками, на которых написано: «Механически измельченное.» То есть яйца, ветчина, тост, бекон — каждый кусочек машинка из нержавеющей стали пережевала раз тридцать. Хорошо представляю, как она поднимает свои суставчатые губы, словно шланг пылесоса, и плюхает на тарелку прожеванный комок, как коровий блин.

Черные набивают беззубые розовые рты овощей быстрее, чем те могут глотать, и «механически измельченная» ползет у них по подбородку-пуговке и дальше, на зеленое. Черные проклинают овощей, раздвигают им рты, ворочая ложкой так, будто вырезают гнилую сердцевину яблока: «Этот старый пердун Бластик рассыпается прямо на глазах. Не понимаю, он ест пюре бекона или куски своего языка…»

Семь тридцать. Обратно в дневную комнату. Большая Сестра смотрит сквозь свои специальные стекла, всегда такие чистые, что кажется, будто их нет, кивает, тянется к своему календарю, отрывает листок — на один день ближе к цели. Нажимает кнопку пуска: бабах! — будто где-то ударили в лист железа. Всем занять места. Острым — сесть на своей стороне комнаты и ждать, пока принесут карты и «монополию». Хроникам — на другой стороне ждать головоломки из коробки Красного Креста. Эллису — идти на свое место к стене, поднять руки, чтобы вставили гвозди, и писать по ноге. Питу — качать головой, как кукла. Скэнлону — начать работать своими узловатыми руками на столе, делая воображаемую бомбу, чтобы взорвать воображаемый мир. Хардингу — начать говорить, размахивая руками-голубями, потом спрятать их под мышки — взрослые не должны так махать своими красивыми руками. Сефелту — стонать и жаловаться, что болят зубы и выпадают волосы. Всем вдохнуть, выдохнуть — строго по порядку. Все сердца бьются с частотой согласно карте ПЧ. Звук точно совмещенных деталей в едином механизме.

Как рассказ в картинках, где плоские, очерченные черным фигурки дергаются в ходе

какой-то дурацкой истории, которая могла бы быть смешной, если бы не живые люди вместо нарисованных фигур.

Семь сорок пять. Черные движутся вдоль цепи хроников и тем, кто сидит спокойно, прикрепляют клейкой лентой катетеры. Это использованные презервативы с отрезанными концами, которые крепятся резиновой лентой к трубкам, проходящим под штаниной к пластиковому мешку с надписью: «ОДНОРАЗОВЫЙ. ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.» В мои обязанности входит промывать презервативы в конце каждого дня. Крепят их пластырем к волосам, вечером снимают. От этого у старых катетерных хроников волосы отсутствуют, как у малышей…

Восемь часов. Стены гудят на полную катушку. Репродуктор в потолке голосом Большой Сестры объявляет: «Прием лекарств». Мы оглядываемся на стеклянный ящик, но ее там нет. Более того, она в десяти футах от микрофона, учит одну из сестричек, как аккуратно и в правильном порядке разложить таблетки на подносе. У стеклянной двери выстраиваются в очередь острые: А-Б-В-Г-Д, затем хроники и колясочники (овощам дадут позже, в ложке, смешанное с яблочным пюре). Двигаясь друг за другом, получаем капсулу в бу-

мажном стаканчике, бросаем ее в рот, сестричка наливает в стакан воды — запить капсулу. В редком случае какой-нибудь дурак может спросить, что именно он глотает.

— Минутку, милочка, что это за две красненькие капсулы рядом с витамином?

Я его знаю. Это высокий, вечно ворчащий острый, уже известный как смутьян.

— Всего лишь таблетки, мистер Тейбер, вам полезно. Ну, быстренько глотайте.

— Бог ты мой, я сам вижу, что таблетки. Какие *именно*?

— Просто глотайте и все, мистер Тейбер. Ну, ради меня, а? — Бросает быстрый взгляд на Большую Сестру — как та отреагирует на ее кокетничание — и опять смотрит на острого. Тот все еще не желает принимать нечто ему неизвестное, даже ради нее.

— Мисс, я не люблю скандалов. Но и не хочу глотать то, о чем не имею представления. Почем я знаю, может, это те самые хитрые таблетки, которые делают тебя не тем, кто ты есть?

— Не волнуйтесь, мистер Тейбер…

— Волноваться? Да ради Бога, я лишь хочу знать…

Но тихо подходит Большая Сестра, смыкает

свои пальцы на его руке, парализуя ее до самого плеча.

— Все в порядке, мисс Флинн, — говорит она. — Если мистер Тейбер решил вести себя как ребенок, то с ним и следует так обращаться. Мы пытались быть внимательными и обходительными. Очевидно, это неправильно. Враждебность — вот чем нас благодарят. Можете идти, мистер Тейбер, если не желаете принимать лекарство в таблетках.

— Я только хотел знать…

— Можете идти.

Он уходит ворча, когда она отпускает его руку, и все утро моет уборную, недоумевая по поводу этих капсул. Однажды я сам улизнул с одной такой красненькой под языком, сделав вид, что проглотил ее, а потом в чулане для швабр разломал и рассмотрел.

За какой-то момент, прежде чем она превратилась в белую пыль, я увидел, что это миниатюрный электронный элемент вроде тех, с которыми я был связан в корпусе радиолокационного обнаружения, когда служил в армии: микроскопические проводки, сетки, транзисторы; при контакте с воздухом она должна разлагаться.

Восемь двадцать. Выносят карты и головоломки.

Восемь двадцать пять. Какой-нибудь острый вспоминает, что имел привычку наблюдать за своей сестрой в ванной; трое его соседей по столу бросаются, сбивая друг друга с ног, записать это в журнале.

Восемь тридцать. Дверь отделения открывается, проносятся рысью два техника, от которых пахнет вином. Техники всегда двигаются быстрым шагом или рысью: их всегда так сильно клонит вперед, что они вынуждены переходить на рысь, чтобы не упасть. Их постоянно клонит вперед, и они всегда пахнут так, будто стерилизуют свои инструменты в вине. Проносятся в лабораторию и хлопают дверью, а я продолжаю мести рядом и различаю голоса сквозь яростное зззт-зззт-зззт стали по точильному камню.

— Ну что у нас сегодня в эту чертову рань?

— Одной любопытной варваре нужно вставить внутренний прерыватель любознательности. Она говорит, срочная работа, но я даже не уверен, есть ли у нас такая штуковина на складе.

— Свяжемся с ИБМ, пусть пришлют один. Сейчас проверю у снабженцев…

— Прихвати заодно бутылочку этой чистой пшеничной: чувствую, пока не подлечусь, не смогу установить простейшей детали. А-а, черт с

ним, все равно лучше, чем работать в гараже…

Говорят они быстро и неестественно, как в мультиках. Я удаляюсь со шваброй, чтобы не застали подслушивающим.

Двое черных хватают Тейбера в уборной и волокут в матрацную. Одному он въехал по щиколотке. Ревет как бык. Такой беспомощный в их руках, будто стянут черными обручами.

Они швыряют его лицом на матрац. Один садится на голову, другой разрывает брюки сзади и тянет вниз — в обрамлении разорванного салатно-зеленого появляется персиковый зад Тейбера. Он, задыхаясь, посылает проклятия в матрац, а сидящий на его голове черный приговаривает: «Так, миста Тейба, хорошо…» Намазывая вазелин на длинную иглу, к матрацной приближается медсестра, закрывает за собой дверь на несколько секунд, затем сразу выходит, вытирая шприц куском штанов Тейбера. Банку с вазелином оставила в комнате. Прежде чем черный успевает закрыть за ней дверь, вижу, как второй, сидя на голове Тейбера, бумажной салфеткой вытирает с него пот. Они остаются там долго; наконец дверь открывается, они несут Тейбера через коридор в лабораторию. Теперь его зеленое содрано полностью и он завернут во влажную простыню…

Девять часов. Молодые больничные врачи, все коротко остриженные и с кожаными локтями, расспрашивают острых, чем те занимались, когда были мальчиками. Большой Сестре эта молодежь кажется подозрительной, и те пятьдесят минут, что они здесь находятся, — тяжелое испытание для нее. Пока они здесь, ритм работы нарушается. Она хмурится и делает пометки, чтобы проверить личные дела молодых людей: нет ли каких нарушений дорожных правил и тому подобное.

Девять пятьдесят. Врачи уходят, машина вновь продолжает ровно гудеть. Медсестра наблюдает за дневной комнатой из своего стеклянного ящика, картина перед ней снова приобретает железную четкость очертаний — ровное, упорядоченное движение мультфильма.

На каталке вывозят Тейбера.

— Пришлось сделать еще один укол, когда он начал приходить в себя после пункции, — сообщает ей техник. — Как вы думаете, может, раз уж мы за него взялись, заберем его в Главный корпус и попробуем попилить на ЭШТ, и сэконал сэкономим?

— Отличная мысль. И хорошо бы потом отправить его на энцефалограф проверить голову: вдруг потребуется работа на мозге?

Техники несутся рысью, толкая впереди коляску с больным, словно человечки из мультиков или марионетки, механические марионетки из кукольных спектаклей о Панче и Джуди, в которых считается смешным, когда куклу избивает дьявол или проглатывает вместе с головой улыбающийся крокодил…

Десять часов. Приносят почту. Иногда конверт надорван..

Десять тридцать. Является тип из службы по связям с общественностью в сопровождении дамского клуба. Всплескивает руками у двери:

— Привет, ребята. Не пугайтесь, не пугайтесь… оглянитесь вокруг, девушки… как чисто, светло! Это мисс Вредчет. Я выбрал это отделение, потому что это ее отделение. Она, девушки, точно как мать. Не в смысле возраста, ну, вы меня понимаете.

Воротник рубашки у Связей с общественностью настолько тесен, что, когда он смеется, лицо его распухает, а смеется он — не знаю над чем — почти все время тонким быстрым смехом, как будто хочет остановиться, но не может. Лицо распухает, багровеет, не лицо, а шар с нарисованными чертами. Волос нет не только на лице, но и на голове почти чисто; кажется, что он их когда-то

приклеил, но они сползли ему за манжеты, в карман рубашки, за воротник. Вот почему, наверное, у него такой тугой воротничок — чтобы волосы туда больше не сыпались.

Может, поэтому он так много смеется — они все равно туда попадают.

Он водит экскурсии для серьезных женщин в ярких пиджаках клуба, которые кивают головами, когда он подчеркивает, как все изменилось за последние годы. Он показывает телевизор, большие кожаные кресла, гигиеничные фонтанчики для питья; потом они все идут пить кофе на медсестринский пост. Иногда он бывает один, стоит посреди дневной комнаты и всплескивает руками (слышно, что они влажные), всплеснет два-три раза, пока они не слипнутся, держит их, будто молится, под одним из своих подбородков и вдруг начинает кружиться. Кружится, кружится посреди комнаты, дико и безумно глядит на телевизор, новые картины на стенах, на гигиеничный фонтанчик для питья. И смеется.

То, что он видит, кажется ему настолько смешным, что он никогда не делится об этом с нами. А мне смешно, что он кружится и кружится, будто кукла-неваляшка: наклонишь ее, но утяжеленное дно сразу возвращает ее назад, она снова

вертится. И никогда я не видел, чтобы он смотрел людям в глаза…

Десять сорок, сорок пять, пятьдесят. Больные курсируют туда-сюда на ЭТ, ТТ или ФТ, в какие-то подозрительные комнатушки, где стены никогда не бывают одного размера, как и полы на одном уровне. Механизмы, шум которых слышен вокруг, работают устойчиво на полных оборотах.

Отделение гудит, будто текстильная фабрика, — я знаю, я слышал однажды, когда наша футбольная команда играла со средней школой в Калифорнии. Тот спортивный сезон оказался удачным, и наши спонсоры так возгордились и увлеклись, что отправили нас в Калифорнию на матч с местной школьной командой. В городе нам нужно было побывать на каком-нибудь предприятии. Наш тренер любил доказывать, что спорт развивает не только мускулатуру; так, например, путешествуя, человек накапливает определенные знания, поэтому в каждой поездке перед игрой он загонял команду на молокозавод, свеклоферму или консервный завод. В Калифорнии это была текстильная фабрика. Когда нас туда повели, большинство наших не стали утруждать себя тщательным осмотром, глянули кое-что и вернулись в автобус коротать время

за какой-нибудь игрой на чемоданах, а я остался стоять в уголке, чтобы не мешать негритянкам, снующим в проходах между станками. Фабрика и все это гудение, грохот, стрекочущие машины и люди, дергающиеся в каком-то жутком общем ритме, нагнали на меня странную дремоту. Поэтому я остался, а еще потому, что вспомнил, как мужчины из нашего племени в самые последние дни покидали деревню. Они шли на строительство плотины работать на камнедробилке — бешеный ритм, загипнотизированные однообразием люди…

Мне хотелось уйти с командой, но я не мог.

Только наступила зима, и я все еще был в куртке, которую получил за победу в чемпионате, — красно-зеленая, с кожаными рукавами и вышитым на спине футбольным мячом. На эту куртку засматривались многие негритянки, и я снял ее. Но они продолжали смотреть. Я тогда вообще-то был намного внушительней.

Одна девушка оставила свой станок, огляделась по сторонам — нет ли поблизости мастера — и подошла ко мне. Спросила, будем ли мы играть сегодня вечером, и рассказала, что ее брат — центральный защитник в калифорнийской команде. Поговорили о футболе, о том о сем, и вдруг ее

лицо мне показалось каким-то нечетким, будто в тумане. Это из-за хлопковой пыли, которая висела в воздухе.

Я сказал ей об этом. А еще о том, что представил, как вижу ее лицо в утреннем тумане во время охоты на уток. Она закатила глаза, прыснула в кулак и спросила: «Чего это ради ты хотел бы побыть со мной в этой темноте?» Я ответил, что она могла бы смотреть за моим ружьем, и другие девушки тоже покатились со смеху. Я и сам посмеялся с ними. Мы продолжали болтать и хихикать, как вдруг она схватила меня за запястья и впилась в них пальцами. Черты ее лица неожиданно стали ясными и четкими, и я понял, что она чего-то страшно боится.

— Увези, — прошептала она, — увези меня с собой, большой. С этой фабрики, из этого города, из этой жизни. Забери меня в какое-нибудь… утиное местечко. Куда-нибудь забери. Ну, большой?

Ее красивое шоколадное лицо сияло передо мной. Я разинул рот и не знал, что ответить. Несколько секунд мы стояли, сцепившись, но вот тон фабричного шума изменился, и ее потащило от меня, словно какие-то невидимые цепи держали ее крепко и тянули назад. Ногти ее царапнули по моим рукам, и, как только ее оторвало от ме-

ня, темное лицо ее вновь начало расплываться в этом хлопковом тумане, становясь мягким и текучим, как тающий шоколад. Она засмеялась, резко повернулась, взлетела цветастая красная юбка, открыв на миг желтую ногу. Подмигнув мне через плечо, девушка бегом вернулась к машине, где груда ткани, переполняя стол, стекала на пол; схватила ее и легко, как перышко, кинулась в проход между машинами, чтобы сбросить тюк в приемный желоб, и пропала за углом.

Крутятся, вертятся веретена, мелькают челноки, бьют нитью в воздухе катушки, снуют девушки в цветастых юбках меж серо-стальных машин и побеленных стен — единый жуткий механизм, связанный и пронизанный насквозь белыми линиями. Все это засело во мне и время от времени вспоминается, когда я думаю о нашем отделении.

Да. Я даже знаю, что именно навевает мне эти воспоминания. Наше отделение тоже фабрика в Комбинате, и цель ее — исправлять ошибки, которые допустила жизнь: школа, церковь и т. д. Вот для чего больница. Когда же готовое изделие возвращается в общество, хорошо отлаженное, как новое, иногда даже лучше нового, сердце Большой Сестры переполняется радо-

стью. То, что вначале поступило испорченным и разнородным, теперь превратилось в хорошо функционирующий, отрегулированный элемент — гордость всей команды и восхищение. Смотрите, как он скользит, передвигаясь с напаянной улыбкой, приспосабливается к жизни небольшого приятного городка, где на улице как раз роют траншею под водопровод. Ему это доставляет радость. Наконец-то он приведен в соответствие с окружением…

«Удивительно, как изменился Максвелл Тейбер после больницы: немного похудел, небольшие синяки вокруг глаз, но — знаете? — это совсем другой человек. Ей-Богу, современная американская наука…»

И свет в окне его полуподвального жилья каждый день горит далеко за полночь, потому что элементы замедленной реакции, установленные техниками, обеспечили его пальцам прекрасную сноровку; он склоняется над одурманенным телом жены, над двумя дочками четырех и шести лет и соседом, с которым по понедельникам играет в кегли, — приводит их в соответствие, как привели его. Так это распространяется.

Когда наконец через заданное число лет механизм останавливается, город выказывает ему

свою любовь: газета помещает фотографию, как в прошлом году в День уборки кладбищ он помогал бойскаутам, жена получает письмо от директора школы о том, каким вдохновляющим примером для молодежи был Максвелл Уилсон Тейбер. Даже бальзамировщики — эти два плута и рвача — потрясены случившимся.

— Слышь, старик Макс Тейбер хороший был мужик. Может, возьмем этот дорогой, за тридцать, и наценку с жены брать не будем? А, пропади оно пропадом, сделаем за наш счет!

Такой удачный случай радует сердце Большой Сестры — он свидетельствует о ее высоком мастерстве и мастерстве Комбината в целом. Таким изделием довольны все.

Однако вновь поступивший совсем другое дело. Даже если он примерный поступивший, над ним придется поработать, чтобы он втянулся в повседневную жизнь; кроме того, никто не может с уверенностью сказать, что когда-нибудь не появится такой, который вдруг почувствует себя достаточно свободным, чтобы начать разрушать все направо и налево, переворачивать все вверх ногами, и будет представлять серьезную угрозу для отделения. А я уже объяснял, что, когда режим работы нарушается, Большая Сестра

по-настоящему выходит из себя.

* * *

Перед полуднем они вновь что-то химичат с туманной машиной, но запускают ее не на полную мощность: туман такой, что, если посильнее напрячься, можно кое-что видеть. Когда-нибудь перестану напрягаться и контролировать себя, потеряюсь в тумане, как некоторые наши хроники, но пока мне интересен этот новенький: любопытна его реакция на собрание группы.

Без десяти час туман рассеивается, и черные приказывают острым расчистить место для собрания. Те начинают носить столы из дневной комнаты через коридор в ванную — освобождают помещение, словно, как сказал Макмерфи, решили чуток потанцевать.

Большая Сестра ведет наблюдение из своего окна. За целых три часа она даже не сдвинулась с места, чтобы пообедать. Но вот дневную комнату освободили от столов, и в час дня из своего кабинета, ниже по коридору, выходит доктор, кивает сестре, проходя мимо поста, и садится на первый стул слева от двери. Вслед за ним садятся больные, затем появляются сестрички и врачи. Все уселись. Большая Сестра встает со своего места

за окном, подходит к той самой стальной панели с приборами и кнопками, что в дальней части медсестринского поста, включает что-то вроде автопилота: управление должно продолжаться и в ее отсутствие, и берет курс на дневную комнату с вахтенным журналом и корзиной записей.

Она провела здесь полдня, но ее форма ничуть не примята: так накрахмалена, что даже не гнется, а просто с треском ломается в местах суставов, как заледеневший парус, когда его убирают.

Она садится на первый стул справа от двери.

Старик Пит Банчини тотчас поднимается, качает из стороны в сторону головой и хриплым голосом тянет:

— Как я устал. У-ф-ф. Боже, как страшно я устал…

Так он делает всегда, когда в отделении появляется кто-то новый, кто мог бы его выслушать.

Большая Сестра на Пита не смотрит, просматривает свои бумаги в корзине.

— Кто-нибудь, сядьте рядом с мистером Банчини, — говорит она, — мы не можем начать собрание.

Встает Билли Биббит. Пит повернулся в сторону Макмерфи и качает головой, словно фонарь на железнодорожном переезде. Он тридцать лет

провел на железной дороге, полностью износился, но рефлекс срабатывает четко.

— Я уста-а-а-л, — тянет он в сторону Макмерфи.

— Успокойся, Пит, — говорит Билли и кладет веснушчатую руку ему на колено.

— …страшно устал…

— Знаю, Пит, — похлопывает костлявое колено Билли, и Пит втягивает голову, понимая, что сегодня никто не собирается прислушиваться к его жалобам.

Сестра снимает с руки часы, сверив с настенными, заводит их, кладет в корзину циферблатом вверх и берет из корзины папку.

— Итак. Будем начинать собрание?

Обводит взглядом присутствующих — не вздумается ли еще кому-нибудь прервать ее — уверенная улыбка на лице, которое торжественно вращается над воротником, но никто не смотрит ей в глаза, все заняты поиском у себя заусениц. Кроме Макмерфи. Он выбрал кресло в углу, раскинулся в нем, как в своем собственном, и наблюдает за каждым ее движением. На его рыжей голове все та же шапочка, будто он гонщик-мотоциклист. На коленях — колода карт, которую он снимает одной рукой, а затем

громким хлопком в полной тишине складывает. Бегающий взгляд медсестры на секунду задерживается на нем. Все утро он играл в покер, и, хоть игра шла не на деньги, она подозревает, что он не из тех, кто удовлетворится существующим в отделении правилом ставить только на спички. Колода с шелестом вновь распадается, соединяется и вдруг исчезает в одной из его больших ладоней.

Сестра бросает взгляд на часы, достает листок из папки, изучает его, кладет обратно, берет вахтенный журнал. У стены закашлялся Эллис; она ждет, пока он перестанет.

— Итак, продолжим. На собрании в пятницу… речь шла о мистере Хардинге и его трудностях… с молодой женой. Он сообщил нам, что Господь Бог наделил его жену чрезвычайно большой грудью и это его беспокоило, так как многие мужчины обращали на нее внимание. — Сестра листает журнал, открывая его в местах, где торчат маленькие закладки. — Согласно записям различных пациентов нам стало известно, что мистер Хардинг часто говорил, что «она дает прекрасный повод этим ублюдкам, чтобы пялиться». От него также слышали, что он сам мог давать ей основание искать сексуального удовлетворения

на стороне. Цитирую: «Моя ласковая, но необразованная жена считает, что слова и жесты, от которых не отдает грубой силой и жестокостью, свидетельствуют о хлипкой интеллигентности».

Дальше Сестра читает про себя, затем и вовсе закрывает журнал.

— Он также заявлял, что огромная грудь его жены иногда вызывает у него чувство неполноценности. Итак, желает ли кто-нибудь коснуться этого предмета?

Хардинг закрывает глаза, все молчат. Макмерфи оглядывается на других, ожидая, ответит ли кто-нибудь сестре, потом поднимает руку и щелкает пальцами, как школьник на уроке. Сестра кивает ему.

— Да, мистер… э-э… Макмерри.

— Коснуться чего?

— Что? Коснуться?

— Как я понимаю, вы спрашиваете, не хотел ли кто-нибудь коснуться…

— . Коснуться темы, мистер Макмерри, проблемы мистера Хардинга с его женой.

— А-а. Я думал коснуться… еще кое-чего.

— Итак, что бы вы…

И вдруг замолкает, растерявшись на сотую долю секунды. Кое-кто из острых прячет ухмылку,

Макмерфи потягивается, зевает и подмигивает Хардингу. Но сестра с прежним самообладанием опускает вахтенный журнал в корзину, извлекает другую папку и начинает читать:

— Макмерри Рэндл Патрик. Переведен властями штата из пендлтонской исправительной фермы для постановки диагноза и возможного лечения. Тридцать пять лет. Женат не был. Крест «За боевое отличие» в Корее — возглавил побег из лагеря военнопленных. Изгнан со службы за недостойное поведение — неповиновение. Дальше… ряд уличных стычек, драки в барах, неоднократные аресты за нарушение порядка, нахождение в пьяном виде, оскорбление действием, *неоднократное* участие в азартных играх и изнасилование…

— Что? Изнасилование? — встрепенулся доктор.

— …изнасилование девочки…

— Ха! Им не удалось пришить мне это дело! — восклицает Макмерфи, обращаясь к доктору. — Малышка не захотела давать показания.

— …девочки пятнадцати лет…

— Сказала, что ей семнадцать, док, и *очень* хотела.

— Судебная экспертиза и осмотр подтвердили

факт сношения, неоднократного проникновения, как записано в протоколе…

— Так хотела, что я, честно говоря, начал было наглухо зашивать свои брюки.

— Отказ от дачи показаний, несмотря на результаты экспертизы. Похоже на запугивание. Сразу после суда подсудимый уехал из города.

— Еще бы! Я вынужден был уехать. Док, вы только послушайте, — он наклоняется, упираясь локтем в колено, и, понизив голос, через всю комнату обращается к доктору: — К тому времени когда ей стукнуло бы законные шестнадцать, эта резвая малышка успела бы меня сжечь и размочалить. Докатилась до того, что подножкой валила меня на пол.

Сестра закрывает папку и протягивает доктору.

— Это наш новый поступивший, доктор Спайви, — говорит так, будто в эту желтую бумагу вложила человека и теперь передает его для осмотра. — Я собиралась чуть позже ознакомить вас с его личным делом, но, так как, по-видимому, он все же пытается проявить свой характер, мы можем покончить с этим делом прямо сейчас.

Потянув за шнурок, доктор вылавливает очки из кармана пиджака, прилаживает на нос. Они

сбились немного вправо, но он наклоняет голову влево и выравнивает их. Он листает папку, чуть-чуть улыбаясь: как и нас, его развеселила эта манера новичка громко и нагло возражать, но он также сдерживается, чтобы не рассмеяться. Закончив листать, он закрывает папку и прячет очки в карман. Смотрит в противоположный конец комнаты, где, подавшись в его сторону, сидит Макмерфи.

— У вас, как я понял, не было других случаев, связанных с психиатрией, мистер Макмерри?

— Макмерфи, док.

— Да? Но мне показалось… сестра назвала…

Он снова открывает папку, вылавливает очки, с минуту просматривает дело, закрывает и возвращает очки в карман.

— Да, верно. Макмерфи. Прошу прощения.

— Все в порядке, док. Это мадам ошиблась, с нее началось. Мне встречались люди, склонные к этому. Например, мой дядя по фамилии Халлахан гулял когда-то с женщиной, которая, кокетничая, говорила, будто не может правильно запомнить его фамилию, называла его Хулиган, чтобы подразнить. Тянулось это несколько месяцев, пока он ее не отучил. И навсегда.

— Как же он ее отучил? — интересуется док-

тор.

Макмерфи ухмыляется, трет нос большим пальцем.

— Ха, не скажу. Видите ли, держу метод дяди Халлахана в большом секрете, вдруг когда-нибудь самому пригодится.

Говорит он это и смотрит на сестру. Она улыбается в ответ, он переводит взгляд на доктора.

— Так что вы там спрашивали насчет других случаев, док?

— Да-да, я хотел узнать, были ли у вас до этого случаи общения с психиатрами. Может быть, вас обследовали, может, вы находились на лечении в других учреждениях?

— Ну, если учитывать тюряги штатов и округов…

— Психиатрические учреждения.

— А-а. В этих — нет. Еще не был. Но я в самом деле ненормальный, док. Клянусь. В моем деле как раз… дайте-ка я покажу. По-моему, доктор на ферме…

Он вскакивает, прячет колоду карт в карман пиджака, идет через всю комнату и, стоя у доктора за спиной, листает папку, лежащую у того на коленях.

— Кажется, он что-то писал, дальше, где-то в

конце…

— Вот как? Я не заметил. Одну минуту. — Доктор опять выуживает очки, надевает и смотрит туда, куда тычет Макмерфи.

— Как раз здесь, док. Сестра пропустила это место, когда резюмировала мое дело. Здесь написано: «У мистера Макмерфи наблюдались *неоднократные*, — я хочу, док, чтобы вы меня поняли правильно, — неоднократные эмоциональные взрывы, которые свидетельствуют о возможной психопатии». Он объяснил, что «психопат» — это когда много дерется и трах… прошу прощения у дам… то есть я, как он выразился, переусердствую в своих сексуальных связях. Доктор, это действительно серьезно?

Он спрашивает, и на его широком загорелом лице работяги появляется такая детская тревога и озабоченность, что доктор ничего не может с собой поделать и наклоняет голову, чтобы спрятать смешок куда-то в воротник, очки его сваливаются с носа и падают точно в карман. Теперь улыбаются все острые и даже некоторые хроники.

— Вот это чрезмерное усердие, док, оно вас когда-нибудь беспокоило?

Доктор вытирает глаза.

— Нет, мистер Макмерфи, должен признаться,

никогда. Интересно, однако, что доктор исправительной фермы сделал следующую приписку: «Не следует исключать вероятности симуляции психоза, чтобы избежать участия в тяжелых работах на ферме». — Он посмотрел на Макмерфи. — Что это такое, мистер Макмерфи?

— Доктор, — он встает во весь свой рост, морщит лоб и разводит руки в сторону: мол, вот я какой и скрывать мне нечего, но разве я похож на нормального человека?

Доктор так старается не засмеяться, что не в состоянии ответить. Макмерфи резко поворачивается и спрашивает то же самое у Большой Сестры: «Похож?»

Она не отвечает, встает, забирает у доктора папку и кладет обратно в корзину под часы. Снова садится.

— Вероятно, доктор, вам следует ознакомить мистера Макмерри с правилами проведения наших собраний?

— Мадам, — прерывает Макмерфи, — вы слышали мой рассказ про дядю Халлахана и женщину, которая коверкала его фамилию?

Долго и пристально она смотрит на него без улыбки. Свою улыбку она научилась превращать во что угодно, лишь бы воздействовать на

человека, но суть от этого не меняется — то же выражение, точно рассчитанное, механическое, служащее ее целям. Наконец она произносит:

— Прошу прощения, Мак-мер-фи. — И поворачивается к доктору: — Объясните, пожалуйста…

Доктор складывает руки и откидывается назад.

— Раз уж мы подошли к этой теме, то, конечно, следует объяснить полную теорию нашего терапевтического общества. Хотя обычно я приберегаю это на потом. Да, хорошая идея, мисс Вредчет, прекрасная идея.

— Конечно, доктор, и теорию тоже, но я имела в виду правило, что в ходе собрания пациенты должны сидеть.

— Да. Конечно. А затем объясню теорию. Мистер Макмерфи, одно из главных наших правил гласит: в ходе собрания пациенты должны сидеть. Видите ли, именно таким образом удобнее поддерживать порядок.

— Нет вопросов, док. Я встал, только чтобы показать то место в моем деле.

Он возвращается к своему креслу, еще раз с наслаждением потягивается, садится и какое-то время устраивается, как собака на отдых. Усевшись поудобнее, он выжидательно смотрит на доктора.

— Значит так, теория… — начинает доктор и, довольный, делает глубокий вдох.

— На… жену! — объявляет Ракли.

Макмерфи, прикрывая рот рукой, скрипучим шепотом обращается к Ракли через всю комнату:

— Чью жену?

При этом Мартини резко вскидывает голову и смотрит, выпучив глаза.

— Да, — повторяет он, — чью жену? А-а, эту? Да, вижу ее. Да-а.

— Многое я бы дал, чтобы иметь такое же зрение, — говорит Макмерфи и после этого молчит до конца собрания. Просто сидит, наблюдает, все запоминает и ничего не упускает из виду. Доктор распространяется о своей теории до тех пор, пока Большая Сестра наконец не вмешивается: велит ему заканчивать, чтобы перейти к Хардингу, и до конца собрания они говорят на эту тему.

Несколько раз в ходе собрания Макмерфи подается вперед из своего кресла, словно хочет что-то сказать, но передумывает и снова откидывается на спинку. Выражение лица его становится озабоченным. Он начинает понимать, что здесь происходит что-то не то. Он пока не может определить, что именно. Например, никто не смеется. Когда он спросил у Ракли: «Чью жену?», то думал,

уж точно засмеются, но никто даже на улыбнулся. Воздух слишком плотный и сжатый, чтобы можно было смеяться. Какое-то странное место, где мужчины не могут расслабиться и хохотнуть и отступают перед этой улыбчивой мамашей с мучнистого цвета лицом, оранжевой помадой и огромными сиськами. Пожалуй, следует чуток подождать, присмотреться к новому месту и хорошенько во всем разобраться. Как там, у картежников, говорится: сначала толком осмотрись, а уж потом за стол садись.

Эту теорию терапевтического общества я слышал столько раз, что могу пересказать ее от начала до конца и наоборот: что человек должен учиться, как уживаться в группе, прежде чем будет способен функционировать в нормальном обществе; что группа может помочь человеку, подсказывая, где он не вписывается; что именно общество решает, кто нормальный, а кто нет, поэтому нужно приспосабливаться к этим требованиям. В общем, такая мура. Всякий раз, когда в отделение поступает новенький, доктор сразу же пускает в ход свою теорию; это едва ли не единственный случай, когда он берет бразды правления в свои руки и ведет собрание. Он рассказывает, что цель терапевтического

общества — демократическое отделение, полностью управляемое пациентами и их голосами, и деятельность его направлена на возвращение полноценных граждан во внешний мир, на улицу. Малейшее недовольство, обида — все то, что нуждается в исправлении, нужно доводить до сведения группы и обсуждать, а не позволять, чтобы оно съело вас изнутри. Следует также чувствовать себя свободнее в данном окружении до такой степени, чтобы без стеснения обсуждать эмоциональные проблемы с пациентами и персоналом. Говорите, обсуждайте, сознавайтесь. А если в разговоре с другом вы что-либо услышите, то запишите это в вахтенный журнал, чтобы довести до сведения медперсонала. Это не «стукачество», как принято думать, а помощь вашему же товарищу. Вытащите старые грехи на свет божий, чтобы отмыть их на виду у всех. Принимайте участие в групповом обсуждении. Помогите себе и своим друзьям проникнуть в тайны подсознания. У друзей не должно быть секретов.

Мы стремимся к тому (так он обычно заканчивает), чтобы ваше окружение было как можно больше похоже на демократическое и свободное окружение: этот маленький внутренний мир —

своеобразная модель большого внешнего мира, в котором однажды вы снова займете свое место.

Он, вероятно, продолжал бы и еще, но примерно в этом месте Большая Сестра заставляет его заткнуться, в наступившем затишье встает старик Пит, начинает отчаянно сигналить своим помятым котелком, причитать, как он устал, сестра велит кому-нибудь помочь заткнуться и ему, чтобы продолжить собрание, Пита успокаивают, и собрание продолжается.

Но один раз, я помню, года четыре или пять назад, произошла осечка. Только доктор кончил распинаться, как тут же вступила сестра:

— Итак, кто начнет? Выкладывайте свои старые грехи.

И замолчала минут на двадцать. Острые впали в транс, а она сидела и молчала, зловеще так, будто сигнализация, которая должна вот-вот сработать, — ждала, когда кто-нибудь начнет рассказывать. Ее взгляд, словно луч прожектора, скользил по кругу, с одного на другого. Двадцать долгих минут тишина сжимала комнату и оглушенные пациенты сидели не шелохнувшись.

Наконец она глянула на часы и спросила:

— Неужели среди вас нет ни одного человека, совершившего проступок, в котором он так ни-

когда и не признался? — Она полезла в корзинку за журналом. — Что ж, придется пройтись по прошлому.

И тотчас что-то включилось, сработало невидимое акустическое устройство. Острые напряглись, у них одновременно раскрылись рты. Ее цепкий взгляд остановился на ближайшем.

— Я ограбил кассу на заправочной станции, — выплюнул тот одними губами.

Она повернулась к следующему.

— Я хотел затащить сестренку в постель.

Взгляд прыгнул на третьего и дальше, при этом человек дергался, как мишень в тире.

— Я… пытался склонить к этому… брата.

— Когда мне было шесть лет, я убил свою кошку. Господи, прости! Я забил ее насмерть камнями, а свалил на соседа.

— Я соврал, что пытался. Я затащил сестру!

— Я тоже! Я тоже!

— И я! И я!

Все получилось даже лучше, чем она могла мечтать. Они кричали, стараясь превзойти друг друга, расходились сильнее и сильнее, их уже невозможно было остановить, говорили такое, после чего больше нельзя смотреть друг другу в глаза. Сестра кивала при каждом признании и

повторяла: да, да, да.

Тут поднялся старик Пит.

— Я устал! — выкрикнул он сильным, сердитым, медным голосом, какого никто никогда раньше не слышал.

Все затихли, пристыженные. Как будто он сказал что-то такое, верное и важное, после чего их легкомысленные выкрики стали выглядеть позором. Большая Сестра пришла в ярость. Круто повернувшись, она окинула Пита свирепым взглядом, злобная улыбка каплями потекла по ее подбородку. Только ей удалось все наладить — и вот…

— Кто-нибудь, займитесь бедным мистером Банчини.

Встали два или три человека. Попытались успокоить его, похлопывая по плечу. Но старик не умолкал: «Я устал! Устал!»

Наконец сестра велела одному из черных вывести его из комнаты силой. Она забыла, что нельзя управлять такими, как Пит.

Пит всю жизнь был хроником. Даже если он и попал в больницу на шестом десятке, все равно он всегда был хроником. У него на голове имелись две вмятины, по одной с каждой стороны, — это врач, принимавший роды у его матери, так

старался вытащить его. Пит сначала выглянул, увидел ожидавшую его в родильном отделении аппаратуру, ясно понял, что туда не хочет, и решил отсрочить свое рождение, цепляясь внутри за все, что попадалось под руку. Врач влез туда притупленными щипцами для льда, ухватил его за голову, выдернул и считал, что все закончилось нормально. Но череп у Пита был еще очень сырым и мягким, как глина, и, когда затвердел, две вмятины от щипцов так и остались. От этого Пит сделался таким глупым, что должен был напрягаться изо всех сил, собирая в кулак все свое внимание и силу воли, чтобы выполнить работу, с которой легко справлялся шестилетний ребенок.

Но нет худа без добра: то обстоятельство, что он был таким глупым, спасло его от лап Комбината. Они были не в состоянии лепить из него то, что хотели. Поэтому ему дали несложную работу на железной дороге, где он только и занимался тем, что сидел в дощатом домике в глуши, у затерявшейся стрелки, и махал поездам красным фонарем, если стрелка смотрела в одну сторону, зеленым — если в другую, и желтым, если впереди находился еще поезд. Пит справлялся с этим благодаря своему характеру, который так и

не удалось выбить из его головы, один, на этой безлюдной стрелке. И никаких приборов управления ему никогда не вставляли.

Вот почему черный не имел над ним власти. Но сразу об этом не подумал, как не подумала и сестра, когда велела вывести Пита из дневной комнаты. Черный подошел прямо к Питу и дернул его за руку в направлении двери — точно так дергают вожжами, когда хотят повернуть запряженную в плуг лошадь.

— Все хорошо, Пит. Пошли в спальню, а то ты всем мешаешь.

Пит стряхнул его руку.

— Я устал, — предупредил он.

— Давай, старик, не шуми. Ляжешь в постель и будешь хорошим мальчиком.

— Устал…

— Я же сказал, старик, пойдем в спальню.

Черный снова дернул его за руку, и Пит перестал сигналить своей головой. Он встал, прямой и твердый, и взгляд его вдруг прояснился. Обычно глаза у Пита полузакрытые и мутные, будто залитые молоком, но на этот раз они стали ясными, как неоновый свет. Кисть руки, за которую его держал черный, начала набухать. Медперсонал и большинство пациентов переговаривались

между собой, не обращая внимания на Пита и его старую песню о том, как он устал, полагая, что сейчас его успокоят и собрание продолжится. Они не видели, что кисть его все раздувается и раздувается, а он то сжимает, то разжимает ее. Один я видел. Вот она вспухла, пальцы напряглись, кулак стал твердым и гладким. Большой ржавый железный шар на цепи. Я уставился на него и ждал. Черный снова дернул Пита за руку.

— Старик, я же сказал… — он замолчал, потому что наконец заметил кулак. Приговаривая: «Питер хороший мальчик», он попытался увернуться, но не успел. Большой железный шар взлетел от самого колена Пита. Черный шмякнулся о стену и прилип, потом соскользнул на пол, словно стена была чем-то смазана. Я слышал, как лопались и замыкались лампы где-то внутри стены, а штукатурка треснула точно по форме его тела.

Остальные двое — коротышка и большой — остолбенели. Сестра щелкнула пальцами, они пришли в движение. Мгновенно задвигались, скользнули через комнату. Коротышка как точное изображение большого в кривом зеркале. Они уже были рядом с Питом, но вдруг их осенило: Пит не подключен и не может управляться, как остальные, Питу все равно — приказывают

ему или дергают за руку. Если уж им надо брать его, то делать это придется так, как берут дикого быка или медведя, а поскольку один из троицы уже лежит в отключке у плинтуса, остальные решили не испытывать судьбу.

Эта мысль пришла им в голову одновременно, и они застыли — большой и маленький, оба, — в одинаковой позе: левая нога вперед, правая рука вытянута — на полпути между Питом и Большой Сестрой. Впереди раскачивался железный шар, позади вскипала белоснежная ярость, они дрожали и дымились, и я слышал скрежет их шестерен. Я видел, как они дергаются от растерянности, словно машины, которым дали полный газ и в то же время держат на тормозе.

Пит стоял посреди комнаты, шар поднимался вверх-вниз, и старик наклонялся под его тяжестью. Теперь уже все смотрели на него. Он переводил взгляд с большого черного на маленького и, когда понял, что они не собираются приближаться, повернулся к больным.

— Поймите… это страшная чушь, — обратился он к ним, — страшная чушь.

Большая Сестра, соскользнув со стула, пробиралась к сумочке у двери.

— Да, да, мистер Банчини, — ворковала она, —

только, пожалуйста, успокойтесь…

— Вот что это, страшная чушь.

Вдруг голос его потерял медную прочность, стал натянутым и просящим, как будто он почувствовал, что осталось мало времени и вдруг он не успеет закончить свою мысль.

— Ничего не могу поделать, ничего… Понимаете? Я родился мертвым. А вы — нет. Вы не родились мертвыми. О-о-о, как тяжело.

Он заплакал, не в состоянии вымолвить ни слова; он открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, но уже больше слова не складывались в предложения. Он тряс головой, чтобы она прояснилась, и щурился на острых.

— О-о-о… я говорю… ва… говорю *вам.*

Он начал оседать, его железный шар стал уменьшаться до размеров нормальной руки. Он вытянул вперед руку, сложенную чашей, как будто предлагал что-то больным.

— Ничего не могу поделать. Я родился с ошибками. Меня столько раз оскорбляли, что я умер. Я родился мертвым. Ничего не могу поделать. Устал. Больше никаких сил. У вас есть надежда. Меня столько раз оскорбляли, что я родился мертвым. Вам было проще. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал. Устал говорить и

стоять. Пятьдесят пять лет я мертвый.

Большая Сестра достала его через всю комнату, прямо через зеленое. Сделав укол, она отпрыгнула, шприц остался и торчал из штанов, как хвостик из стекла и металла, а старик Пит все больше и больше оседал вперед — не от укола, а от усталости. Он потратил слишком много сил. Последние минуты вымотали его вконец, раз и навсегда. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы сказать: он кончился. Он уже не мог держать голову прямо, и глаза его вновь помутнели. Когда сестра приблизилась, чтобы вытащить шприц, он согнулся настолько, что плакал прямо на пол, и слезы, не смачивая лица, падали вокруг него по мере того, как он мотал головой вперед и назад, падали и падали ровными рядами, словно он их сеял.

— О-о-х-х, — выдохнул он. И когда она выдернула шприц, он даже не вздрогнул.

Он ожил, может быть, только на пару минут, чтобы попытаться что-то сказать нам, — что-то, к чему мы не хотели прислушиваться и не пытались понять, и эта попытка окончательно его истощила. В том уколе уже не было нужды, это как будто она сделала укол мертвецу: ни сердца, чтобы яд перекачивать, ни вен, чтобы доставить

его к голове, ни мозга, который можно им омертвить. С таким же успехом сестра могла уколоть старый высохший труп.

— Я… устал…

— Ну что ж. Я думаю, что если у вас двоих уже хватает смелости, то мистер Банчини будет вести себя хорошо и пойдет спать.

— …ужасно устал.

— Доктор Спайви, санитар Уильямс приходит в себя. Посмотрите его, пожалуйста. У него разбились часы и порезана рука.

Такого Пит больше не устраивал и уже никогда не устроит. Теперь, если на собрании он начинает выступать, а они хотят, чтобы он замолк, он замолкает. Время от времени он еще встает, мотает головой и сообщает нам, как он устал, но это уже не жалоба, не оправдание и не предупреждение — с этим он покончил. Это как старые, испорченные часы, которые все еще тикают, но стрелки их погнуты, на циферблате исчезли цифры, звонок заржавел и молчит — старые, бесполезные часы, которые только тикают и кукуют без всякого смысла.

Когда время подходит к двум часам, группа все еще рвет на части бедного Хардинга.

В два часа доктор начинает ерзать на стуле. На

собраниях, если только он не распространяется о теории терапевтического общества, он чувствует себя не в своей тарелке и предпочел бы провести это время в кабинете, вычерчивая диаграммы. Он ерзает и наконец прочищает горло, тогда сестра смотрит на часы, приказывает нам обратно переносить столы из ванной, а продолжение последует завтра в час. Острые выходят наконец из транса и смотрят какое-то мгновение на Хардинга. Лица их горят от стыда, словно их опять обвели вокруг пальца, и они это только сейчас поняли. Некоторые из них отправляются в ванную за столами, остальные бредут к полкам с журналами и проявляют повышенный интерес к журналу «Макколз», но на самом деле избегают Хардинга. Снова их использовали для того, чтобы поджарить товарища, будто он преступник, а они обвинители, судьи и жюри присяжных. В течение сорока пяти минут они разделывали человека на кусочки и вроде с удовольствием забрасывали вопросами: что с ним такое, почему он не может удовлетворить свою женушку? и с чего это он настаивает, что она не имеет никаких дел с другими мужчинами? как же он надеется выздороветь, если не хочет отвечать честно? — такие вопросы и грязные намеки, от которых им и сейчас не по

себе, и они чувствуют еще большую неловкость оттого, что он находится рядом.

Макмерфи наблюдает за всем этим со своего места. Вид у него озадаченный. Какое-то время он продолжает сидеть в кресле: глядит на острых, колодой карт почесывает рыжую щетину на подбородке; потом поднимается, зевая и потягиваясь, скребет углом карты пуговицу на животе, наконец прячет колоду в карман и шагает прямо к Хардингу, одинокому, от пота прилипшему к стулу.

С минуту Макмерфи смотрит на него, затем берет своей широкой ладонью соседний стул, поворачивает его спинкой к Хардингу и садится на стул верхом, как на деревянную лошадку. Хардинг не обращает на него внимания. Макмерфи хлопает себя по карманам в поисках сигарет, достает одну, закуривает и держит ее перед собой; хмурясь, глядит на огонек, затем облизывает большой и указательный пальцы и подравнивает дымящийся кончик.

Такое впечатление, что они не знают друг друга. Я даже не уверен, заметил ли вообще Хардинг Макмерфи. Хардинг почти весь ушел в свои тонкие плечи, укрылся ими, словно зелеными крыльями, руки зажал между коленями и сидит

с ровной, как доска, спиной почти на краешке стула. Смотрит куда-то вдаль, что-то мурлычет себе под нос — делает вид, что спокоен, но спокойствием здесь и не пахнет, прикусил щеки, и на лице его появился странный оскал — не лицо а череп, обтянутый кожей.

Макмерфи взял сигарету губами, положил руки на спинку стула, лег на них подбородком и щурит от дыма один глаз, а другим молча смотрит на Хардинга. Наконец решает заговорить, сигарета прыгает у него во рту.

— Слушай, приятель, эти собраньица вот так обычно и проходят?

— Обычно проходят? — Хардинг перестает напевать. Он уже не прикусывает щеки, но продолжает смотреть в одну точку, мимо Макмерфи.

— Это что, обычное явление на ваших сборищах? Групповая терапия? Или клевательная оргия?

Голова Хардинга дернулась, взгляд упал на Макмерфи, словно он только сейчас заметил, что кто-то сидит перед ним. Он опять прикусывает щеки, и на лице его снова появляется складка, отдаленно напоминающая улыбку. Он распрямляет плечи и откидывается на спинку стула, пытаясь выглядеть спокойным.

— Клевательная оргия? Боюсь, ваш необычный диалект вне моего понимания, дорогой друг. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите.

— Так я растолкую, — Макмерфи повышает голос и, хотя не глядит на остальных острых, которые стоят за его спиной и слушают, обращается именно к ним: — Когда куры вдруг замечают пятнышко крови на одной из своих подружек, они начинают клевать в это пятнышко, и клюют всем курятником, пока от курицы не остаются одни кости и лужа крови, и перья летают. Затем наступает очередь других, тех, на кого случайно брызнуло кровью. Потом еще у нескольких появляются пятнышки, их тоже заклевывают до смерти, и так далее. Клевательная оргия может опустошить весь курятник за пару часов, приятель, я это видел. Страшно до жути. Единственный способ остановить оргию — это позакрывать им глаза. Чтоб ничего не видели.

Хардинг сплетает свои длинные пальцы на колене, поджимает его и откидывается на спинку.

— Клевательная оргия. Это, безусловно, интересная аналогия, дорогой друг.

— Да, я вспомнил об этом на вашем собрании, приятель, если уж хочешь знать грязную прав-

ду. Оно напомнило мне курятник с грязными курами.

— Так из этого следует, друг мой, что я курица с пятнышком крови?

— Да, приятель.

Они продолжают улыбаться друг другу, но разговор слишком натянут и ведется так тихо, что мне приходится мести совсем рядом, чтобы слышать. Да и остальные острые подошли поближе.

— А хочешь, приятель, знать, кто у вас тут первый начинает клевать?

Хардинг ждет, и Макмерфи продолжает:

— Сестра эта, вот кто.

Вой ужаса в тишине. Механизмы в стенах пришли в движение, заработали. Хардинг изо всех сил удерживает руки, чтобы не замахать ими, — по-прежнему пытается выглядеть спокойным.

— Вот как все просто, — говорит он, — до глупости просто. Вы в нашем отделении всего шесть часов, а уже упростили все труды Фрейда, Юнга и Максвелла Джонса, сведя к одной аналогии — клевательная оргия.

— Приятель, речь не о юнге Фредди и Максвелле Джонсе, я имею в виду ваше паршивое собрание и то, что делала с тобой сестра вместе с другими ублюдками. И делала на славу.

— Делала со мной?

— Да-да, делала. Все, что хотела. Давала и в хвост и в гриву. Видно, приятель, ты здорово здесь насолил, раз нажил свору врагов, потому что накинулись на тебя уж точно сворой.

— Но это невероятно. Вы полностью игнорируете, совершенно не учитываете и игнорируете тот факт, что товарищи делали это для моего же блага! Что любое обсуждение и все до единого вопросы, заданные мисс Вредчет или другими представителями медперсонала, преследуют исключительно лечебные цели. Если вы действительно допускаете такое, значит, вы просто не слышали ни слова из теории терапевтического общества доктора Спайви или настолько необразованны, что ничего не понимаете. Я разочарован в вас, друг мой, весьма разочарован. В момент нашего знакомства, утром, вы казались мне умнее. Пусть необразован, пусть хвастун из захолустья с чувствительностью гуся, но тем не менее умный. Однако при всей моей обычной наблюдательности и проницательности я все же допускаю ошибки.

— Пошел к черту, приятель.

— Ах да. Я забыл добавить, что сегодня утром также заметил вашу примитивную грубость.

Психопат с выраженными садистскими склонностями, мотивированными, вероятно, бессмысленной эгоманией. Безусловно, все эти природные таланты характеризуют вас как компетентного медика и дают все основания критиковать ход собрания мисс Вредчет, несмотря на то, что она психиатрическая сестра с отличной репутацией и двадцатилетним практическим опытом. Да, друг мой, с вашим талантом вы можете творить чудеса в подсознании, утешить беспокоящийся Id[4] и вылечить раненое сверх-я[5]. Вы, вероятно, смогли бы вылечить все отделение, даже овощей. Дамы и господа, всего за шесть месяцев, или возвращаю деньги.

Макмерфи не вступает в спор, а только смотрит на Хартинга. Наконец, не повышая голоса, спрашивает:

---

[4] Примечания: 4

Id (лат.) — *оно.* В психоанализе наиболее архаическая, безличная, всецело бессознательная часть психического аппарата, резервуар психической энергии, «кипящий котел» влечений, стремящихся к немедленному удовлетворению. Эта часть психики связана с соматической областью, лишена контактов с внешним миром и не знает различия между внешней реальностью и субъективной сферой.

[5] Примечания: 5

Сверх-я — в психоанализе третья психическая структура (после «Я» и «Id»). Функционирует большей частью бессознательно, проявляясь в сознании как совесть; вызываемые им напряжения в психической структуре воспринимаются как чувства страха, вины, депрессии, неполноценности и т. п.

— Ты и вправду думаешь, что этот ваш треп как-то лечит?

— Друг мой, а по какой еще причине мы подвергаем себя этому? Медперсонал желает нашего выздоровления не меньше нашего. Они не звери. Мисс Вредчет, может, и строгая дама средних лет, но никак не монстр из курятника, с наслаждением выклевывающий нам глаза. Вы же не подумаете о ней такое, не так ли?

— Нет, приятель, не так. Она не глаза вам клюет. А кое-что другое.

Хардинг вздрагивает, его зажатые между коленями руки начинают медленно выползать, словно белые пауки выползают к стволу из развилки двух покрытых мхом сучьев.

— Не глаза? — переспрашивает он. — Умоляю вас, друг мой, скажите, что же?

Макмерфи ухмыляется.

— А ты как будто не знаешь, приятель.

— Нет, разумеется, не знаю! Конечно, если вы наста…

— Твои яйца, приятель, твои драгоценные яйца.

Пауки приползли к стволу и, подрагивая, устраиваются между стволом и суком. Хардинг пытается улыбнуться, но лицо и губы его такие

белые, что у него ничего не получается. Он уставился на Макмерфи. Тот вынимает сигарету изо рта и повторяет:

— Точно по яйцам, приятель. Сестра эта не монстр из курятника, она яйцедробилка… Я видел с тысячу таких, стариков и молодых, мужиков и баб. Видел в разных местах. Это люди, которые хотят сделать тебя слабым, чтобы ты ходил на цыпочках и выполнял их правила, то есть жил, как им хочется. И лучше всего добиться этого, заставить тебя сдаться — это ослабить тебя, ударить туда, где всего больнее. Тебя когда-нибудь били в пах? Когда сразу отключаешься? Хуже не бывает. Тебя выворачивает, забирает последние силы. Если против тебя такой, который хочет победить не своей силой, а твоей слабостью, следи за его коленом: он будет бить по самому больному.

Лицо Хардинга по-прежнему бледное, но он уже овладел своими руками: они вяло подрагивают, стараясь отбросить сказанное Макмерфи.

— Наша дорогая мисс Вредчет? Наша милая, улыбающаяся, нежная мать Вредчет, ангел милосердия — яйцедробилка? Друг мой, это вообще невероятно.

— Приятель, перестань травить мне эту нежную мамочкину чушь. Может, она и мать, но

здоровая, как амбар, и крепкая, как нож. Когда я приехал утром, она дурачила меня этой штукой с доброй старушкой мамой минуты три, не больше. Да и вас, уверен, она не могла дурачить долго. Ох, повидал я сук в свое время, но эта всех переплюнет.

— Сука? Но только что она была яйцедробилкой, еще раньше мерзавкой… или курицей? Какие быстрые метаморфозы, друг мой.

— Ладно, черт с ним! Она сука, мерзавка, яйцедробилка. И хватит меня подкалывать, ты знаешь, о чем я говорю.

Теперь лицо и руки Хардинга двигались быстрее обычного. Так в ускоренном фильме мелькают жесты, улыбки, гримасы, усмешки. Чем сильнее он пытается сдержать это, тем меньше у него получается. Когда он позволяет своим рукам и лицу двигаться, как они хотят, и не пытается их контролировать, они жестикулируют так плавно и красиво, что за ними приятно наблюдать. Но когда он обеспокоен ими и пытается их сдержать, то превращается в дикую марионетку, выполняющую какой-то странный дерганый танец. Движения убыстряются, речь тоже ускоряется, чтобы не отстать.

— Послушайте, друг мой мистер Макмерфи,

мой психопатический коллега, наша мисс Вредчет — истинный ангел милосердия, и все это знают. Она бескорыстна, как ветер, работает не для слов благодарности, а ради блага других, изо дня в день, пять долгих дней в неделю. Для этого требуется мужество, друг мой, мужество. Меня информировали — я не имею права называть эти источники, одно лишь могу сказать, что с этими людьми поддерживает контакт и Мартини, — так вот, она даже по выходным продолжает служить человечеству, выполняя значительную общественную работу в городе. Она организует благотворительную помощь: готовит подарки с консервированными продуктами, сыром, мылом, а затем преподносит все это каким-нибудь новобрачным, испытывающим серьезные финансовые затруднения. — Его руки мелькают в воздухе, описывая эту сцену. — Смотрите. Вот она, наша сестра. Тихо стучится в дверь. Перевязанная ленточкой корзинка. Молодожены потеряли дар речи от счастья. Муж с открытым ртом, жена плачет, не стесняясь. Наш ангел окидывает взглядом их жилье. Обещает прислать деньги… на стиральный порошок, да. Ставит корзинку в центре комнаты на пол. А когда уходит, — посылая воздушные поцелуи, с легкой улыбкой

на губах, — она так опьянена сладким молоком человеческой доброты, которое образуется в ее большой груди, что становится вне себя от щедрости. *Вне себя,* понимаете? Задержавшись на пороге, она отводит в сторону робкую юную новобрачную и вручает ей двадцать долларов от себя: «Иди, мое бедное, несчастное, голодное дитя, иди и купи себе приличное платье. Я прекрасно понимаю, что твой муж не может позволить себе этого, так что возьми и купи». И супружеская пара на всю жизнь в долгу перед ее щедростью.

Он говорит все быстрее и быстрее, на шее выступают жилы. Наконец он останавливается, и в отделении наступает мертвая тишина. Я слышу лишь, как где-то вращается кассета, по-видимому, все происходящее записывается на магнитофон.

Хардинг озирается, видит, что все смотрят на него, и вдруг начинает смеяться. Звук при этом такой, будто из свежей сосновой доски ломом выдирают гвоздь: и-и-и… и-и-и… и-и-и… Не может остановиться. Хватает себя за руки, как муха, и зажмуривает глаза от ужасного этого визга. Никак не может прекратить его. Смех становится все более резким, но вот, всхлипнув, Хардинг закрывает лицо руками, замолкает и шепчет сквозь зубы:

— Сука, сука, сука…

Макмерфи прикуривает еще сигарету и протягивает ее Хардингу. Тот молча берет. Макмерфи все так же внимательно вглядывается в его лицо, он озадачен и удивлен, как будто вообще впервые видит человека. Макмерфи наблюдает, а Хардинг дрожит и дергается все реже и наконец поднимает голову.

— Вы правы, — произносит он, — во всем правы. — Хардинг смотрит на остальных пациентов, наблюдающих за ним. — Никто еще не осмеливался сказать об этом вслух, хотя среди нас нет человека, который бы думал иначе и относился бы к ней и ко всем этим делам не так, как вы. Мы все испытывали такие же чувства, но лишь в самых дальних уголках своих запуганных душонок.

Макмерфи, нахмурясь, спрашивает:

— А этот пердун доктор? Может, он и туго соображает, но неужели не видит, как она все прибрала к рукам и что тут вытворяет?

Хардинг глубоко затягивается и отвечает, одновременно выпуская дым:

— Доктор Спайви, Макмерфи… точно такой, как мы, — прекрасно сознающий свою неполноценность. Это испуганный, отчаявшийся, слабый

маленький кролик, совершенно не способный руководить отделением без помощи нашей мисс Вредчет, и он это понимает. Кроме того, она поняла, что он это понял, и напоминает ему об этом при каждом удобном случае. Например, когда обнаруживает, что он допустил небольшую ошибку в своих записях или диаграммах, она обязательно тычет его туда носом.

— Да, — подает голос Чесвик и подходит к Макмерфи, — тычет нас носом в наши ошибки.

— Почему он ее не выгонит?

— В этой больнице, — объясняет Хардинг, — доктор не наделен полномочиями принимать на работу и увольнять. Это может сделать только инспектор, а инспектор — женщина, хорошая, старинная подруга мисс Вредчет. В тридцатые годы они вместе были медсестрами в армии. Друг мой, мы все здесь жертвы матриархата, и доктор такой же беспомощный против этого, как и мы. Он понимает, что мисс Вредчет достаточно снять трубку телефона, набрать номер инспектора и намекнуть: послушайте, этот доктор, мне кажется, заказывает слишком много димерола…

— Погоди, Хардинг, я в этом не очень-то разбираюсь.

— Димерол, друг мой, — это наркотик, к кото-

рому организм привыкает вдвое быстрее, чем к героину. Это касается и врачей.

— Наш доктор — наркоман?

— Не знаю, но дело не в этом.

— И что с того, что она обвинит его в…

— Вы невнимательно слушаете, друг мой. Она не обвиняет. Ей достаточно намекнуть, ввести в уши что-нибудь, неужели непонятно? Вы не заметили сегодня, как она обычно это делает? Подзывает человека к двери дежурного поста и, стоя в дверях, спрашивает, например, насчет обнаруженной под кроватью бумажной салфетки. Только спрашивает и ничего больше. И как бы человек ни ответил, он чувствует себя лгуном. Если скажет, что вытирал салфеткой ручку, она говорит: «Понятно, ручку», если скажет, что у него насморк, она: «Понятно, насморк». И кивнет своей маленькой аккуратной седой причесочкой, затем улыбнется скромной улыбочкой, повернется и уйдет на пост, оставив человека в недоумении: так для чего же он использовал эту салфетку?

Хардинг снова начинает дрожать, и плечи опять укрывают его.

— Нет. Ей вовсе не нужно обвинять. Она великий мастер намека. Вы хоть раз слышали — на

сегодняшнем собрании, — хоть *единственный* раз, чтобы она обвинила меня в чем-нибудь? И все же я обвинен во многом: в ревности и паранойе, в том, что во мне мало мужского, чтобы удовлетворить жену, в связях с моими приятелями, в том, что я держу сигарету с жеманным видом, даже, как мне показалось, в том, что у меня между ног нет ничего, кроме небольшого клочка волос, таких мягких, пушистых, беленьких волосиков! Яйцедробилка? О, вы ее *недооцениваете*!

Хардинг вдруг замолкает, подается вперед и берет обеими руками руку Макмерфи. Лицо его странным образом перекашивается и заостряется, все из красных и серых граней — разбитая бутылка вина.

— Этот мир… принадлежит сильным, друг мой! Ритуал нашего существования основывается на том, что, пожирая слабых, сильный становится сильнее. С этим мы должны смириться. Может, это и неправильно, но так есть, и мы должны научиться принимать это как должное. Кролики осознали свою роль в этом ритуале и признали в волке сильнейшего. Но кролика спасает его трусость, ловкость и шустрость, он роет норы и прячется, когда рядом волк. Он смирился и выживает. Он знает свое место и никогда не

вступит в схватку с волком. И это благоразумно, не правда ли?

Он выпускает руку Макмерфи, откидывается на спинку, кладет ногу на ногу и глубоко затягивается. Затем вынимает сигарету из узкой щели улыбающихся губ и вновь смеется: и-и-и… и-и-и… и-и-и — как будто гвоздь достают из доски.

— Мистер Макмерфи, друг мой… я не курица. Я кролик. И доктор — кролик. Чесвик тоже кролик. И Билли Биббит. Все мы здесь кролики в разной степени и разного возраста, прыгаем и скачем по стране Уолта Диснея. Поймите меня правильно, мы здесь не потому, что мы кролики — кроликами мы были бы везде, — мы здесь потому, что не можем приспособиться к нашей кроличьей доле. И чтобы мы знали свое место, нам нужен хороший, сильный волк вроде медсестры.

— Послушай, ты что, дурак? Собираешься сидеть сложа руки, а эта синеволосая старуха будет уговаривать тебя стать кроликом?

— Не уговаривать, нет. Я родился кроликом. Ты присмотрись. Сестра мне нужна, чтобы я почувствовал себя *счастливым* кроликом.

— Какой ты, к черту, кролик!

— Вот мои ушки, вот дергающийся носик, вот хвостик пуговкой.

— Ты говоришь как ненорм…

— Как ненормальный? Вы очень проницательны.

— Черт возьми, Хардинг, да я о другом. Не в этом смысле ненормальный, а… дьявол, я удивляюсь, какие вы тут все ненормальные. Не хуже любого первого встречного придурка…

— Да, конечно, первого встречного придурка.

— Да нет. Понимаешь, не те ненормальные, каких в кино показывают. Вы просто странные и немного…

— Немного вроде кроликов, да?

— Кролики? Черта с два! Никакие, дьявол, вы не кролики.

— Мистер Биббит, попрыгайте для мистера Макмерфи. Мистер Чесвик, покажите, какой вы пушистый.

Прямо на моих глазах Билли Биббит и Чесвик превращаются в съежившихся белых кроликов, но им слишком стыдно делать то, что сказал Хардинг.

— Ах, они стесняются, Макмерфи. Как это трогательно. А может быть, им неловко, что они не защитили своего друга? Возможно, они чувствуют себя виноватыми, потому что в очередной раз позволили ей обмануть себя и вести допрос.

Не огорчайтесь, друзья, у вас нет оснований стыдиться. Все так, как и должно быть. Кролики не защищают своих сородичей. Это было бы глупо. Нет, вы поступили мудро, трусливо, но разумно.

— Послушай, Хардинг, — обращается к нему Чесвик.

— Нет, нет, Чесвик. Не сердись на правду.

— А вот послушай. Когда-то я говорил про сестру Вредчет то же, что и Макмерфи.

— Да, но говорил очень тихо, а впоследствии отказался от своих слов. Ты тоже кролик и не пытайся уйти от правды. Именно поэтому я не сержусь на тебя за твои вопросы на сегодняшнем собрании. Ты только играл свою роль кролика. Если бы на ковер вызвали тебя или Билли, или Фредриксона, я бы нападал на вас не менее жестоко. Мы не должны стыдиться своего поведения. Мы, мелкие животные, обязаны себя так вести.

Макмерфи поворачивается в своем кресле и смотрит на других острых.

— Может, я и не прав, но им должно быть стыдно. По мне, это выглядело чертовски паршиво, как они взяли и переметнулись на ее сторону. Уж мне показалось, что я снова в китайском лагере для пленных…

— Макмерфи, послушай, — обращается к нему

Чесвик.

Макмерфи поворачивается, но Чесвик молчит и, кажется, продолжать не собирается. Он никогда не продолжает, он один из тех, кто обычно поднимает много шума, собираясь в атаку, зовет за собой, с минуту марширует, а затем делает пару шагов и останавливается.

Макмерфи видит, как Чесвик сникает после такого грозного начала, и повторяет:

— Ну точно как в китайском лагере.

Хардинг примирительно поднимает руки:

— Нет-нет, это не так. Не осуждай нас, друг мой. Нет. Дело в том, что…

Я замечаю, как в глазах Хардинга появляется лукавинка, и кажется, что он сейчас засмеется, но он вынимает изо рта сигарету и дирижирует ею — она похожа на его палец с дымящимся кончиком.

— …вы тоже, мистер Макмерфи, при всей вашей китайской удали и показной развязности, под этой твердой оболочкой вы такой же, вероятно, пушистый кролик с маленькой душонкой.

— Да уж, конечно. Маленький, серенький. Интересно почему, Хардинг? Потому что псих или потому что дерусь? А может быть, потому что люблю потрахаться? Наверное, последнее. Это

самое трах-трах-спасибо-мадам. Ага, это уж точно делает меня кроликом…

— Постойте. Боюсь, что вы привели такой довод, который требует определенных размышлений. Кролики известны этой своей особенностью, не правда ли? По сути дела, знамениты своим трах-трах. Да. Хм. В любом случае приведенный вами довод просто доказывает, что вы нормальный, здоровый, активный кролик, в то время как у большинства из нас отсутствует сексуальная способность, что лишает нас возможности считаться полноценными кроликами. Мы дефектные особи, хилые, чахлые, слабые созданьица слабого рода. Кролики без траха. Жалкое явление.

— Минуту, ты все время перекручиваешь мои слова…

— Нет. Вы были правы. Помните, именно вы обратили наше внимание на то место, в которое сестра старалась нас клевать. Это верно. Здесь нет ни одного человека, кто бы не боялся потерять или уже не потерял эту свою способность. Мы, смешные зверьки, не можем достичь зрелости даже в кроличьем мире — вот насколько мы слабы и неполноценны. И-и-и. Мы, если можно так выразиться, из кроликов кролики!

Он снова подается вперед, и этот сдерживае-

мый скрипучий смех, которого я все время жду, наконец вырывается из него; руки пляшут, лицо дергается.

— Хардинг! Заткни глотку! — Это как пощечина. Хардинг замолкает, словно его обрезало: раскрытый рот в кривой усмешке, застывшие руки в облаке голубого табачного дыма. На секунду он замирает в таком виде, но вот глаза его суживаются в тонкие хитрые щелки, и он переводит взгляд на Макмерфи. Говорит так тихо, что я вынужден работать шваброй у самого его стула.

— Друг… а вы ведь… волк.

— Черт возьми, никакой я не волк, а ты не кролик. Чушь, я никогда не слышал…

— У вас настоящий волчий рык.

Громко сопя, Макмерфи поворачивается к обступившим их острым:

— Слушайте, вы все. Что с вами стряслось? Вы же не такие чокнутые, чтобы изображать из себя зверей!

— Да! — восклицает Чесвик и становится рядом с Макмерфи. — Ей-Богу, никакой я не кролик.

— Молодец, Чесвик. А остальные? Кончайте и посмотрите на себя: вдолбили себе в голову и боитесь какой-то пятидесятилетней бабы. Ну что она может вам сделать?

— Да. Что? — спрашивает Чесвик и свирепо смотрит на остальных.

— Жечь каленым железом не будет. Сечь кнутом — тоже. Привязывать и пытать вряд ли. Теперь есть законы насчет всего этого, мы живем не в средние века. Ничего она не может сделать…

— Ты же в-в-видел, что она м-м-может! С-с-сегодня на собрании. — Билли Биббит перестал быть кроликом. Он наклонился к Макмерфи, собираясь продолжить. На губах слюна, лицо красное. Но вдруг поворачивается и отходит — А-а, б-б-бесполезно. Лучше п-п-повеситься.

— Сегодня на собрании? — бросает Макмерфи ему вслед. — Что я видел сегодня на собрании? Бог мой, ну задала она пару вопросов, простых и вежливых. Вопросы не калечат, это не палки и не камни.

Билли оборачивается:

— А вот к-к-как она их з-з-задает…

— Но ты можешь не отвечать, правильно?

— Можешь. А она у-у-улыбнется и с-с-сделает пометку в своем блокноте, а п-п-потом…

К Билли подходит Скэнлон:

— Если ты не отвечаешь на вопросы, Мак, то молчание все равно знак твоего согласия. Вот так

же и ублюдки в правительстве тебя накалывают. И ничего не поделаешь. Единственный выход — снести весь этот бардак с лица земли, взорвать к чертовой матери.

— А если, когда она задает такие вопросы, попросить ее заткнуться и послать к черту?

— Да, — повторяет Чесвик, грозя кулаком, — попросить ее заткнуться и послать к черту.

— И что из этого, Мак? Она тебе сразу: «Почему и-мен-но этот вопрос, больной Макмерфи, выводит вас из себя?»

— Тогда еще раз пошли ее к черту. Пошли их всех к черту. Они же тебя не бьют.

Острые теснее обступают его. На этот раз отвечает Фредриксон:

— Хорошо, скажи ей это, скажи — сразу попадешь в потенциально агрессивные и отправишься наверх, в палату для буйных. Со мной такое было. Три раза. Этих придурков не пускают даже в кино в субботу вечером. И телевизора у них нет.

— Вот так, друг мой. Если же вас все-таки продолжают одолевать враждебные настроения, как, например, послать кого-нибудь к черту, то вас поставят на очередь в Шоковую мастерскую, а может быть, предложат и что-то более существенное: операцию или…

— Черт побери, Хардинг, я же говорил, что не разбираюсь в этих словечках.

— Шоковая мастерская, мистер Макмерфи, — это ласковое название установки ЭШТ — электрошоковой терапии. Устройство, которое, можно сказать, в одном лице заменяет снотворное, электрический стул, а также дыбу для пыток. Это маленькая, хорошо продуманная и очень быстрая процедура, настолько быстрая, что почти безболезненная, но второй раз туда никто не хочет. Никто.

— И что эта штука делает?

— Тебя привязывают к столу, у которого по иронии судьбы форма креста, но на голове вместо тернового — венец из электрических искр. С разных сторон к голове тянутся проводки. Чик! На пять центов электроэнергии через мозг — и тотчас вы получаете лечение, а заодно и наказание за все ваши «идите к черту» и прочие агрессивные поступки, кроме того, в течение определенного времени, шесть часов или три дня — это зависит от вашей комплекции, — вы никому не мозолите глаза. Даже придя в сознание, еще какое-то время вы пребываете в состоянии дезориентации: не можете логично рассуждать, многое вообще не можете вспомнить. Достаточное количество

таких процедур — и человек рискует стать похожим на мистера Эллиса: вон там, у стены, тридцатипятилетний слюнявый идиот с вечно мокрыми штанами. А может быть, вам более симпатичен безмозглый организм, который ест, испражняется и выкрикивает: «На… жену», как Ракли. Или взгляните на Вождя Швабру, который рядом с вами ухватился за свою тезку.

Хардинг показывает на меня сигаретой. Отступать поздно, и я делаю вид, что ничего не замечаю. Подметаю дальше.

— Говорят, Вождь получил их более двухсот, когда шоковые процедуры были в моде. Представьте себе, какое воздействие это оказало на мозг, который уже тогда был неустойчивым. Взгляните на него: гигант уборщик. Вот она, исчезающая американская раса: уборочная машина ростом шесть футов и восемь дюймов, пугающаяся собственной тени. Вот этим, друг мой, нам угрожают.

Некоторое время Макмерфи смотрит на меня, потом оборачивается к Хардингу:

— Послушай, а как насчет того дерьма с демократией в отделении, которым сегодня кормил нас доктор? Почему вы не проголосуете?

Хардинг с улыбкой смотрит на него и не спеша

затягивается.

— За что голосовать, друг мой? Чтобы сестра больше не задавала вопросов на собрании группы? Или чтобы она не смотрела на нас *так*? Скажите мне, мистер Макмерфи, за что именно голосовать?

— Черт, мне все равно. Голосуйте за что угодно. Разве не понятно, что нужно что-то делать, нужно доказать, что у вас еще осталось мужество? Неужели не понятно, что ей нельзя позволить вить из вас веревки? Посмотрите на себя: ты говоришь, Вождь боится собственной тени, а я никогда не видел более напуганной горстки людей, чем вы.

— Только не я! — заявляет Чесвик.

— Может, и не ты, приятель, но остальные боятся даже открыть рот, не то что засмеяться. Знаешь, что меня сразу здесь удивило? Никто не смеется. С тех пор как я вошел в эту дверь, я ни разу не слышал настоящего смеха, понимаешь? А разучился смеяться — значит потерял опору. Если мужик позволяет бабе ухандокать себя так, что уже не может смеяться, он теряет один из главных своих козырей. Сразу начинает думать, что она сильней его, и…

— Ага. По-моему, братцы кролики, наш друг начинает смекать. Скажите, мистер Макмерфи, как

можно доказать женщине, что вы хозяин, кроме как смеяться над ней? Как показать, кто король? Такой, как вы, должен знать это. Не станете же вы раздавать пощечины направо и налево? Нет. Иначе она вызовет полицию. И кричать на нее не будете: она одержит верх, задобрив своего большого и сердитого мальчика: «Мой малыш капризничает? Ай-ай-ай». Вы когда-нибудь пробовали сохранить благородный и гневный вид, столкнувшись с таким утешением? Понимаете, друг мой, все так, как вы сказали: у мужчины есть лишь *одно* эффективное оружие против всесилья современного матриархата, но это вовсе не смех. Единственное оружие, и с каждым годом в нашем унылом и мотивационно обследуемом обществе все больше людей узнает, как сделать это оружие негодным и покорить тех, кто раньше был победителем…

— Боже, Хардинг, ну ты даешь! — не выдерживает Макмерфи.

— …уверены ли вы, при всех ваших славных психических способностях, что сможете эффективно использовать это оружие против нашей победительницы? Как вы считаете, сможете ли вы его использовать против мисс Вредчет, мистер Макмерфи? Не сейчас, когда-нибудь? — И

широким жестом показал на стеклянный ящик. Все головы поворачиваются туда. Она там, сидит в окне, пишет все на потайной магнитофон и наверняка соображает, как использовать все это в своих целях.

Вот она замечает, что на нее смотрят, кивает головой, и все отворачиваются. Макмерфи снимает свою мотоциклетную кепку и запускает обе руки в рыжую шевелюру. Теперь все смотрят на него, ждут ответа, и он это понимает. Он чувствует, что каким-то образом попал в ловушку. Снова надевает кепку и трет швы на носу.

— Хм, ты хочешь знать, смогу ли я отодрать эту чертову перечницу? Не знаю… нет… вряд ли…

— Она не такая уж невзрачная, Макмерфи. У нее красивое, еще не старое лицо. А какой шикарный бюст, несмотря на все попытки скрыть его в этой лишенной сексуальности одежде. Вероятно, в молодости она считалась довольно красивой женщиной. И все-таки, интереса ради, смогли бы вы ее отделать, если бы она была не старой, а молодой и прекрасной, как Елена.

— Я не знаю Елену, но вижу, куда ты клонишь. Ей-Богу, приятель, ты прав. С этой ее каменной физиономией я бы ничего не сделал, даже если бы она была сама Мэрилин Монро.

— Вот ты и попался. Она победила.

Все. Хардинг откидывается назад, и народ ждет ответа Макмерфи. Макмерфи понимает, что прижат к стене. С минуту он смотрит на всех, потом пожимает плечами и поднимается со стула:

— Ну что ж, черт с ним, я ничего не теряю.

— Верно, ничего.

— И чертовски не хочется, чтобы за мной гонялась старая ведьма-медсестра с тремя тысячами вольт. Если уж решиться, то только ради приключений.

— Да, вы правы.

Хардинг одержал победу в споре, но это никого не радует. Макмерфи цепляется большими пальцами за карманы и пытается засмеяться.

— Нет, сэр, впервые слышу, чтобы кто-нибудь предлагал двадцатник за то, чтобы прикончить яйцедробилку.

Вместе с ним все улыбаются этой шутке, но весельем здесь не пахнет. Я рад за Макмерфи, что он все-таки осторожен и не дает втравить себя в дело, которое ему не по силам, но мне известно настроение остальных, да и самому не очень-то весело. Макмерфи закуривает еще. Никто не уходит. Все так и стоят, улыбаются и чувствуют себя неловко. Макмерфи опять трет нос, смотрит

на острых, затем оглядывается на сестру и кусает губу:

— Вот ты говоришь… она не отправляет наверх к буйным, пока ее не доведешь. То есть пока она не достанет тебя так, чтобы ты завелся, начал ругаться, разбил окно или что-нибудь в этом роде, так?

— Пока ты ничего такого не сделаешь.

— Это точно? Знаешь, у меня тут появилась одна мыслишка, как вас, цыплят, немного ощипать. Но я не люблю оказываться в дураках. Еле выбрался из той дыры, и не хотелось бы попасть из огня да в полымя.

— Абсолютно точно. Она бессильна, пока вы не совершите что-нибудь такое, что заслуживало бы отделения для буйных или ЭШТ. Если у вас хватит сил не позволить ей довести вас, она ничего не сможет сделать.

— Получается, если я веду себя хорошо, не грызусь с ней…

— И ни с кем из ее санитаров.

— …и ни с кем из ее санитаров, не устраиваю никакого шума, стало быть, она не сможет ничего со мной сделать?

— Таковы правила, которых мы придерживаемся. Конечно, она все равно выигрывает, *всегда*

выигрывает, друг мой. Сама же она неуязвима, а так как время на ее стороне, то в конце концов она достает всех. Вот почему в больнице она считается лучшей сестрой и наделена такой властью. Она мастер обнажать дрожащий либидо…

— Черт с ним. Мне нужно знать, насколько опасно играть с ней в эту игру? Если я начну тихо давить на нее и чем-нибудь доведу, но сам не буду нервничать, она не отправит меня на электрический стул?

— Вы в безопасности, пока владеете собой и держите себя в руках. Для того чтобы поместить вас в отделение для буйных или предоставить лечебные блага электрошока, требуется убедительный довод. Только хватит ли у вас выдержки, мой друг. У вас, с вашими рыжими волосами и такой славной репутацией? Не обманывайте себя.

— Отлично. — Макмерфи потирает руки. — Я думаю так. Вам, ребята, кажется, что у вас здесь настоящая чемпионка. Ну просто — как ты назвал ее? — неуязвимая женщина. Хотелось бы мне знать, кто из вас настолько в этом *уверен*, что готов поставить немного денег?

— Настолько уверены в чем?

— Я же говорю: кто из вас, умников, готов ответить на мою ставку в пять долларов, которыми я

утверждаю, что до конца недели доведу эту бабу, а она меня нет? Одна неделя, и если я не достану ее так, что она не будет знать, куда бежать, то вы выиграли.

— Ты собираешься держать пари? — Чесвик переминается с ноги на ногу и потирает руки, как Макмерфи.

— Да, приятель, все так.

Хардинг и еще некоторые не совсем понимают.

— Это довольно просто. Здесь нет ничего благородного или сложного. Просто я люблю играть. И еще больше люблю выигрывать. Думаю, что смогу выиграть и сейчас, о кей? В Пендлтоне дошло до того, что со мной мужики не хотели ставить и цента — такой я был везучий. Я ведь организовал свою поездку сюда еще и потому, что мне нужны были свежие игроки. Скажу вам так: перед тем как отправиться сюда, я выяснил кое-что о вашей конторе. Чуть ли не половина гребет компенсацию, по триста-четыреста в месяц, и не знает, куда эти денежки воткнуть. Так они и пылятся. Я подумал, что это неправильно и можно сделать жизнь всем нам чуток богаче. С самого начала говорю честно. Я игрок и не собираюсь проигрывать. А что касается этой сестры? Никогда еще

не встречал бабы, в которой мужика было бы больше, чем во мне. Так что не важно, возьму я ее или нет. На ее стороне, конечно, время, но у меня очень долгая полоса везения.

Он сдергивает кепку, раскручивает ее на пальце и, как фокусник, ловит за спиной другой рукой.

— И еще. Я здесь потому, что так задумал. Здесь лучше, чем на ферме. И если говорить честно, то никакой я не чокнутый, во всяком случае, раньше не замечал. Сестра ваша этого не знает, у нее и в мыслях нет, что против нее пойдет тот, у кого такой быстрый ум, как у меня. Это преимущество, и оно мне нравится. Итак, я ставлю пять долларов против каждого, кто желает, и утверждаю, что за неделю смогу загнать ей жука в задницу.

— Я не уверен, правильно…

— Все правильно. Осу в пятку, соли на хвост. Раздразню. Разделаю так, что лопнет по всем швам и покажет хоть раз, что не такая уж она непобедимая, как вы думаете. Одна неделя. Ты будешь судьей — выиграл я или проиграл.

Хардинг достает карандаш и что-то пишет в блокноте для игры в пинэкл:

— Вот. Долговое обязательство на десять долларов из тех денег, которые пылятся под моим именем в казначействе. Быть свидетелем такого

невиданного чуда для меня, друг мой, заслуживает и большей суммы.

Макмерфи смотрит на бумагу и складывает ее.

— А для вас остальных оно чего-нибудь заслуживает?

Острые выстраиваются в очередь и подходят к блокноту. Макмерфи берет листок у каждого, складывает на ладони, прижимает крепким большим пальцем руки. Мне видно, как пачка в его руке растет. Обводит всех взглядом:

— Вы доверяете мне хранить ваши расписки, ребята?

— Мне кажется, мы можем быть уверены, — говорит Хардинг. — В ближайшее время он никуда отсюда не денется.

* * *

Однажды на Рождество, ровно в полночь, еще на старом месте дверь отделения с грохотом распахнулась и ввалился тучный мужчина с бородой, красными от холода кругами под глазами и вишневым носом. Черные фонариками загнали его в угол коридора. Я видел, как он запутался в мишуре, которую повсюду развесил тип из связей с общественностью, и спотыкается из-за нее в темноте. Фонарики светят ему в глаза, он

щурится, сосет ус и приговаривает:

— Хо-хо-хо, с удовольствием бы остался, да надо спешить. Знаете, очень плотное расписание. Хо-хо. Тороплюсь…

Черные с фонариками наступают…

Он вышел из отделения только через шесть лет, без бороды и тощий, как палка.

Поворотом одного из регуляторов на стальной двери Большая Сестра может пускать настенные часы с любой, какой хочет, скоростью. Вздумается ей ускорить нашу жизнь — она поворачивает рычажок, и стрелки часов несутся по циферблату, как спицы в колесе. В окнах-экранах быстро меняется освещенность: утро, полдень, вечер бешено мелькают со сменой дня и ночи, и все как угорелые стараются поспеть за этим ложным временем. Ужасная неразбериха из бритья, завтраков, процедур, обедов, лечений и десятиминутной ночи; так что едва закроешь глаза, как свет в спальне орет: подъем! — и снова начинай неразбериху, жми как сукин сын, выполняй суточный распорядок, может, двадцать раз в час. Наконец Большая Сестра видит, что все на грани срыва, сбрасывает газ, и часы успокаиваются, замедляется их ход, словно ребенок баловался с кинопроектором и вот устал смотреть фильм в

бешеном ритме, ему надоели дурацкая беготня и писк вместо речи, и он пустил фильм с нормальной скоростью.

У нее привычка включать скорость в такие дни, когда, например, к тебе приходят гости или идет передача из Портленда для ветеранов — то есть когда время хочется задержать и растянуть. Тогда она все ускоряет.

Однако чаще наоборот, ритм жизни замедляется. Она ставит регулятор в положение полной остановки, и застывает солнце на экране, неделями не сдвигается с места даже на волосок, так что кажется, будто замерли листья на дереве, травинки на лужайке. Стрелки часов показывают без двух минут три, и она может удерживать их там, пока мы не проржавеем. Сидишь, отвердевший, не в состоянии шевельнуться, не можешь подняться или передвинуться, чтобы размять мышцы, нет сил глотать и нет сил дышать. Только глаза еще двигаются с одного на другого окаменевшего острого. Они напротив, ждут друг друга, не зная, чей сейчас ход. Старый хроник рядом со мной мертв уже шестой день и гниет на стуле. Иногда вместо тумана она пускает через вентиляционные отверстия прозрачный химический газ, и, когда он превращается в пластмассу,

все отделение затвердевает.

Бог знает как долго мы так подвешены.

Потом постепенно она начинает отпускать регулятор, что еще хуже. Мертвое подвешенное состояние я переношу легче, чем сиропно-замедленное движение руки Скэнлона в противоположном углу: третьи сутки она тянется положить карту. Мои легкие всасывают плотный пластиковый воздух, словно проталкивают его через игольное ушко. Хочу пойти в уборную и чувствую, что погребен под тонной песка, который давит на мой мочевой пузырь так, что на лбу трещат искры.

Напрягаю каждый мускул, каждую косточку, чтобы подняться со стула, и тужусь до тех пор, пока не начинают дрожать руки и ноги и болеть зубы. Я жму, жму, а все, что удается, это оторваться на четверть дюйма от кожаного сиденья. Снова отваливаюсь на стул, сдаюсь и выпускаю струйку, замыкаю на левой ноге горячий соленый провод, который включает унизительную сигнализацию, сирены, мигалки. Все вопят, бегают, большие черные разбрасывают толпу налево и направо, бросаются сломя голову ко мне, размахивают ужасными пучками мокрых медных проводов, которые шипят и трещат, замыкаясь при контак-

те с водой.

Иногда мы все-таки получаем послабление от регулировки времени: когда находимся в тумане; тогда время ничего не значит, оно, как и все остальное, теряется в сплошной пелене. (С момента появления Макмерфи в отделении туманную машину еще не включали ни разу. Бьюсь об заклад, он ревел бы как бык, если бы напустили тумана).

Когда ничего другого не происходит, остается только бороться с туманом или регулированным временем, но сегодня что-то произошло — ничем таким нас не обрабатывали весь день, начиная с бритья. После обеда все идет как по графику. Когда заступает вторая смена, на часах четыре тридцать — как и должно быть. Большая Сестра отпускает черных и делает последний обход отделения. Вытаскивает длинную серебряную заколку из узла сине-стальных волос, снимает белую шапочку и тщательно укладывает ее в картонную коробку, где уже лежат нафталиновые шарики, затем быстрым движением руки вновь вонзает заколку в волосы.

Я вижу, как она за стеклом со всеми прощается. Передает сестре с родинкой из второй смены записку, потом руки ее тянутся к пуль-

ту управления на стальной двери, в дневной комнате со щелчком включается громкоговоритель: «До свидания, мальчики. Ведите себя хорошо.» И включает музыку, как никогда, громко. Трет внутренней стороной запястья свое окно, разговаривает с толстым парнем, только что заступившим на дежурство, на лице брезгливое выражение, — наверное, «советует» ему лучше почистить окно; и прежде чем она закрывает за собой дверь отделения, он начинает тереть стекло бумажным полотенцем.

Механизмы в стенах со свистом вздыхают, снижая обороты. До позднего вечера мы едим, принимаем душ и снова возвращаемся в дневную комнату. Старик Бластик, самый древний из овощей, держится за живот и стонет. Водяной Джордж (черные зовут его Мойдодыр) моет руки в фонтанчике для питья. Острые сидят, играют в карты, некоторые, пытаясь добиться хорошего изображения, таскают телевизор по всей комнате в поисках устойчивого луча.

Динамики в потолке все еще орут. Причем музыка идет не по радиоволнам, она записана на длинную магнитофонную ленту и передается из дежурного поста — вот почему нет помех от аппаратуры в стенах. Пленку эту мы знаем наизусть,

поэтому ее никто из нас не слышит, за исключением новеньких. Так, например, Макмерфи к ней еще не привык. Банкует в очко на сигареты, а динамик как раз под карточным столиком. Кепка у Макмерфи так надвинута на глаза, что ему приходится задирать голову и скашивать глаза из-под козырька, чтобы видеть свои карты. В зубах сигарета, говорит он, стиснув зубы, как аукционщик, которого я однажды видел на распродаже скота в Даллзе.

— …хей-хей, давай, давай, — цедит он быстро высоким голосом. — Жду вас, фраера, играй или мотай. Играешь, говоришь? Так-так-так, с королем мальчик хочет играть. Как знать. Сейчас разберусь с тобой и *очень* плохо, дамочку для мальчика — и он прыгает через стену, вниз по дорожке, вверх в гору и все сгружает. Разберемся с тобой, Скэнлон, и *пусть какой-нибудь идиот в теплице у медсестер сделает потише эту вонючую музыку!* О-о-о! Эта штука играет день и ночь, Хардинг? В жизни не слышал такого страшного грохота.

Хардинг недоуменно смотрит на него:

— Какой шум вы имеете в виду, мистер Макмерфи?

— Чертово радио. Ну и ну. Как я пришел утром,

оно все еще работает. И не вешай мне лапшу, будто ты его не слышишь.

Хардинг поворачивает ухо к потолку:

— Ах да, так называемая музыка. Знаете, если сосредоточиться, ее, конечно, можно услышать, но ведь можно так же услышать, как бьется сердце, если сосредоточиться. — Он, улыбаясь, смотрит на Макмерфи. — Видите ли, друг мой, это магнитофонная запись. Мы редко слушаем радио. Новости могут иметь нежелательное воздействие на психику пациентов. А эту запись мы слышим так часто, что она просто скользит вне нашего слуха, как шум водопада становится неслышным для тех, кто живет рядом. Как вы думаете, вы бы долго слышали водопад, если бы жили где-то неподалеку?

…Я до сих пор слышу шум водопада на Колумбии и всегда слышу победный клич Чарли Медвежье Брюхо, пронзающего большую чавычу, плескание рыбы в воде, смех голых детей на берегу, женщин рядом с сушилками… — еще с того, давнего времени…

— У них музыка вроде водопада? — спрашивает Макмерфи.

— Когда спим, ее выключают, — объясняет Чесвик, — но все остальное время это уж точно

как водопад.

— Черта с два. Сейчас скажу вон тому черномазому, чтобы вырубил, а то получит ногой по жирному заду!

Начинает подниматься, Хардинг трогает его за руку:

— Друг мой, именно такого рода заявления дают основание считать человека агрессивным. Вам так не хочется участвовать в пари?

Макмерфи смотрит на него:

— Вот как это делается, ага. Давят на психику? Жмут?

— Вот так и делается.

Медленно садится и замечает: «Конское дерьмо».

Хардинг обводит взглядом других острых, окруживших карточный стол.

— Джентльмены, мне кажется, в нашем рыжеволосом смельчаке наблюдается весьма неожиданное ослабление его киноковбойского героизма.

Он смотрит на Макмерфи через стол и улыбается. Макмерфи кивает ему, подмигивает и слюнявит большой палец на руке.

— Да, сэр, похоже, наш старый профессор Хардинг начинает задирать нос. Пару раз выиграл и

теперь строит из себя умника. Ну-ну. Вот он у нас сидит и показывает двойку, а пачка «Мальборо» говорит, что он пасует… Ба! Он играет и ставит столько же, от-лич-но, профессор, вот троечка, хочет еще, получает одну двоечку, целых пять, профессор?! Будем удваивать или не рискуем? Еще одна пачка говорит: рисковать не будем. Ну и ну, профессор отвечает тем же, это что-то значит, оч-чень плохо, еще одна дама — и профессор проваливается на экзамене…

Из динамика вырывается новая песня, в которой много ударных и еще больше аккордеона. Макмерфи смотрит на динамик и усиливает мощность своей глотки:

— …хей-хей, о'кей, следующий, черт побери, играешь или мотаешь… разберемся с тобой!..

И так — пока не выключат свет в девять тридцать.

Я бы согласился наблюдать всю ночь, как Макмерфи играет в очко: сдает, говорит, заманивает острых и разделывает их так, что они уже готовы все бросить, потом уступает одну-две партии, чтобы вернуть им уверенность, и снова втягивает. Один раз он решил сделать перекур, отвалился на спинку стула, сцепил руки на затылке и начал рассказывать:

— Секрет прохиндея высшего класса в том, чтобы знать, что нужно тому лопуху и как ему внушить, что он это получает. Я научился этому, когда работал аттракционистом на ярмарке. Когда лопух приближается, ты ощу-у-пываешь его глазами и мыслишь: «Вот он, этот олух, который хочет чувствовать себя сильным». И всякий раз, когда он рычит на тебя за то, что ты его накалываешь, начинаешь дрожать — перепуганный до смерти зайчик! — и говоришь: «Пожалуйста, сэр. Не надо скандала. Следующая попытка за счет конторы, сэр». Так что оба вы получаете то, что вам нужно.

Вместе со стулом он наклоняется вперед, и ножки с грохотом опускаются на пол. Он берет колоду, с треском проводит по ней большим пальцем, выравнивает о поверхность стола, слюнявит большой и указательный палец.

— А вам, ребятки, знаю, что нужно для приманки: солидный, крупный банк. В следующей игре ставлю на кон эти десять пачек. Хей-хей, разберемся с вами, играем до конца…

Закидывает голову и громко хохочет, глядя, как пациенты торопятся сделать свои ставки.

Смех этот гремит в дневной комнате весь вечер, и всякий раз, сдавая карты, он шутит, старается

рассмешить игроков. Но они боятся расслабиться — так давно это было. Тогда он прекращает свои попытки и начинает играть серьезно. Раз или два они выиграли у него банк, но он всегда откупался или отыгрывался, и пирамиды из сигарет все росли и росли рядом с ним.

Но вот, когда стрелки часов приближаются к девяти тридцати, он разрешает им отыграться, и они это делают так быстро, что едва помнят, как проигрывали. Он расплачивается последней парой сигарет, кладет на стол колоду, со вздохом откидывается на спинку стула и убирает кепку с глаз — игра окончена.

— Скажу вам, ребята, мой девиз — чуток выиграть, остальное проиграть. — Он расстроенно качает головой. — Я всегда считался очень приличным игроком в очко, но вы, наверное, слишком крутые для меня. У вас какая-то жуткая сноровка, которая так и подначивает сыграть завтра с такими шулерами на деньги.

Он и не рассчитывает, что они клюнут на это. Он позволил им выиграть, и все, наблюдавшие за игрой, это знают. Сами игроки тоже. Но нет такого человека среди тех, кто сейчас перебирает свою стопку сигарет — не выигранных, а только отыгранных, потому что он выиграл их пер-

вым, — у кого на лице не было бы самодовольной улыбки, как будто он самый крутой картежник на Миссисипи.

Толстый черный и второй черный по имени Дживер выдворяют нас из дневной комнаты и ключиком на цепочке начинают гасить свет; по мере того как в отделении темнеет, глаза сестры с родинкой становятся все выразительнее и ярче. Она в дверях стеклянного поста раздает ночные таблетки медленно текущей перед ней очереди и прикладывает все силы, чтобы не перепутать, кого и чем сегодня травить. Она даже не смотрит, куда наливает воду. До такой степени отвлек ее внимание приближающийся рыжий детина с ужасным шрамом, в отвратительной кепке. Она следит, как он идет от карточного стола из темной комнаты и покручивает мозолистой рукой рыжий клок волос на груди, которые выбиваются из-под узкого воротничка выданной на ферме рубашки. Я вижу, как она отступает назад, когда он подходит к двери поста, и понимаю, что Большая Сестра, вероятно, предупредила ее. (Ах да, мисс Пилбоу, прежде чем я сдам вам отделение… этот новенький, вон там, со шрамом на лице и вызывающими рыжими баками… у меня есть все основания полагать, что он сексуальный

маньяк).

Макмерфи видит, какие круглые у нее от страха глаза, поэтому просовывает голову в дверь поста, где она выдает таблетки, и, чтобы познакомиться, улыбается широкой, дружелюбной улыбкой. Это приводит ее в такое замешательство, что она роняет кувшин с водой на ногу. Вскрикивает, прыгает на одной ноге, рука ее дергается — и капсула, которую она только что собиралась мне дать, вылетает из чашечки и падает ей прямо за воротник формы, где родимое пятно, как винная река, устремляется в долину.

— Разрешите вам помочь, мэм.

И мозолистая ручища, в шрамах и с татуировкой, цвета сырого мяса, всовывается в дверь поста.

— Назад! Со мной в отделении два санитара!

Глаза ее прыгают в поисках черных, но те далеко, привязывают хроников к кроватям и вряд ли быстро придут на помощь. Макмерфи скалится, поворачивает руку ладонью вверх, показывает, что у него нет ножа и лишь свет отражается от его гладкой, восковой, мозолистой ладони.

— Мисс, я хочу только…

— Назад! Больным запрещается входить в… Ой! Назад, я католичка! — И дергает за золотую

цепочку на шее, так что крестик вылетает наружу вместе с потерявшейся капсулой. Макмерфи хватает воздух рукой прямо перед ее лицом. Она вскрикивает, сует крестик в рот и зажмуривает глаза, словно ее сейчас собираются пристукнуть, и стоит так, белая как бумага, за исключением этого пятна, которое стало совсем темным, точно всосало в себя всю кровь из тела.

Наконец она открывает глаза и прямо перед собой видит все ту же мозолистую рукую, а в ней — мою маленькую красную капсулу.

— …хотел только поднять эту лейку, что вы обронили.

Она громко выдыхает воздух. Берет у него графин.

— Спасибо. Спокойной ночи, спокойной ночи. — И закрывает дверь перед носом стоящего в очереди больного. Никаких больше таблеток на сегодня.

В спальне Макмерфи бросает капсулу мне на кровать:

— Хочешь свой леденец, Вождь?

Я смотрю на капсулу и отрицательно качаю головой, тогда он щелчком сбрасывает ее с кровати, как назойливое насекомое. Она скачет по полу и верещит, словно сверчок. Макмерфи на-

чинает раздеваться, и вот из-под рабочих брюк появляются черные как уголь атласные трусы с красноглазыми белыми китами. Он видит, какое впечатление на меня произвели его трусы, и скалится.

— От студентки, Вождь, из орегонского университета, с литературного отделения. — Он оттягивает большим пальцем резинку и хлопает ею по животу. — Подарила, потому что говорит, я символ.

Его руки, шея и лицо покрыты загаром и жесткими курчавыми оранжевыми волосами. На обоих плечищах татуировки. С одной стороны надпись: «Боевые ошейники»[6], черт с красным глазом и красными рожками и винтовка М-1, с другой — колода для игры в покер, разложенная веером, — тузы и восьмерки. Он кладет свернутую одежду на тумбочку рядом с кроватью и начинает кулаком взбивать подушку. Ему дали кровать рядом с моей.

Залезает в постель и резко говорит:

— Быстрее, Вождь, а то черномазый сейчас светильник вырубит.

Я оглядываюсь и вижу: идет черный по имени

---

[6] Примечания: 6

«Боевые ошейники» или *«кожаные шеи»* — среди моряков прозвище морских пехотинцев (в форму которых входил кожаный галстук).

Дживер, сбрасываю туфли и ложусь в постель как раз, когда он подходит, чтобы завязать на мне простыню. Покончив со мной, он окидывает все последним взглядом, хихикает и щелчком гасит свет.

В спальне становится темно, только белым пятном светится из коридора дежурный пост. Макмерфи рядом со мной дышит глубоко и ровно, одеяло на нем мерно поднимается и опускается. Дыхание становится все медленнее, и кажется, что он уже спит. Вдруг с его кровати раздается тихий горловой звук, точно лошадиный всхрап. Он и не думал спать и над чем-то про себя смеется. Наконец успокаивается и выдает:

— Ну и подпрыгнул ты, Вождь, когда я сказал, что идет этот черный. А говорили, глухой.

* * *

Впервые за много лет ложусь спать без этой маленькой красной капсулы (если прячусь, чтоб ее мне не давали, ночная сестра с родинкой посылает за мной черного по имени Дживер и, пока он удерживает меня своим фонариком, наполняет шприц), поэтому я притворяюсь, что сплю, когда черный проходит мимо.

Проглотишь такую красную таблетку и не

просто засыпаешь — сон парализует тебя на всю ночь и ты не можешь проснуться, что бы вокруг ни происходило. Вот почему мне дают таблетку — на старом месте я обычно просыпался по ночам и видел, что они вытворяли со спящими больными.

Лежу не шевелясь, дышу медленно, жду, не случится ли чего-нибудь. Очень темно, лишь слышно, как они скользят там в своих резиновых тапочках, дважды заглядывают в спальню, светят по лицам фонариком. Мои глаза закрыты, но я не сплю. Сверху, из буйного, раздается вопль: уу-уу-ууу — переделали кого-то на прием кодовых сигналов.

— Неплохо бы пивка, впереди длинная ночка, — слышу я, как один черный говорит другому. Резиновые тапочки пищат в направлении дежурного поста, где стоит холодильник. — Хочешь пива, конфетка с родинкой? В честь предстоящей долгой ночи?

Человек наверху умолкает. Низкий вой установок в стенах становится глуше и вскоре совсем не слышен. Вокруг ни звука — только отдаленный мягкий рокот где-то глубоко, во чреве здания. Этот звук я слышу впервые — что-то вроде того, когда стоишь поздней ночью на плотине боль-

шой гидроэлектростанции. Глухая, безжалостная, звериная сила.

Толстый черный стоит в коридоре, глазами водит по сторонам, хихикает, я его вижу отсюда. Идет к двери спальни, медленно вытирает влажные серые ладони о подмышки. На стене отражается его огромная, как у слона, тень. Вот она все меньше, когда он подходит к двери спальни и заглядывает внутрь. Снова хихикает, открывает щит с предохранителями, лезет туда рукой.

— Так-так, детки, спите крепко.

Поворачивает маховичок, пол начинает скользить вниз и уходит из-под двери, опускаясь в глубь здания, как платформа в зерновом элеваторе!

Ничто, кроме пола спальни, не движется, и мы скользим мимо стен и окон отделения с дьявольской скоростью: кровати, тумбочки — все скользит. Механизмы, — наверное, это устройства с гусеничными цепями вдоль всех углов шахты — смазаны и бесшумны, лишь слышно, как дышат больные. Мы опускаемся все ниже, и грохот под нами становится все громче. Свет из двери спальни в пятистах ярдах над этой дырой превращается в пятнышко, осыпая плоские стены шахты тусклой пылью. Вот он тускнеет,

тускнеет, вдруг оттуда вырывается крик, который эхо разносит по стенам шахты вниз: «Назад!», и свет совсем исчезает.

Легкий толчок — пол касается какого-то твердого основания глубоко в земле. Темно как в гробу. Дышать все труднее, и мне кажется, что простыня начинает меня душить. Я пытаюсь ее развязать, но пол вновь дергается и плавно скользит вперед. Он на каких-то роликах, которых я не чувствую. Я даже не слышу дыхания больных и вдруг понимаю, что это из-за грохота, который постепенно стал настолько сильным, что, кроме него, ничего больше не слышно. Должно быть, мы в самой его середине. Начинаю рвать ногтями чертову простыню и уже почти высвободился, как вдруг вся стена уходит вверх, открывая взору огромный зал с бесконечными рядами машин; зал кишит потными, голыми до пояса людьми, которые бегают вверх и вниз по мосткам, в свете пламени от сотни доменных печей видны их пустые сонные лица.

То, что я увидел, выглядит так же, как я и предполагал по звуку: как внутренность огромной плотины. Громадные медные трубы уходят ввысь, исчезая в темноте. Провода тянутся к невидимым трансформаторам. Красные и угольно-черные

пятна от смазки и золы на всем: на муфтах, двигателях, генераторах.

Рабочие движутся одинаковым плавным и легким полубегом-полуходьбой. Никто не спешит. Вот он задерживается на секунду, поворачивает лимб, нажимает кнопку, щелкает переключателем, искра при контакте, как молния, освещает половину лица, и он бежит дальше, вверх по стальным ступенькам, затем по мосткам из рифленой стали. Движения их четкие и ровные. Вот двое совсем рядом друг с другом, шлепнулись мокрыми боками, будто лосось ударил хвостом по воде, и снова остановка. Каждый высекает молнию другим выключателем и опять бежит дальше. Они мелькают во всех направлениях, насколько хватает глаз, эти мгновенные фотографии рабочих с сонными кукольными лицами.

Вдруг один из рабочих на ходу закрывает глаза и сваливается как подкошенный. Два его товарища, бегущих рядом, подхватывают его и тащат боком прямо в печь. Она выплевывает огненный шар, и я слышу, как лопается миллион ламп, будто шагаешь по спелым стручкам в поле. Звук этот смешивается с жужжанием и лязгом других машин.

Во всем этом есть свой ритм, словно грохочет

чей-то гигантский пульс.

Пол спальни скользит вверх по шахте и попадает в машинный зал. Я вижу над нами что-то вроде транспортного устройства, какие обычно встречаются на мясокомбинатах: ролики на рельсах, чтобы перемещать туши из холодильника в разделочный цех без особого труда.

Двое в широких брюках, белых рубашках с засученными рукавами и с тонкими черными галстуками стоят на мостках, наклонившись над нашими кроватями и, жестикулируя, разговаривают друг с другом, сигареты в длинных мундштуках вычерчивают огненно-красные линии. Губы их шевелятся, но слов нельзя разобрать из-за размеренного грохота вокруг. Один щелкает пальцами, и рабочий, который в этот момент оказывается ближе других, резко разворачивается и бросается к нему. Он мундштуком показывает на одну из кроватей, рабочий срывается по направлению к стальной лестнице, рысью скачет вниз, на наш уровень, и исчезает между огромными, как картофельные погреба, трансформаторами.

Вскоре рабочий снова появляется — он тянет крюк по подвесному рельсу, крюк раскачивается, и рабочему приходится двигаться гигантскими шагами. Вот он проходит рядом с моей кроватью,

ревущая где-то печь неожиданно освещает его лицо, красивое, жестокое и восковое, не лицо, а маска без эмоций. Мне приходилось видеть миллион таких лиц.

Идет к кровати, одной рукой хватает старого овоща Бластика за пятку, поднимает его, будто Бластик весит не более пары фунтов, другой рукой цепляет крюком за ахиллово сухожилие, и старик повисает вверх ногами, старенькое лицо раздулось, в глазах немой ужас, он машет обеими руками и свободной ногой, пока верхняя часть пижамы не сползает ему на голову. Рабочий тянет за куртку пижамы, мнет, скручивает поудобней, как мешковину, затем откатывает тележку обратно к мосткам и смотрит вверх, на двоих в белых рубашках. Один вынимает скальпель из ножен на поясе. К нему приварена цепь. Скальпель опускают рабочему, а другой конец цепи прикручивают к перилам мостков, чтобы рабочий не смог убежать с оружием.

Рабочий берет скальпель, четкий взмах — и старик прекращает дергаться. Сейчас меня вырвет, но кровь из разреза на груди Бластика не течет и внутренности не вываливаются, как я боялся, — лишь хлынула ржавчина с пеплом, да изредка кусочек стекла или обрывок провода. Рабочий

стоит по колено в чем-то, похожем на шлак.

Где-то отворилась печь и кого-то слизнула.

Хочу вскочить, бежать куда-нибудь, разбудить Макмерфи, Хардинга и других, но это, наверное, бессмысленно. Вдруг я растрясу кого-нибудь, а он скажет: ну ты, сумасшедший придурок, чего всполошился? А потом еще, пожалуй, поможет рабочему и меня подцепить на крюк, приговаривая: страсть как интересно, что за потроха у индейцев!

Слышу резкое холодное свистящее дыхание туманной машины, вижу, как выползают первые клочья из-под кровати Макмерфи. Надеюсь, что он сообразит спрятаться в тумане.

Вдруг раздается чья-то дурацкая болтовня — явно кто-то знакомый; поворачиваюсь, чтобы получше рассмотреть, — это лысый из связей с общественностью с настолько раздутым лицом, что пациенты всегда спорят о причине этого. «Я бы сказал, что да,» — говорит один. «А по-моему, нет; ты когда-нибудь видел, чтобы мужик это носил?» — «Согласен, но ты когда-нибудь видел таких, как он?» Первый пациент пожимает плечами и кивает: «Интересная мысль!»

Сейчас он почти голый, если не считать длинной нижней рубашки с замысловатыми красны-

ми монограммами спереди и сзади. И теперь я уже точно вижу (рубашка чуть задрана на спине, когда он, бросив на меня взгляд, проходит мимо), *что* он в самом деле носит; зашнурован он так туго, что каждую секунду может лопнуть.

С корсета свешивается с полдюжины сморщенных штучек, подвешенных за волосы, как скальпы.

У него фляжка, из которой он потягивает, когда в горле першит, и носовой платок, смоченный в камфаре, чтобы не так сильно воняло. За ним спешит выводок учительниц, студенток и кого-то еще. Все в синих передниках, в волосах бигуди. Они слушают краткую лекцию, которую он им читает в ходе экскурсии.

Вспомнил что-то смешное, прервал лекцию, прикладывается к фляжке, чтобы подавить смех. Во время этой паузы какая-то слушательница рассеянно осматривается и вдруг замечает хроника со вспоротым брюхом, подвешенного за пятку. Она ойкает и шарахается. Тип из связей с общественностью оборачивается, видит труп и устремляется к нему, чтобы отхватить безжизненно повисшую руку.

Студентка в трансе подается вперед и смотрит на него с опаской.

— Видите? Видите? — визжит он, закатывает глаза и брызжет содержимым из фляжки — так его разобрало, что я боюсь, как бы он не лопнул от смеха.

Отсмеявшись, он идет дальше вдоль рядов машин и снова продолжает лекцию. Неожиданно останавливается и хлопает себя по лбу:

— Ой, какой я забывчивый! — Бегом возвращается к висящему хронику, отрывает еще один трофей и привязывает к своему корсету.

Направо и налево творятся другие не менее ужасные вещи — сумасшедшие, жуткие вещи, слишком дикие и невероятные, чтобы за них переживать, и слишком похожие на правду, чтобы смеяться. Но вот туман сгущается, и я уже могу не смотреть. Кто-то тянет меня за рукав. Знаю, что последует дальше: кто-то вытащит меня из тумана, мы окажемся в отделении и никаких следов того, что происходило ночью, а если я буду настолько глуп, что начну кому-нибудь рассказывать об этом, они скажут: ненормальный, это просто кошмарный сон, такие дикие вещи, как большой машинный зал во чреве плотины, где рабочие-роботы кромсают людей, в жизни невозможны.

Но если они невозможны, как я же их видел?

Тянет меня за руку из тумана мистер Теркл, трясет меня и улыбается. Говорит:

— Вам снится дурной сон, миста Бромден. — Он санитар, дежурит в долгую скучную смену с одиннадцати до семи, этот старый негр с широкой сонной улыбкой на конце качающейся шеи. От него запах, как будто он немного выпил. — Засыпайте снова, миста Бромден.

Иногда ночью он отвязывает на мне простыню, если она настолько тугая, что я извиваюсь. Он бы этого не делал, если бы был уверен, что об этом узнают, иначе его уволили бы, но он надеется, что дневная смена подумает, будто я сам развязался. Мне кажется, он хочет помочь, делает это из добрых побуждений, но только если уверен, что остается вне подозрений.

На этот раз он не отвязывает простыню, а идет помогать двум черным, которых я раньше не видел, и молодому доктору. Они перекладывают старика Бластика на носилки, покрывают простыней и уносят. Обращаются с ним так бережно, как никто при жизни не обращался.

* * *

Утро. Макмерфи на ногах. Первый раз со времен дяди Джулса Стенохода кто-то встал раньше

меня. Джулс был умный старый седой негр. Он вынашивал теорию, будто по ночам черные санитары наклоняют мир на одну сторону; поэтому рано утром он старался незаметно выскользнуть из постели, чтобы застукать их за этим занятием. Я, как и Джулс, встаю пораньше, чтобы проследить, какую аппаратуру они проносят тайком в отделение или монтируют в комнате для бритья, и, пока не встанет кто-то еще, минут пятнадцать в коридоре только черные и я. А в это утро я вылезаю из-под одеяла и слышу, что Макмерфи уже в уборной и поет! Поет, и можно подумать, что у него никаких забот и проблем. Чистый, сильный голос хлещет по цементу и стали.

«Твои кони притомились, дал бы ты им отдохну-уть».

Ему доставляет удовольствие акустика в туалете.

«Сел со мною, посидел бы, рассказал бы что-нибу-удь».

Делает вдох, берет на тон выше, голос становится еще сильней и уверенней, от него начинает трястись проводка в стенах.

«Мои кони не желают оставаться до утра-а-а. — В этом месте заливается трелью и падает вниз, заканчивая куплет: — Прощай, милая, навеки. В

путь-дорогу мне по-ра-а-а».

Поет! Все поражены как громом. Многие годы они не слышали ничего подобного. Почти все острые в спальне приподнялись на локтях, моргают и слушают. Смотрят друг на друга, поднимают брови от удивления. Устроить такой шум! А ведь он тоже человек, то есть обязан принимать пищу, хотеть пить, нуждаться в отдыхе, — одним словом, испытывать те же трудности и быть таким же уязвимым для Комбината, как и все остальные, разве нет?

Но новенький не такой, и острые видят это. Он не похож ни на кого: ни на тех, кто находился здесь в течение последних десяти лет, ни на тех, с кем они встречались на воле. Может быть, он тоже уязвим? Может быть. Но Комбинату с ним не сладить.

«Кнут в руке, — продолжает он петь, — фургоны полны…»

Как же ему удалось ускользнуть от удавки? Неужели Комбинат не успел добраться до него со своими приборами, как до старика Пита. А может, потому что он рос диким не на одном месте, мотался по всей стране, еще пацаном жил в одном городе не более нескольких месяцев, как раз поэтому школа не смогла его приручить? А потом

он валил лес, играл в азартные игры, работал на ярмарочных аттракционах, путешествовал быстро и налегке, постоянно двигался, и у Комбината просто не было возможности вживить ему что-нибудь. Может, этим все и объясняется? Он все время ускользал от Комбината, как ускользал в первый день от черного с термометром, потому что мишень поразить труднее, если она движется.

Нет жены, которая требует новый линолеум. Нет престарелых родственников, которые едят тебя слезящимися глазами. Не о ком заботиться. Свободы столько, что можно быть хорошим мошенником. Вероятно, поэтому черные и не бросаются в уборную, чтобы прекратить его пение. Вероятно, понимают, что он неуправляем, еще не забыли тот случай со стариком Питом и знают, что может сделать неуправляемый человек. Но Макмерфи не старик Пит, и уж если придется брать его силой, то всем троим и чтобы поблизости стояла Большая Сестра со шприцем наготове. Острые утвердительно кивают друг другу: именно поэтому, так они думают, черные не прекратили его пения, хотя любому из нас уже давно заткнули бы глотку.

Выхожу из спальни в коридор, когда Макмерфи

выходит из уборной. На нем кепка и больше ничего, кроме полотенца на бедрах. В другой руке зубная щетка. Стоит в коридоре, оглядывается, переступает на цыпочках, спасаясь от студеного холода кафеля. Останавливает взгляд на черном карлике, подходит к нему, шлепает по плечу, как будто они всю жизнь друзья:

— Послушай, приятель, как бы это сообразить зубную пасту хлебало почистить?

Голова карлика поворачивается и утыкается носом в костяшки рук. Хмурится на них, потом на всякий случай проверяет, где находятся остальные двое черных, и сообщает Макемерфи, что шкаф открывают в шесть сорок пять.

— Таков порядок, — говорит он.

— Это точно? Я имею в виду, именно там зубная паста? В шкафу?

— Точно. В закрытом шкафу.

Черный пытается продолжить протирать плинтус, но рука Макмерфи по-прежнему держит его за плечо, как большой красный зажим.

— Закрыто в шкафу, да? Так-та-а-к, а почему запирают зубную пасту? По-моему, не потому, что она опасна, а? Человека ею не отравишь, так? И по черепку тюбиком не дашь, а? Так по какой причине, ты думаешь, под замок прячется такая

безобидная вещь, как маленький тюбик зубной пасты?

— Такой порядок в отделении, мистер Макмерфи, вот в чем причина. — Увидев, что этот последний довод не произвел должного впечатления на Макмерфи, он хмурится на руку, лежащую на его плече, и добавляет: — Что будет, если каждый начнет чистить зубы, когда ему вздумается?

Макмерфи отпускает плечо, теребит свои красные волосы у шеи и обдумывает услышанное.

— У-гу, у-гу, мне кажется, я понимаю, к чему ты клонишь: порядок в отделении — это для тех, кто не может чистить зубы после каждой еды?

— Боже мой, неужели не понятно?

— Да, теперь понятно. Ты говоришь, народ стал бы чистить зубы когда попало?

— Точно. Вот почему мы…

— Боже, только представьте себе! Зубы будут чистить в шесть тридцать, шесть двадцать, а может, кто знает, даже в шесть часов. Да-а, я тебя понимаю.

Он подмигивает мне через плечо черного, а я стою у стены.

— Мне нужно домыть этот плинтус, мистер Макмерфи.

— О! Я не хотел тебя отрывать от работы. — Он отступает, а черный наклоняется, чтобы продолжить работу. Потом подходит и заглядывает в банку с раствором. — Эй, смотри-ка! Что это у нас там?

Черный внимательно смотрит вниз.

— Куда смотреть?

— В банку, Сэм. Что это у тебя в банке?

— Это… мыльный порошок.

— Что ж, обычно я пользуюсь пастой… — Макмерфи опускает зубную щетку в порошок, вертит ею, достает и стучит по краю банки, — но и это для меня вполне сойдет. Спасибо. А с порядком в отделении мы еще разберемся.

И пошел снова в уборную, и я уже слышу его пение, искаженное движением зубной щетки, которая ходит как поршень.

Черный стоит и смотрит ему вслед, в серой руке его безжизненно повисла тряпка. Через минуту он моргает, оглядывается, видит, что я наблюдаю за ним, подходит, тянет за пижамную завязку по коридору и тычет меня в то место на полу, которое я только вчера мыл.

— Здесь. Вот здесь, черт тебя побери! Я хочу, чтоб ты здесь работал, а не пялился, как бестолковая корова! Здесь! Здесь!

Я наклоняюсь и начинаю протирать пол спиной к нему, чтобы не заметил, как я улыбаюсь. Я рад, что видел, как Макмерфи сумел завести черного, что немногие могут. Отец мой так умел: стоит, расставив ноги, лицо невозмутимое, смотрит в небо и щурится, это когда в первый раз правительственные чиновники приезжали, чтобы выкупить договор.

— Вон канадские гуси гогочут, — говорит отец и щурится вверх.

Люди из правительства смотрят, шуршат бумагами:

— О чем вы?.. В июле? В это время нет… гусей. Хм, где гуси?

Они разговаривают, как туристы с Востока, которые думают, что с индейцами надо говорить таким языком, иначе не поймут.

Отец будто и не слышит, о чем они. И только смотрит в небо:

— Гуси там, белый человек. Вы знаете, какие гуси? И в этом году. И в прошлом году. И в позапрошлом, и в позапозапрошлом.

Чиновники переглянулись, прокашлялись.

— Да, вождь Бромден, может быть, но давайте забудем гусей. Обратите внимание на контракт. То, что мы предлагаем, выгодно вам и вашему

народу. Это изменит жизнь краснокожего.

Отец не слушает.

— И в позапозапозапрошлом году гуси, и в позапозапозапозапрошлом…

Пока до правительственных чиновников дошло, что над ними издеваются, весь их совет — сидят на пороге нашей хижины, суют трубки в карман своих красно-черных шерстяных курток, потом вынимают, улыбаются, глядя друг на друга и на отца, — весь совет чуть не лопнул от смеха. Дядя Б. и П. Волк катался по земле, задыхаясь от смеха, и говорил: «Знаете их, белый человек?»

Но потом они здорово разозлились. Ни слова не говоря, развернулись и пошли к дороге с красными шеями, а мы им вслед смеялись. Я иногда забываю, что может делать смех.

Ключ Большой сестры входит в замок; не успела она появиться в дверях — черный уже около нее, переминается с ноги на ногу, словно ребенок, захотевший пописать. Я рядом и слышу: несколько раз упоминается имя Макмерфи, наверняка рассказывает, как Макмерфи чистил зубы, при этом, конечно, забывает сказать о старом овоще, который умер ночью. Руками машет, объясняя, что уже успел натворить этот рыжий черт с самого утра: переворачивает все вверх дном, нарушает

установлений в отделении порядок — не могла бы она как-нибудь повлиять?

Сестра пристально смотрит на черного, пока тот не перестает ерзать, потом — в глубь коридора, где из двери уборной громче прежнего гремит песня Макмерфи.

«Не пришелся, знать, по нраву я папаше твоему-у.

Мол, жених я недостойный, у нужды давно в плену-у».

Сначала лицо ее принимает озадаченное выражение. Как и у всех нас. Она так давно не слышала пения, что не сразу соображает, что это за звуки.

«Но судьбою я доволен, хоть в кармане и дыра-а,

Унижаться я не стану, ухожу прочь со двора-а!»

С минуту Большая Сестра слушает, наконец соображает, что это не сон, и тогда на наших глазах она начинает увеличиваться в размерах. Ноздри ее раздуваются, сама она с каждым вдохом становится все больше. Такой огромной и злой из-за пациента я не видел ее со времен Тейбера. Разрабатывает шарниры локтевых суставов и

пальцев. Я слышу их скрип. Начинает двигаться, я прижимаюсь к стене, и, когда она грохочет мимо меня, это уже грузовик, который тащит за собой в облаке выхлопных газов сумку, словно полуприцеп за дизелем. Губы полураскрыты, улыбка едет впереди, как решетка радиатора. Чувствую запах горячего масла и искр от магнето, когда она проносится мимо. С каждым тяжелым шагом она раздувается все больше, пухнет, пыхтит и подминает все на своем пути! Боюсь представить, что она может сделать.

И вот когда она несется такая, до предела раздувшаяся и злобная, из уборной прямо ей навстречу выходит Макмерфи, с полотенцем на бедрах, — она останавливается как вкопанная! Начала сдуваться и уменьшилась до таких размеров, что голова ее сравнялась с тем местом, которое он прикрывает полотенцем. Макмерфи ухмыляется и глядит на нее сверху. Ее улыбка сползла с лица, провалилась в уголки губ.

— Доброе утро, мисс Вредшед! Ну, как там, на воле?

— Почему вы носитесь здесь… в полотенце?!

— Разве нельзя? — Он смотрит сверху на полотенце, которое находится вровень с ее глазами, а оно там мокрое и плотно обтянуто. — Полотенца

тоже нарушают порядок? Что ж, тогда остается…

— Прекратите! Не смейте! Возвращайтесь в спальню и оденьтесь, *немедленно*!

Она кричит, как учитель на ученика, поэтому и Макмерфи отвечает, как школьник, повесив голову и плачущим голосом:

— Я не могу, мэм. Кто-то ночью, пока я спал, спер мою одежду. Я сплю очень крепко на этих ваших матрасах.

— Кто-то спер?

— Спер, стибрил, подчистил, увел, — радостно отвечает он. — Украл то есть кто-то мои шмотки.

Сказанное веселит его, он босиком начинает приплясывать перед ней.

— Украли вашу одежду?

— Похоже, что так.

— Однако… тюремную одежду? Зачем?

Он перестает плясать и снова вешает голову.

— Я только знаю, что, когда лег спать, она была, а когда проснулся — исчезла. Как ветром сдуло. О, я понимаю, что это всего лишь тюремная одежда, грубая, полинявшая, неприглядная, мэм, она вряд ли что-нибудь значит для тех, у кого есть что-то получше. Но для голого человека…

— Дело в том, — вспомнила она, — что ее должны были забрать. Сегодня утром вам выдали

зеленую больничную одежду.

Он отрицательно качает головой и вздыхает, но глаз не поднимает.

— Нет. Боюсь, что не выдали. Ничего, кроме этой кепки на мне и…

— Уильямс, — кричит она черному, который по-прежнему стоит у двери в отделение, будто думает убежать. — Подойдите сюда на секунду.

Он ползет к ней как побитая собака.

— Уильямс, почему пациенту не выдали форму?

Черный успокоился. Весь подобрался, улыбается, поднимает свою серую руку и показывает на большого черного в другом конце коридора.

— Вон миста Вашингтон назначен ответственным за белье сегодня. А не я. Нет.

— Мистер Вашингтон! — сказала, как гвоздь вбила, и он замер с тряпкой в руках. — Подойдите на секунду!

Тряпка беззвучно скользит в ведро, он медленно и осторожно прислоняет щетку к стене. Оборачивается, смотрит на Макмерфи, на черного коротышку и на сестру. Потом по сторонам, будто она могла окликнуть кого-нибудь другого.

— Подойдите сюда.

Он засовывает руки в карманы и шаркающей

походкой идет по коридору. Он всегда ходит медленно, и я понимаю, что, если он не будет пошевеливаться, она его скует и испепелит на мелкие кусочки одним своим взглядом. Всю ненависть, ярость и раздражение, которые она намеревалась излить на Макмерфи, теперь излучает по коридору на черного, и он чувствует, как они обжигают ему кожу, — снежный буран, который еще более замедляет его продвижение. Он вынужден согнуться, голова впереди, руки волочит за собой. Иней покрывает его волосы и брови. Он сильнее наклоняется вперед, но шаги его становятся все медленнее. Ему никогда не дойти.

Тут Макмерфи начинает насвистывать «Милую Джорджию Браун», и сестра наконец-то отводит взгляд. Теперь она взбешенная и в отчаянии, как никогда, — более взбешенной я ее еще не видел. Исчезла ее кукольная улыбка, превратилась в натянутую — тоньше не бывает — раскаленную проволоку. Если бы кто-нибудь из пациентов оказался сейчас здесь, Макмерфи мог бы собирать свой выигрыш.

Наконец черный добирается до нее, на это у него ушло два часа. Она делает глубокий вдох.

— Вашингтон, почему пациенту сегодня утром

не выдали смену зеленого? Разве вы не видели, что на нем нет ничего, кроме полотенца?

— А кепка? — шепчет Макмерфи и стучит по козырьку пальцем.

— Мистер Вашингтон!

Большой черный смотрит на коротышку, тот начинает снова ерзать. Большой долго смотрит на него глазами-радиолампами, решает рассчитаться с ним позднее, потом поворачивает голову и оценивающим взглядом окидывает Макмерфи, отмечая большие крепкие плечи, кривую улыбку, шрам на носу, руку, прижимающую полотенце, а потом переводит взгляд на сестру.

— Я считал, — начинает он.

— Он считал! Вам нужно делать, а не считать! Немедленно выдайте ему форму или отправитесь в гериатрическое отделение! Месяц работы с подкладными суднами и грязными ваннами поможет вам оценить тот факт, насколько незначительный объем работ выполняют в этом отделении санитары. В любом другом отделении кто, по-вашему, драил бы этот пол весь день? Мистер Бромден? Вряд ли, и вы отлично это знаете. Мы освобождаем вас, санитаров, от большей части хозяйственных работ, чтобы вы могли смотреть за больными. В том числе следить,

чтобы они не щеголяли голыми. Вы можете себе представить, что произошло бы, если бы одна из молодых сестер пришла раньше и вдруг обнаружила, что по коридорам разгуливает больной без униформы? Вы можете себе такое представить?

Большой черный не слишком уверен, может ли, но ему понятен ход ее мыслей, и он ковыляет в бельевую за комплектом зеленого для Макмерфи — размеров на десять меньше. Шажками возвращается, вручает, сопровождая это взглядом, полным такой черной ненависти, какой мне еще не приходилось видеть. Макмерфи смущен, не знает, как быть с обмундированием, которое ему протягивает черный: в одной руке у него зубная щетка, другой он поддерживает полотенце. Наконец решается: подмигивает сестре, пожимает плечами, разворачивает полотенце, развешивает и расправляет его у нее на плечах, словно сестра — вешалка.

Я вижу, что все это время под полотенцем были трусы.

Уверен, она предпочла бы его увидеть совсем голым, чем в этих трусах. В немом бешенстве она уставилась на больших белых китов резвящихся на трусах Макмерфи. Этого она уже не может вынести. С минуту она приходит в себя, затем

поворачивается к коротышке. Голос не слушается ее, дрожит — настолько она рассвирепела.

— Уильямс… мне кажется… к моему приходу вы должны были почистить окна дежурного поста.

Коротышка, как черно-белый жук, рванул от опасности.

— А вы, Вашингтон… вы…

Вашингтон чуть ли не рысью возвращается к своему ведру.

Она ищет глазами, в кого бы еще впиться. Замечает меня, но из спальни появляются другие пациенты и пялятся на нас. Она прикрывает веки и пытается сосредоточиться. Нельзя, чтобы видели ее лицо таким: белым, искаженным яростью. Она собирает всю силу воли. И вот губы снова подобраны под белым носиком — проволока раскалилась докрасна, померцала секунду, а потом с треском застыла, как остывает расплавленный металл и неожиданно становится тусклым. Губы приоткрываются, между ними показывается язык — кусок шлака. Глаза снова открываются, они, как и губы, такие же странно скучные, холодные и безжизненные; тем не менее она окунается в свою повседневную работу, здоровается со всеми, словно никаких перемен в ней не было, надеется, что больные еще не отошли от сна и

ничего не заметят.

— Доброе утро, мистер Сефелт, как ваши зубы, лучше? Доброе утро, мистер Фредриксон, мистер Сефелт, вы хорошо сегодня спали? Ваши кровати стоят рядом, не так ли? Кстати, до меня дошли сведения, что вы вступили в какой-то сговор с лекарствами: отдаете их Брюсу, мистер Сефелт, да? Мы обсудим это позднее. Доброе утро, Билли. По дороге на работу я встретила вашу маму, она просила обязательно передать вам, что все время думает о вас и уверена: вы не будете ее расстраивать. Доброе утро, мистер Хардинг. О, какие у вас ободранные и красные пальцы! Вы опять грызли ногти?

Не дожидаясь ответа, даже если он у них был, она разворачивается к Макмерфи, который так и стоит в одних трусах. Хардинг глядит на китов и присвистывает.

— Что касается вас, мистер Макмерфи, — говорит она, улыбаясь сладким как сахар голосом, — если вы закончили демонстрировать свои мужские достоинства и безвкусное нижнее белье, то вам следует вернуться в спальню и надеть костюм.

Он отдает честь ей, пациентам, которые глазеют на его китовые трусы и сыплют шуточками по

этому поводу, и, ни слова не говоря, направляется в спальню. Она поворачивается, идет в противоположную сторону и впереди себя несет красную однообразную улыбку. Прежде чем за ней закрывается дверь в стеклянный пост, из спальни в коридор снова выплескивается его песня.

— «Привела меня к себе и обмахнула веерком», — слышу, как он шлепнул себя по голому пузу, — «„Ох, люб мошенник этот мне,“ — шепнула маме за столом».

Я подметаю спальню после того, как ушли все больные, лезу под кровать Макмерфи и вдруг слышу запах, впервые с тех пор, как попал в больницу. В этой большой, заставленной кроватями спальне, где спят сорок взрослых мужчин, всегда царили тысячи других липких запахов — пахло дезинфекцией, цинковой мазью, присыпкой для ног, мочой, кислым старческим калом, питательной смесью, глазными каплями, затхлыми трусами и носками, даже если они были сразу из прачечной, крахмальным бельем, зловонными кислыми ртами с утра, банановым машинным маслом, а иногда и паленым волосом, — но никогда раньше не пахло здесь рабочим потом, мужским запахом пыли и земли с полей.

* * *

Весь завтрак Макмерфи хохочет и тарахтит со скоростью сто миль в час. Он решил, что после такого утра Большая Сестра — легкая добыча. Не понимает, что лишь застал ее врасплох и теперь она непременно соберется с силами.

Разыгрывает из себя шута, пытается кого-нибудь рассмешить. Его беспокоит то, что они только вяло улыбаются и иногда хихикают. Подкалывает Билли Биббита, за столом напротив, заговорщицки говорит:

— Эй, Билли-бой, помнишь, как в тот раз в Сиэтле мы подцепили двух телок? Кутнули на славу!

Билли отрывается от тарелки и смотрит на него вытаращенными глазами. Открывает рот, но не может вымолвить ни слова. Макмерфи поворачивается к Хардингу:

— Мы бы никогда не смогли снять их так быстро, но они где-то слышали про Билли Биббита. Тогда еще его называли Билли Дрын. Девочки уже собирались отвалить, но вдруг одна глянула на него и говорит: «Ты тот самый Билли Дрын? Со знаменитым в четырнадцать дюймов?» А Билли опустил глазки, покраснел — вот как теперь, — и все уладилось. Помню, пришли мы с ними в

отель… и потом уже слышу ее голос с кровати Билли: «Мистер Биббит, вы меня разочаровали. Я слышала, что у вас че-че-че-черт побери!»

И заходится, хлопает себя по колену, щекочет Билли большим пальцем так, что я начинаю бояться, как бы Билли не упал в обморок: так он краснеет и улыбается.

Макмерфи говорит, что пару бы хорошеньких телочек сюда — и ты на седьмом небе от счастья! Кровать тут — мягче не бывает, а какой стол шикарный. Трудно поверить, что кому-то здесь не нравится!

— Посмотрите на меня сейчас, — обращается он к острым и поднимает стакан к свету, — в первый раз за полгода пью апельсиновый сок. Хо, отлично! Если вы спросите, каким завтраком меня угощали на этой ферме, я, конечно, смогу описать, как он *выглядел,* но названия не подберу ни за что. Три раза в день: утром, днем и вечером — одинаково горелое и черное, и в нем картошка, все вместе похоже на кровельную смолу. Знаю одно: это был не апельсиновый сок. А теперь посмотрите: бекон, тост, масло, яйца, кофе — милашка на кухне спрашивает, хочу я черный или с молоком, и благодарит — и прекрасный! большой! холодный стакан апельсинового сока.

Ха, даже если мне заплатят, я не уйду отсюда!

После каждого блюда он берет добавку, девушке, которая на кухне наливает кофе, назначает свидание после того, как его выпустят, делает комплимент поварихе-негритянке, говорит, что она готовит лучшую в мире глазунью. К кукурузным хлопьям подают бананы, он берет целую горсть и обещает черному украсть для него один: мол, больно ты выглядишь голодным, а черный косится на стеклянный ящик, в котором сидит сестра, и говорит, что санитарам нельзя есть с больными.

— Нарушается порядок в отделении?

— Точно так.

— Не везет… — Очищает бананы прямо под носом у черного, съедает их один за другим и говорит: — Если захочешь чего-нибудь из еды, Сэм, сразу говори.

Покончил с последним бананом, хлопает себя по пузу, встает, направляется к выходу. Большой черный загораживает дверь и объясняет, что пациенты должны сидеть в столовой, а выходят все вместе в семь тридцать. Макмерфи удивленно смотрит на него, точно не верит, не знает, что и думать, поворачивается, вопросительно смотрит на Хардинга. Хардинг кивает, тогда Макмерфи

пожимает плечами и возвращается на место.

— Мне, конечно, ни к чему нарушать ваш чертов порядок.

Часы в дальнем конце столовой показывают четверть восьмого — врут, что мы здесь сидим только пятнадцать минут, ведь понятно: мы здесь не меньше часа. Все закончили есть, откинулись на спинки стульев, наблюдают, когда большая стрелка передвинется на семь тридцать. Черные забирают у овощей заляпанные подносы и увозят двух стариков в колясках, чтобы обмыть из шланга. В столовой половина народу прилегла на руки, рассчитывая вздремнуть, пока не вернулись черные. Больше заняться нечем — нет ни карт, ни журналов, ни головоломок. Спи или смотри на часы.

Но Макмерфи не может сидеть сложа руки, он должен что-нибудь устроить. Погонял минуты две ложкой остатки еды на тарелке и уже готов к новым развлечениям. Цепляет большими пальцами за карманы, отклоняется вместе со стулом на задние ножки, смотрит одним глазом на настенные часы и трет нос.

— А вы знаете… эти часы напомнили мне мишени на стрельбище в форте Райли. Как раз там я получил свою первую медаль «Отличный

стрелок». Макмерфи Меткий Глаз. Кто хочет поставить против меня вшивенький доллар, что я не попаду этим кусочком масла прямо в середину циферблата или по крайней мере в циферблат?

Ставки делают трое, он берет масло, кладет на нож и стреляет. Кусочек прилипает в добрых шести дюймах слева от часов. Над ним смеются, пока он рассчитывается за проигрыш. А они все никак не успокоятся, дразнят его: Меткий Глаз или метко в глаз, но вот черный коротышка привозит овощей, вымытых шлангом, все утыкаются в свои тарелки и стихают. Черный чувствует: здесь что-то не то, но никак не врубится. И, наверное, никогда бы не догадался, если бы старый полковник Маттерсон не повел глазами вокруг. Вот он увидел прилипшее к стене масло, показывает на него пальцем и начинает читать одну из своих лекций, объясняя нам все терпеливым грохочущим голосом, как будто в его словах есть какой-то смысл:

— Мас-сло… это рррес-пу-бликанская партия…

Черный смотрит, куда указывает полковник, и видит, как оно медленно ползет вниз по стене, словно желтая улитка. Черный хлопает глазами, но ни слова не говорит, даже не повернулся посмотреть, чьих рук это дело.

Макмерфи толкает в бок сидящих с ним рядом острых, что-то шепчет, а через минуту они кивают, он кладет три доллара на стол и откидывается на спинку стула. Все поворачиваются на стульях и наблюдают, как масло медленно стекает вниз по стене, скользит, вдруг останавливается, затем снова устремляется вниз, оставляя за собой на краске блестящий след. Все молчат. Смотрят на масло, потом на часы, снова на масло. Теперь часы пошли.

Масло касается пола примерно за полминуты до семи тридцати, и Макмерфи полностью отыгрывается.

Черный очнулся, отрывает взгляд от масляной дорожки на стене и сообщает, что мы можем идти. Макмерфи прячет деньги в карман, обнимает черного за плечи и то ли ведет, то ли несет его по коридору в дневную комнату:

— Прошло уже полдня, дружище Сэм, а я только-только отыгрался. Нужно пошевеливаться, чтобы взять упущенное. Как насчет получить колоду карт, которая спрятана в том шкафчике? Вот тогда посмотрим, смогу ли я переорать ваш громкоговоритель.

Почти все утро старается наверстать — играет в очко, теперь уже на долговые расписки вместо

сигарет. Два или три раза передвигает карточный стол, чтобы не сидеть под громкоговорителем. Ясно, что музыка действует ему на нервы. Наконец идет к дежурному посту, стучит в стекло, Большая Сестра поворачивается в своем кресле, открывает дверь, и он спрашивает, как насчет того, чтобы на некоторое время выключить эту адскую машину. Теперь Большая Сестра спокойна, как никогда, — полуголый дикарь, который носился здесь и выводил ее из себя, уже исчез. Улыбка у нее твердая и уверенная. Закрыла глаза, отрицательно качает головой и очень вежливо говорит Макмерфи: «Нет».

— Неужели даже громкость убавить нельзя? Совсем не обязательно, чтобы весь штат Орегон слушал, как целый день, по три раза в час, Лоуренс Уэлк играет «Чай вдвоем»! Если бы хоть немного слышать, как люди делают ставки, можно было бы и дальше играть в покер…

— Вам уже объяснили, мистер Макмерфи, что азартные игры на деньги нарушают установленный в отделении порядок.

— О'кей, тогда убавьте так, чтобы можно было играть на спички, на пуговицы от ширинки, но только сделайте эту чертову штуку тише!

— Мистер Макмерфи. — Замолчала и ждет,

когда ее спокойный менторский тон дойдет до его сознания; она уверена, что все острые в отделении слушают их разговор. — Хотите знать, что я думаю? Вы — большой эгоист. Неужели вы не замечаете, что, кроме вас, в больнице есть и другие? Есть старые люди, которые не слышат радио, если оно работает тихо, те, кто просто не в состоянии читать или складывать головоломки или… играть в карты и выигрывать сигареты у других. Для некоторых, таких, как Маттерсон и Киттлинг, музыка, звучащая из громкоговорителя, — это все, что у них осталось. А вы хотите и это у них отнять. Мы всегда готовы выслушать предложения и просьбы, но, мне кажется, вам иногда стоит думать и о товарищах.

Он оборачивается, смотрит на хроников, чувствует, что какая-то истина в ее словах есть. Снимает кепку, запускает руку в волосы и вновь поворачивается к ней. Он так же хорошо, как и она, понимает, что все острые прислушиваются к каждому их слову.

— О'кей… Я не подумал об этом.

— Я так и решила.

Он подкручивает маленький рыжий клок, выбивающийся из зеленой куртки у шеи, а потом говорит:

— А если мы перенесем карточный стол куда-нибудь еще? В другую комнату? Например, в ту, куда убираются столы перед собранием. Весь день она пустая. Там можно играть в карты, а старики пусть слушают здесь свое радио. И все будут довольны.

Она улыбается, снова закрывает глаза и качает головой:

— Конечно, вы можете обсудить это предложением с другими представителями медперсонала, но, боюсь, мнение у всех будет совпадать с моим: у нас не хватает персонала, чтобы наблюдать за двумя дневными комнатами. И, пожалуйста, не опирайтесь на стекло, у вас жирные руки, останутся пятна. А это значит дополнительная работа другим.

Он отдергивает руку, хочет что-то сказать, но умолкает, понимая, что сказать-то как раз нечего, разве только обругать ее. Лицо и шея у него красные. Он делает глубокий вдох, собирает всю свою силу воли, как она утром, сообщает, что просит извинить его за то, что потревожил ее, и возвращается к карточному столу.

Все в палате понимают: началось.

В одиннадцать часов в дверях дневной комнаты возникает доктор, подзывает Макмерфи

и просит зайти к нему в кабинет для беседы: «Я всегда беседую на второй день со всеми, кто к нам поступил».

Макмерфи кладет карты, встает и идет навстречу доктору. Доктор интересуется, как он провел ночь, но Макмерфи бормочет что-то неразборчивое.

— Сегодня вы выглядите очень задумчивым, мистер Макмерфи.

— Да, я вообще много думаю, — отвечает Макмерфи, и они вместе уходят по коридору. Кажется, что их нет уже несколько дней. Но вот они возвращаются, на лицах улыбки, радостно беседуют о чем-то. Похоже, доктор смеялся до слез, потому что вынужден протереть очки, а Макмерфи такой же шумный, наглый и развязный, как и раньше. Весь обед он такой и в час самый первый занял место на собрании, сел в угол и следит за всеми своими голубыми глазами.

Большая Сестра входит в дневную комнату с выводком медсестер-практиканток и с корзинкой пометок. Берет вахтенный журнал, с минуту смотрит в него нахмурившись (за весь день никто ни на кого не настучал) и идет на свое место у двери. Вынимает несколько папок из корзины, просматривает их на коленях, находит папку с

делом Хардинга.

— Насколько я помню, вчера мы значительно продвинулись в обсуждении проблемы мистера Хардинга…

— Э-э… прежде чем мы займемся этим, — вступает доктор, — позвольте на минуту прерваться. Относительно нашей беседы с мистером Макмерфи в моем кабинете сегодня утром. В сущности, мы занимались воспоминаниями. Вспоминали старые добрые времена. Видите ли, мы выяснили, что мистера Макмерфи и меня кое-что связывает: мы учились в одной школе.

Медсестры переглядываются, не поймут, что случилось с доктором. Больные смотрят на Макмерфи, который улыбается из своего угла, и ждут, когда доктор продолжит. Тот кивает.

— Да, в одной школе. В ходе беседы мы случайно вспомнили о карнавалах, в которых наша школа принимала участие, — изумительные, шумные, праздничные мероприятия. Украшения, вымпелы из крепа, киоски, игры… это всегда было одним из главных событий года. Я уже говорил Макмерфи, меня избирали председателем школьного карнавала как в младших, так и в старших классах… прекрасные беззаботные годы…

В комнате стало совсем тихо. Доктор поднимает

голову, осматривается: не выглядит ли он шутом. По глазам Большой Сестры можно прочитать, что у нее нет никаких сомнений на этот счет. Но доктор без очков, ее взгляд проходит мимо.

— Итак, чтобы покончить с этим приступом сентиментальной ностальгии… в ходе нашей беседы мы с Макмерфи решили узнать, как отнеслись бы другие к идее карнавала здесь, в отделении?

Он надевает очки, снова обводит всех взглядом. От радости никто не скачет. Некоторые из нас помнят, как несколько лет назад Тейбер пытался организовать карнавал и что из этого вышло. По мере того как доктор ждет, от сестры начинает исходить по всей комнате молчание, и вот оно уже нависло над всеми, бросая вызов каждому, кто осмелится его нарушить. Макмерфи молчит, потому что карнавал — его затея. И как раз в тот момент, когда я решаю, что дурака нарушить это молчание не найдется, Чесвик, сидящий рядом с Макмерфи, вдруг хрюкает и вскакивает на ноги, потирая при этом ребра и сразу не соображая, что случилось.

— Э-э… лично я, видите ли, считаю… — он смотрит вниз на ручку кресла рядом с собой, на ней кулак Макмерфи, из которого, как шило, прямо

вверх торчит несгибающийся большой палец, — что карнавал — отличная идея. Надо хоть как-то нарушить однообразие.

— Совершенно верно, Чарли, — говорит доктор, довольный поддержкой, — и с терапевтической точки зрения он должен быть полезен.

— Конечно, — соглашается Чесвик уже несколько веселей. — Да. В карнавале полно лечебного. Бьюсь об заклад.

— См-м-можем п-повеселиться, — замечает Билли Биббит.

— Да, и это тоже, — продолжает Чесвик. — У нас получится, доктор Спайви, конечно, получится. Скэнлон покажет свой номер «Человек-бомба», а я организую в трудовой терапии метание колец.

— Я буду гадать, — говорит Мартини, щурится и глядит вверх.

— А я довольно неплохо диагностирую патологию, читая по ладони, — говорит Хардинг.

— Отлично, отлично, — повторяет Чесвик и хлопает в ладоши. Что бы он ни говорил, никогда и никто его еще не поддерживал.

— А я, — растянуто произносит Макмерфи, — сочту за честь работать на колесе удачи. Есть кое-какой опыт…

— О, масса возможностей! — восклицает док-

тор. Он уже сидит выпрямившись и все более воодушевляется. — Да у меня миллион идей!

Минут пять он говорит без умолку. Совершенно ясно, что эти множество идей он уже обсудил с Макмерфи. Он описывает игры, киоски, говорит о распродаже билетов и вдруг на полуслове смолкает — это снайперский взгляд сестры наконец настиг его и попал точно в десятку. Он смотрит на нее, мигая, и спрашивает:

— Что вы думаете по этому поводу, мисс Вредчет? По поводу карнавала? Здесь, в отделении.

— Я согласна, что это мероприятие может содержать целый ряд терапевтических возможностей, — сказала и молчит. Ждет, пока молчание задавит нас всех. Убедилась, что никто не смеет его нарушить, и продолжает: — Но я также считаю, что подобную идею прежде следует обсудить на собрании медицинского персонала, а уж потом принимать окончательное решение. Вы же это имели в виду?

— Конечно. Понимаете, я просто думал прощупать сначала несколько человек. Но, безусловно, прежде всего собрание персонала. А потом займемся нашими планами.

Всем ясно: с карнавалом покончено.

Большая Сестра решила, что пора прекращать

безобразие, — принялась громко шелестеть бумагами.

— Отлично. Итак, если других дел нет и если мистер Чесвик соизволит сесть, мы можем, я думаю, сразу приступить к обсуждению. У нас осталось, — она достает из корзинки часы, смотрит на них, — сорок восемь минут. Как я уже…

— Эй, подождите. Я вспомнил. Есть еще дело. — Макмерфи поднял руку, щелкает пальцами.

Она отвечает не сразу, долго смотрит на его руку.

— Да, мистер Макмерфи.

— Это не у меня, у доктора Спайви. Док, расскажите, что вы придумали насчет туговатых на ухо ребят и радио.

Голова у сестры дергается, едва заметно, но сердце у меня начинает биться как сумасшедшее. Она возвращает папку в корзину и поворачивается к доктору.

— Да, — говорит доктор. — Чуть не забыл. — Он откидывается на спинку стула, кладет ногу на ногу и сводит вместе кончики пальцев. Он все еще в хорошем расположении духа в связи с идеей карнавала. — Видите ли, мы с Макмерфи говорили о давней проблеме у нас в отделении: смешанный состав, старые и молодые вместе. Это

не самые идеальные условия для нашего терапевтического общества, однако администрация утверждает, что ничем помочь не может, так как гериатрический корпус перегружен. Я и сам должен признать, что ситуация действительно не совсем приятная для тех, кого она в первую очередь касается. В ходе нашей беседы тем не менее мы с Макмерфи пришли к мысли, как сделать более приемлемой обстановку для обеих возрастных групп. Макмерфи обратил внимание на то, что некоторые пожилые пациенты плохо слышат радио. Он предложил увеличить громкость динамика, чтобы хроники с дефектами слуха могли слушать его. Весьма гуманное предложение, по-моему.

Макмерфи делает скромный жест рукой, доктор наклоняет голову в его сторону и продолжает:

— Но я заметил ему, что уже неоднократно выслушивал претензии от более молодых пациентов, они жаловались, что радио работает слишком громко и мешает разговаривать и читать. Макмерфи признался, что не учел этого и это действительно заслуживает сожаления: те, кто хочет читать, не могут уединиться и оставить радио тем, кто хотел бы его слушать. Я согласился с Макмерфи, что это заслуживает сожаления,

и хотел уж было оставить эту тему, как вдруг вспомнил о бывшей ванной комнате, куда мы составляем столы на время собраний. Для каких-либо иных целей эта комната не используется, ведь необходимость в гидротерапии отпала, потому что у нас есть новые лекарства. Таким образом, интересно знать, как относится группа к тому, чтобы получить вторую дневную комнату, или, скажем так, игровую комнату?

Группа молчит. Группа знает, чей ход следующий.

Она закрывает папку с делом Хардинга, переворачивает ее, кладет на колени, скрещивает руки и оглядывает комнату — вдруг кто-то осмелится что-то сказать. Когда становится ясно, что никто до нее не заговорит, она снова поворачивает голову к доктору.

— План прекрасный, доктор Спайви, и я ценю заботу мистера Макмерфи о других пациентах, но вы ведь знаете: у нас не хватает персонала держать под контролем вторую дневную комнату.

Сестра так уверена в окончательном решении этого вопроса, что снова открыла папку. Но она не учла: доктор подготовился серьезно.

— Я подумал об этом, мисс Вредчет. Ведь в дневной комнате с громкоговорителем останутся

главным образом пациенты-хроники, прикованные к креслам и коляскам, и, согласитесь, одного санитара и одной медсестры вполне хватит, чтобы при необходимости легко подавить любой бунт или мятеж?

Она не отвечает, и, хоть явно ей неприятна его шутка о бунтах и мятежах, выражение лица ее не меняется: улыбка все та же.

— Так что два других санитара и сестры смогут наблюдать за людьми в ванной комнате, возможно, даже лучше, чем в этом большом помещении. Как вы считаете, друзья? Это реально? Лично я загорелся этой идеей, и, мне кажется, нужно попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. А если ничего не получится — что ж, ключ у нас, запереть комнату можно в любое время. Разве не так?

— Правильно! — поддерживает Чесвик и ударяет кулаком по ладони. Он все еще стоит, словно боится снова оказаться рядом с торчащим пальцем Макмерфи. — Правильно, доктор Спайви, если ничего не получится, у нас есть ключ, чтобы ее снова запереть. Бьюсь об заклад.

Доктор оглядывает комнату. Видит: все острые кивают, улыбаются и, ему кажется, так довольны им и его идеей, что краснеет, как Билли Биббит, и

вынужден пару раз протирать очки, прежде чем продолжить. Смешно глядеть, как этот маленький человек доволен самим собой.

— Очень-очень хорошо, — говорит он, глядя на кивающих острых, кивает сам себе, кладет руки на колени и продолжает: — Просто замечательно. Но давайте, если с этим решено… Кажется, я забыл, о чем это мы собирались поговорить сегодня утром?

Голова сестры опять незаметно дергается, сама она склоняется над корзиной, берет папку. Перебирает бумаги, руки у нее тоже, по-видимому, дрожат. Вынимает один лист и только собирается начать, Макмерфи уже на ногах, тянет руку, переминается с ноги на ногу, задумчиво произносит:

— Послу-у-ушайте.

Она тут же прекращает перебирать бумаги и замирает, словно его голос приморозил ее точно так, как она это делала с черным сегодняшним утром. Когда она вот так застыла, во мне снова возникло какое-то странное головокружение. Пока Макмерфи говорит, я внимательно наблюдаю за ней.

— Послу-у-ушайте, доктор, я тут сон видел, прошлой ночью, теперь вот мучаюсь, хочу узнать, что бы это значило? Понимаете, это был вроде как

я, во сне, а потом вроде как и не я, а кто-то другой, похожий на меня… нет, на моего отца, да, вроде мой отец! Точно. Это был мой отец, потому что… я помню… видел… железный болт в челюсти, какой был у отца…

— У вашего отца был железный болт в челюсти?

— Ну, сейчас-то нет, но, когда я был маленький, он у него был. Отец ходил месяцев десять с таким здоровенным металлическим болтом: вошел сюда, а торчит оттуда! Самый что ни на есть Франкенштейн. Он получил по челюсти топором, когда сцепился с одним мужиком с водоема на лесопилке… Ха! Я вам сейчас расскажу, как это случилось…

Лицо у нее по-прежнему спокойно, как будто это не лицо, а слепок с таким выражением, какое ей нужно: уверенное, терпеливое, невозмутимое. Больше никакого дерганья — лишь ужасная холодная маска и на ней застывшая улыбка из красного пластика; чистый, гладкий лоб без единой морщинки, выдающей слабину или волнение; плоские, неглубокие зеленые глаза с выражением, которое говорит: я вполне могу подождать, даже могу отступить на ярд или два, но все равно останусь терпеливой, спокойной и уве-

ренной, потому что знаю: победа будет за мной.

На минуту мне показалось, что я стал свидетелем ее поражения. Может быть и так. Но теперь понимаю: это ничего не значит. Один за другим пациенты бросают на нее взгляды украдкой, как она отреагирует на то, что Макмерфи взял инициативу в свои руки, и видят то же, что и я. Она слишком большая, чтобы ее можно было победить. Как японская статуя, занимает полкомнаты. Ее нельзя сдвинуть, и с ней никому не справиться. Сегодня она проиграла небольшое сражение, но это лишь мелкое поражение в большой войне, в которой она все время побеждала и будет побеждать. Мы не должны позволить Макмерфи поселить в нас надежду и сделать глупыми марионетками в своей игре. Она всегда будет выигрывать, как и весь Комбинат, потому что на ее стороне вся мощь Комбината. Она не слабеет от своих поражений, но становится сильнее от наших. Чтобы одержать над ней верх, мало победить ее два раза из трех или три раза из пяти, это нужно делать каждый раз. Если только потерял бдительность, проиграл один-единственный раз — она победила навсегда. В конце концов каждый из нас все равно проиграет. Ничего не поделаешь.

Только что она включила туманную машину, и та работает так быстро, что я уже не различаю ничего, кроме ее лица. А туман все плотнее и гуще, и вот я теперь настолько безнадежно мертв, насколько был счастлив минуту назад, когда она дернула головой, даже еще безнадежней, потому что теперь знаю наверняка: с ней и с ее Комбинатом не справиться. У Макмерфи получится не лучше, чем у остальных. Надежды нет, и чем больше я думаю об этом, тем быстрее нагнетается туман.

Когда он становится таким густым, что можно потеряться в нем и расслабиться, я рад, потому что я снова в безопасности.

* * *

В дневной комнате играют в «монополию». Режутся уже третий день, везде дома и отели, два стола сдвинуты вместе, чтобы поместились карточки и стопки игральных денег. Макмерфи уговорил острых, чтобы было интересней, платить по центу за каждый игральный доллар, выдаваемый из банка; коробка набита разменной монетой.

— Твоя очередь бросать, Чесвик.

— Одну минуту, пока он не бросил. Что нужно,

чтобы купить отель?

— Нужно иметь четыре дома на всех земельных участках одного цвета, Мартини. Ну, поехали, ради Бога.

— Одну минуту.

С той стороны стола посыпались деньги — красные, зеленые, желтые банкноты летают во всех направлениях.

— Ты покупаешь отель или Новый год отмечаешь, черт тебя побери?

— Чесвик, бросай же наконец.

— Змеиные глаза! Чесвичек, куда же ты попал? Случайно не ко мне на Марвин-Гарденс? А это значит, что ты мне должен заплатить — дай-ка посмотрю — триста пятьдесят долларов!

— Надо же!

— А это что за штуки? Подожди минуту. Что это за штуки по всей доске?

— Мартини, ты уже два дня видишь эти штуки по всей доске. Неудивительно, что я проигрываюсь в пух и прах. Скажи, Макмерфи, как можно сосредоточиться, когда Мартини сидит рядом и галлюцинирует по миле в минуту.

— Чесвик, ты меньше смотри на Мартини. У него как раз все нормально. Давай-ка выкладывай триста пятьдесят, а Мартини сам о себе

побеспокоится; разве мы не берем с него плату каждый раз, когда его штука оказывается на нашей собственности?

— Подождите минуту. Их та-ак много.

— Не волнуйся, Март. Ты только сообщай нам, на чью собственность они попадают. Тебе еще раз бросать, Чесвик. Ты выбросил двойню, так что давай снова. Молодец. Фу-ты! Целых шесть.

— Попадаю на… шанс: «Вы избраны председателем совета; уплатите каждому игроку…» Надо же, проклятье!

— Это чей отель на Редингской железной дороге?

— Друг мой, каждому ясно, что это не отель, а депо.

— Нет, подождите…

Макмерфи обходит свой край стола, поправляет карточки, приводит в порядок деньги, выравнивает свои отели. Из-под козырька кепки, точно визитная карточка, торчит стодолларовая банкнота — дурные деньги, как он их называет.

— Скэнлон, приятель, по-моему, твоя очередь.

— Ну-ка, дайте кости. Сейчас разнесу всю доску на кусочки. Поехали. Так-так, передвинь меня на одиннадцать, Мартини.

— Хорошо, сейчас.

— Да не эту, придурок. Это же не фишка, а мой дом.

— Они одного цвета.

— Что этот домик делает в Электрической компании?

— Это электростанция.

— Мартини, ты же не кости трясешь…

— Да пусть трясет, какая разница?

— Это же несколько домов!

— Ух ты. Мартини выбрасывает целых — дайка посчитаю, — целых девятнадцать. Хорошо идешь, Март. Ты попадаешь… А где твоя фишка, приятель?

— А? Вот она.

— Она у него во рту, Макмерфи. Замечательно. Это два шага по второму и третьему коренному зубу, четыре шага на доске, и ты приходишь на… на Балтик-авеню, Мартини. Твоя личная и единственная собственность. Везет же людям! Мартини играет уже третий день и практически каждый раз попадает на свою собственность.

— Хардинг, заткнись и бросай. Твоя очередь.

Хардинг собирает кости своими длинными пальцами и, как слепой, ощупывает их гладкую поверхность. Пальцы того же цвета, что и кости, будто он их выточил другой рукой. Он встряхи-

вает кости, они стучат у него в руке, катятся и останавливаются перед Макмерфи.

— Ого! Пять, шесть, семь. Не везет тебе, приятель. Снова попал в мои обширные владения. Ты мне должен… ага, двести долларов, пожалуй, хватит.

— Жалко.

Игра все идет и идет под стук костей и шелест игральных денег.

* * *

Бывают периоды — по три дня, года, — когда ничего не видишь, а догадываешься, где находишься, только по динамику, орущему сверху, который, словно бакен с колоколом, звонит в тумане. Когда туман более-менее рассеивается, пациенты вокруг ходят беззаботные, будто не замечают даже легкой дымки в воздухе. Мне кажется, туман каким-то образом действует на их память, а на мою — нет.

Даже Макмерфи, видимо, не понимает, что его туманят. А если и понимает, то старается не показывать вида. Он старается вести себя так, чтобы никто из медперсонала не заметил, если он чем-либо обеспокоен; знает, что лучший способ досадить человеку, который портит тебе

жизнь, это делать вид, будто он тебя совсем не беспокоит.

Макмерфи по-прежнему придерживается учтивых манер в общении с медсестрами и черными, что бы те ему ни сказали и к каким бы уловкам ни прибегали, чтобы вывести его из себя. Случается, какое-нибудь правило приводит его в бешенство, но он силой изображает из себя еще более вежливого и воспитанного человека, чем прежде, и вдруг понимает, насколько все это смешно: правила, укоризненные взгляды, которыми эти правила пытаются навязать, манера разговаривать с вами, словно вы трехлетний ребенок, и когда он видит, как все это смешно, то начинает смеяться и заводит их до предела. Он думает, что будет в безопасности до тех пор, пока может смеяться, и, действительно, выходит, что это так. Пока. Лишь однажды он потерял контроль над собой, и все видели, что он взбешен, но не из-за черных или Большой Сестры, не из-за того, что они что-то сделали, а из-за больных, из-за того, чего они не сделали.

Случилось это на одном из собраний группы. Он разозлился на больных, потому что они вели себя слишком осторожно, — куриное дерьмо, как он выразился. Он принимал у всех ставки на

финальную серию матчей, которая должна была начаться в пятницу. Он рассчитывал увидеть игры по телевизору, хотя время не совпадало с тем, когда можно было смотреть передачи. За несколько дней на собрании он задает вопрос: можно ли выполнять уборку вечером, в телевизионное время, а игры смотреть после обеда. Сестра отвечает «нет», чего он, собственно, и ожидал. Она объясняет, что распорядок дня тщательно продуман и выверен и любые перестановки приведут к неразберихе.

Это его не удивляет, так как исходит от сестры, удивляют его острые. Когда он их спрашивает, что они думают по поводу этой идеи, все как воды в рот набрали и попрятались, скрылись из виду в своих клубках тумана. Едва их видно.

— Послушайте, — обращается он к ним, но они не слушают. Он ждет, когда кто-нибудь скажет хоть слово, ответит на его вопрос. А они ведут себя так, будто ничего не слышат. — Да выслушайте, черт вас побери, — говорит он, когда никто не шелохнулся, — среди вас, по крайней мере, двенадцать человек, которые очень хотят узнать, кто выиграет эти матчи. Вам что, не любопытно посмотреть их?

— Мак, я не знаю, — наконец вступает Скэн-

лон. — Я уже привык смотреть шестичасовые новости. И если перестановки в графике действительно поломают весь распорядок, как утверждает мисс Вредчет…

— К черту распорядок. К вонючему распорядку можно вернуться на следующей неделе, когда серия закончится. Что вы думаете, ребята? Давайте проголосуем за то, чтобы смотреть телевизор после обеда, а не вечером. Кто за это?

— Я, — выкрикивает Чесвик и встает.

— Отлично. Кто еще за, поднимите руки?

Тянет руку Чесвик. Несколько человек оглядываются — найдутся ли еще дураки? Макмерфи не может поверить своим глазам.

— Что за ерунда? Я думал, вы можете решать голосованием вопросы порядка и тому подобное. Разве не так, док?

Доктор кивает, не глядя.

— Ну, хорошо. Кто хочет смотреть игры?

Чесвик еще выше тянет руку и свирепо смотрит на всех. Скэнлон мотает головой, но поднимает руку на подлокотнике кресла. И больше никто. Макмерфи словно язык проглотил.

— Если с этим покончено, — объявляет сестра, — продолжим собрание.

— Да-а, — говорит он, сползая в кресло, козырек

кепки почти касается его груди. — Да-а, наверное, продолжим ваше сучье собрание.

— Да-а, — произносит Чесвик, смотрит на всех тяжелым взглядом и садится, — продолжим чертово собрание. — Он чопорно кивает, потом опускает подбородок на грудь и хмурится. Ему доставляет удовольствие сидеть рядом с Макмерфи и чувствовать себя таким храбрым. Первый раз в его проигрышных затеях с ним рядом союзник.

После собрания Макмерфи не хочет ни с кем разговаривать — настолько взбешен и возмущен. К нему подходит Билли Биббит.

— Некоторые из нас н-н-находятся здесь уже п-п-пять лет, Рэндл. — Он крутит свернутый в трубку журнал, на руках заметны ожоги от сигарет. — Кое-кто останется з-з-здесь еще с-с-столько, после того как ты уйдешь, после того как закончится эта финальная серия. Н-н-неужели ты не п-п-понимаешь… — Он бросает журнал и отходит. — А-а, все б-б-бесполезно.

Макмерфи пристально смотрит ему вслед, озадаченно хмурится, сдвинул выгоревшие брови.

До самого вечера он спорит с пациентами, почему они не голосовали, но они не хотят обсуждать это, он вроде отступает и до самого дня начала серии об этом не заговаривает.

— Вот уже и четверг сегодня, — произносит он, грустно качая головой.

Он сидит на столе в ванной комнате, ноги поставил на стул, раскручивает кепку на пальце. Острые делают влажную уборку в комнате и стараются не смотреть на него. Никто больше не хочет играть с ним в покер или очко: после того как они отказались голосовать, он озверел и разделал их в карты так, что они погрязли в долгах и боятся оказаться еще глубже. Не играют и на сигареты, потому что сестра заставила их хранить сигареты на столе в дежурном посту и выделяет по пачке в день, говорит, что так полезней для здоровья, но все знают: это чтоб Макмерфи не выиграл все в карты. Без покера и очка в ванной комнате тихо, только из дневной едва доносятся звуки громкоговорителя. Так тихо, что слышно, как наверху, в буйном, кто-то лезет на стену, время от времени подавая сигнал «у-у-у, у-у, у-у-у», равнодушно, от скуки, это как младенец кричит, чтобы накричаться до одури и уснуть.

— Четверг, — повторяет Макмерфи.

— У-у-у-у, — вопит парень наверху.

— Это Ролер, — говорит Скэнлон, поглядывая на потолок. Он не хочет замечать Макмерфи. — Ролер Горлопан, прошел через наше отделение

несколько лет назад. Никак не хотел успокоиться, как ему ни говорила мисс Вредчет, помнишь, Билли? Все время «у-у, у-у-у», я уж думал, чокнусь. Со всей этой кучей припыленных остается одно — бросить пару гранат в спальню. От них пользы никакой…

— А завтра пятница, — говорит Макмерфи. Он не дает Скэнлону перевести разговор на другую тему.

— Да-а, — повторяет Чесвик, обводя комнату хмурым взглядом, — завтра пятница.

Хардинг переворачивает страницу в журнале.

— А значит, почти неделю наш друг Макмерфи находится с нами, безуспешно пытаясь свергнуть правительство. Это ты имеешь в виду, Чесвичек? Боже, подумать только, в какую пропасть апатии мы скатились… позор, жалкий позор.

— Черт с ним, с правительством, — говорит Макмерфи. — Чесвик имеет в виду, что первый матч серии будет по телевизору завтра, так что нам делать? Подтирать пол в этих яслях?

— Да, — вставляет Чесвик. — Терапевтические ясли мамаши Вредчет.

Прижавшись к стене ванной комнаты, я чувствую себя шпионом: ручка швабры в моих руках не из дерева, а из металла (металл — хороший

проводник) и полая внутри: в ней достаточно места, чтобы спрятать микрофон. Если Большая Сестра слышит все это, она доберется до Чесвика. Достаю из кармана затвердевший шарик жвачки, очищаю от сора и держу во рту, пока не размягчится.

— Давайте посмотрим еще раз, — говорит Макмерфи. — Кто из вас снова проголосует за меня, если я опять подниму вопрос о телепередачах?

Утвердительно кивает примерно половина острых, но вряд ли все будут голосовать на самом деле. Он сдвигает кепку на затылок и упирается подбородком в ладони.

— Послушайте, я не могу понять. Хардинг, что с тобой? Чего ты расплакался? Боишься, если поднимешь руку, старая мерзавка тебе ее отрежет?

Хардинг приподнимает тонкую бровь.

— Может быть. Может, боюсь, что отрежет, если подниму.

— А ты, Билли? Ты чего боишься?

— Нет. Вряд ли она что-нибудь с-с-сделает, — он пожимает плечами, вздыхает, взбирается на большой пульт, который управляет струйными насадками душа, и как обезьяна устраивается там, — но я думаю, что из голосования н-н-ничего хорошего н-н-не выйдет. В к-к-конечном итоге.

Это просто б-б-бесполезно, Мак.

— Ничего хорошего? Ха! Да вам руку поупражнять — и то хорошо.

— Рискованно все-таки, друг мой. У нее всегда есть возможность испортить нам жизнь. Надо ли рисковать из-за бейсбольного матча? — сомневается Хардинг.

— Что? Боже, за все эти годы я не пропустил ни одной финальной серии. Даже когда сидел в одной тюряге в сентябре, нам разрешили принести телевизор и мы смотрели всю серию; попробовали бы они этого не сделать — нарвались бы на бунт. Остается только вышибить эту чертову дверь и пойти в город, в какой-нибудь бар, смотреть матчи вдвоем с моим приятелем Чесвиком.

— Вот это уже предложение, заслуживающее одобрения! — восклицает Хардинг и отбрасывает журнал. — Почему бы его не поставить на голосование завтра? «Мисс Вредчет, есть идея отвезти отделение en masse[7] в „Час досуга“ на пиво и просмотр телепередач».

— Я бы поддержал, — говорит Чесвик. — Чертовски правильно.

— К дьяволу эти массовые штучки, — злится

---

[7] Примечания: 7
целиком *(франц.).*

Макмерфи. — Я устал смотреть на вас, клуб старых дам. Когда мы с Чесвиком вырвемся отсюда, ей-Богу, заколочу гвоздями эту дверь за собой. А вам, ребята, лучше остаться, ваша мамочка не позволяет вам переходить улицу.

— Да ну? Неужели и вправду? — За спиной Макмерфи со своего стула поднялся Фредриксон. — Прямо вот так, как настоящий мужчина, размахнешься ногой и саданешь ботинком по двери? Крутой мужик.

Макмерфи даже не взглянул на Фредриксона; он уже знает, что тот время от времени может изображать из себя храбреца, но при малейшем испуге эта показная смелость мигом с него слетает.

— Так что, настоящий мужчина, — продолжает Фредриксон, — собираешься вышибить дверь и доказать нам, какой ты сильный?

— Нет, Фред, вряд ли. Не хочу портить ботинок.

— Ах вот как? Хорошо, у тебя большие планы, но как же ты вырвешься отсюда?

Макмерфи обводит комнату взглядом.

— Ну, если уж понадобится, высажу стулом сетку на окне…

— Да? Что ты говоришь? Вот так прямо и высадишь? Что ж, попробуй. Давай, настоящий

мужчина. Ставлю десять долларов, что не сможешь.

— И не пытайся, Мак, — вступает в разговор Чесвик. — Фредриксон знает, что ты только стул сломаешь и очутишься в буйном. В первый же день, как нас перевели сюда, нам показали, что это за сетки. Спецзаказ. Техник взял стул, точно такой, на котором твои ноги, и бил до тех пор, пока стул не разбился в щепки. На сетке даже вмятины не осталось.

— Ладно, — говорит Макмерфи, осматриваясь. Вижу, его все больше разбирает. Только бы Большая Сестра не слышала: отправит в буйное через час. — Потребуется что-то потяжелее. Как насчет стола?

— То же самое, как и стул. Такое же дерево, тот же вес.

— Ну ладно, черт побери, давайте тогда прикинем, чем можно ее высадить. Зря вы, субчики, думаете, что мне это не удастся, мы еще посмотрим. Та-ак… значит, что-нибудь побольше стола или стула… Вот если бы ночью, бросил бы этого жирного черного, по-моему, он довольно тяжелый.

— Мягковат, — возражает Хардинг. — Сетка порежет его на дольки, как баклажан, едва он

ударится в нее.

— А если кроватью?

— Слишком большая, даже если ты ее поднимешь. И в окно не пролезет.

— Ну, поднять-то я ее смогу. Черт, да вот же та штука, на которой Билли сидит. Этот пульт со всеми рычагами и ручками. Он твердый, а? И уж точно тяжелый.

— Конечно, — говорит Фредриксон. — То же самое, что проломить ногой стальную дверь на входе.

— Почему нельзя попробовать пульт? К полу он вроде не прибит?

— Конечно, не прибит. Вряд ли его вообще что-нибудь удерживает, за исключением нескольких проводков, но, Боже мой, вы только посмотрите на него!

Все смотрят. Пульт — из стали и бетона, размером в половину стола, весом около четырехсот фунтов.

— Ну что ж. Не больше тюков сена, которые я закидывал на грузовики.

— Боюсь, друг мой, что это чудо техники весит побольше ваших тюков сена.

— Четверть тонны, не меньше, — заявляет Фредриксон.

— Он прав, Мак, — говорит Чесвик. — Очень уж тяжелый.

— Вы, черт побери, еще будете рассказывать, что я не подниму эту пустяковину?

— Друг мой, что-то я не припомню, чтобы психопаты, обладающие многими замечательными достоинствами, могли еще и горы двигать.

— Так говорите, не подниму. Ладно…

Макмерфи спрыгивает со стола, стягивает с себя зеленую куртку, из-под нижней рубашки на мускулистых руках видна татуировка.

— Кто желает поспорить на пять долларов? Никто не убедит меня, что я чего-то не смогу сделать, пока сам не попробую. На пять долларов…

— Макмерфи, это так же глупо, как и пари насчет сестры.

— Кто хочет выиграть пять долларов? Играй или мотай…

Все сразу принимаются писать расписки. Он столько раз обыгрывал их в покер и очко, что им не терпится отыграться, а тут дело верное. Не знаю, на что он рассчитывает; да, он большой и здоровый, но, чтобы сдвинуть этот пульт, нужны трое таких, как он, и он это понимает. Ему достаточно посмотреть на пульт, чтобы убедиться: вряд ли он его сможет наклонить, не то что

поднять. Тут нужен гигант, чтобы оторвать его от земли. Тем не менее, как только острые подписали расписки, он подходит к пульту, снимает с него Билли Биббита, плюет на свои широкие мозолистые ладони, хлопает ими и поводит плечами.

— Ну-ка, посторонитесь. Я, когда сильно напрягаюсь, захватываю весь воздух, который рядом, и народ, бывает, задыхается и падает в обморок. Отойдите, а то вдруг треснет цемент и полетят железные осколки. Женщин и детей уведите в безопасное место. Не подходить…

— Ей-Богу, сможет, — бормочет Чесвик.

— Разве что языком, — замечает Фредриксон.

— Вот грыжу точно получит, — говорит Хардинг. — Ладно, Макмерфи, хватит дурачиться. Эту штуковину никто не поднимет.

— Отойдите, неженки, а то мой кислород расходуете.

Макмерфи ставит ноги и так и эдак, чтобы принять удобное положение, снова вытирает ладони о штаны, потом наклоняется и берется за рычаги. Напрягается, все начинают улюлюкать и смеяться над ним. Он отпускает руки, выпрямляется и снова переставляет ноги.

— Сдаешься? — ухмыляется Фредриксон.

— Так, примериваюсь. А вот теперь по-настоящему… — И снова хватается за рычаги.

Все вдруг перестают улюлюкать. Руки его набухают, под кожей вздуваются вены. Он закрывает глаза, зубы обнажаются в оскале. Голова откидывается назад. Сухожилия выступают — они, как скрученные веревки, идут от шеи по предплечьям к кистям. Все тело дрожит от напряжения в попытке поднять то, что он поднять не в силах; он сам знает об этом, да и все знают.

Но когда слышится — лишь на секунду — скрежет цемента под его ногами, возникает мысль, что и в самом деле сможет.

Тут воздух с шумом вырывается из его груди, он без сил отваливается спиной к стене. Кровь остается на рычагах — он сорвал кожу с ладоней. С минуту Макмерфи тяжело дышит, привалившись к стене, глаза закрыты. Слышно лишь его хриплое дыхание; никто не произносит ни слова.

Он открывает глаза, обводит нас взглядом. Смотрит на каждого. Даже на меня, потом роется в карманах, достает все долговые расписки, которые получил за последние дни. Наклоняется над столом, пробует их разобрать, но руки у него словно красные клешни, и пальцы не слушаются.

Тогда он бросает всю пачку на пол — причем

расписок там на долларов сорок-пятьдесят от каждого игрока — и поворачивается к выходу из ванной. В дверях останавливается и оглядывается.

— Но я хотя бы попытался, — говорит он. — Черт побери, я сделал все, что мог, в отличие от вас, разве не так?

И выходит, оставляя выпачканные бумажки на полу для тех, кто захочет в них разбираться.

* * *

В комнате для персонала перед больничными врачами выступает консультант с серой паутиной на желтом черепе.

Иду мимо него, мету.

— А это что такое? — Смотрит на меня, как на какую-то букашку.

Один из докторов показывает на свои уши, мол, глухонемой, и консультант продолжает.

Работаю шваброй дальше, пока не оказываюсь перед большой картиной, ее притащил тип из связей с общественностью, когда нагнали такого густого тумана, что я его не видел. На картине кто-то удит на искусственную муху где-то в горах, похоже на Очокос возле Пейнвилля — снег на вершинах за соснами, стволы высоких белых

осин по берегам, разбросанные везде зеленые поляны кислого щавеля. Рыбак забрасывает муху в заводь за скалой. Тут нужно не на муху, а на личинку с крючком номер шесть, на муху лучше пониже, на перекатах.

Между осин вниз бежит тропа. Я прохожусь со шваброй по тропе, сажусь на камень и смотрю через раму назад, на консультанта, который беседует с больничными врачами. Вижу, как он тычет пальцем в ладонь, акцентируя какую-то мысль, но мне не слышно его слов из-за шума холодного пенистого потока, стекающего с гор. Ветер дует с вершин, и пахнет снегом. Вижу кротовые кучи в траве, буйволиные пастбища. Прекрасное место, где можно вытянуть ноги и расслабиться.

Если вот так не сесть и не начать вспоминать о прошлом, то чувствуешь, что забываешь, каково жилось в прежней больнице. На стенах никаких красивых мест, как это, где бы можно было спрятаться и забыться, ни телевизора, ни плавательных бассейнов, ни курятины два раза в месяц. Только стены, стулья да смирительные рубашки, из которых, чтобы выбраться, приходилось помучиться не один час. С тех пор они многому научились. «Прошли большой путь», как говорит толстолицый из связей с общественностью. С

помощью краски, украшений и хромированной сантехники добились того, что жизнь выглядит прекрасной. «Чтобы человек захотел сбежать из такого места, как это? Да у него, должно быть, не все в порядке», — восклицает толстолицый из связей с общественностью.

В комнате для медперсонала консультант отвечает на вопросы врачей; он обнимает себя за локти и ежится, словно от холода. Он худой и тощий, одежда болтается на нем. Стоит там, обхватил себя за локти, ежится. Может, тоже чувствует холодный, снежный ветер с вершин.

* * *

Все труднее становится по вечерам отыскать свою кровать, ползу на четвереньках, ощупываю пружины снизу и нашариваю прилепленные там комочки жевательной резинки. Но на туман никто не жалуется, и я знаю почему: когда так трудно, как сейчас, можно нырнуть в него и быть в безопасности. А этого как раз не понимает Макмерфи, не понимает, что мы хотим спрятаться от опасности. И все время пытается вытащить нас из тумана на свет, где нас легко достать.

* * *

Внизу привезли партию замороженных деталей: сердца, почки, мозги и прочее. Слышу, как они гремят, скатываясь вниз по угольному желобу в морозильное помещение. Кто-то невидимый рассказывает, что один из буйного покончил с собой. Старик Ролер. Отрезал мошонку и истек кровью, сидя на унитазе в уборной; человек пять-шесть находилось там, и никто ни о чем не догадался, пока он не свалился на пол мертвый.

И почему люди такие нетерпеливые — не понимаю. Ему нужно было лишь немного подождать.

* * *

Я знаю, как работает эта их туманная машина. На наших аэродромах в Европе их обслуживал целый взвод. Когда разведка сообщала о возможной бомбежке или если генералы хотели провернуть что-либо секретное — подальше от глаз, чтобы даже местные шпионы на базе не догадались о том, что происходит, — на летное поле пускали туман.

Это несложное устройство. Обыкновенный компрессор всасывает из одной емкости воду

и специальное масло из другой, смешивает их, сжимает, и из черного ствола на другом конце установки выдувается белое облако тумана, которое за девяносто секунд может накрыть все летное поле. Первое, что я увидел, когда мы приземлились в Европе, — это туман из этих установок. На хвост нашему транспортнику сели несколько перехватчиков, и, как только мы приземлились, расчеты туманных установок запустили эти машины. Мы смотрели в свои круглые поцарапанные иллюминаторы, наблюдали, как джипы подтянули установки поближе к самолету, и заклубился, покатился по полю туман, пока не залепил иллюминаторы, словно мокрой ватой.

Из самолета выбирались, следуя на звук маленького судейского свистка, в который лейтенант постоянно дул, что казалось, будто гусь гогочет. За люком было видно в любом направлении не более чем на три фута. И сразу возникало чувство, словно ты один на летном поле. Противник тебе не страшен, но ты совсем одинок. В нескольких ярдах звук терялся, растворяясь в тумане, никого из прилетевших уже не слышно, ни одного звука не доносится, кроме гоготания маленького свистка в мягкой пушистой белизне, такой густой, что

тело ниже ремня просто исчезало в этом белом; рубашка хаки, медная пряжка — и больше ничего не видно, только белое, как будто ниже от пояса ты тоже растворяешься в тумане.

Вдруг прямо перед тобой возникает другой солдат, который, как и ты, бродит заблудившийся, — лицо крупное и четкое, какого ты никогда в жизни не видел. Ты так напряженно всматриваешься в туман, что, когда какой-нибудь предмет появляется перед глазами, каждая деталь становится настолько ясной и четкой, что вы оба вынуждены отвести взгляд. Когда перед тобой вырастает человек, ты не хочешь смотреть ему в лицо, и он не хочет, потому что это слишком больно: видеть кого-то с такой ясностью, будто смотришь ему внутрь; и все-таки нельзя отвести взгляд, иначе потеряешь его из виду. Ты должен выбрать: напрячься и смотреть на то, что выплывает из тумана, несмотря на боль, либо расслабиться и затеряться в пелене.

Когда первый раз запустили в отделении туманную машину — они купили одну такую, списанную в армии, и подключили к вентиляции на новом месте, пока нас еще не перевели, — я долго и пристально вглядывался во все, что выплывало из тумана, чтобы не потеряться, как это

делал на летном поле в Европе. Никто уже не дул в свисток, указывая дорогу, и веревку не натянули, за которую можно было бы держаться, так что зацепиться взглядом за что-то было единственным способом не потеряться. Иногда я все-таки пропадал в нем, тонул, пытаясь спрятаться, и каждый раз при этом оказывался на одном и том же месте, перед металлической дверью с рядом заклепок, похожих на глаза, и без номера, эта комната притягивала меня, как бы я ни сопротивлялся, словно ток, генерируемый демонами в этой комнате, посылался в виде луча сквозь туман и тянул меня туда, как робота. Целыми днями я бродил в тумане, боясь, что ничего не увижу, но вот эта дверь открывается, я вижу мягкую обивку внутри, чтобы не пропускать звук, вижу людей, будто зомби, стоящих в очереди среди блеска медных проводов и пульсирующих лампочек, вижу яркие железяки, стреляющие искрами. Становлюсь в очередь и жду, когда подойдет мой черед лечь на стол. Он как крест, и на нем тени тысяч убитых, очертания запястий и щикотолок под кожаными ремнями, ставшими зелеными от пота и длительного пользования, очертания шей и голов тянутся к серебряному обручу, который перехватывает лоб. Техник у пульта рядом со

столом отрывает взгляд от приборов, смотрит в конец очереди, указывает на меня рукой в резиновой перчатке: «Подождите-ка, я знаю того длинного ублюдка. Врежьте ему по затылку или вызовите подмогу. Он так ужасно дергается, что с ним не сладишь».

Так что я раньше старался особенно глубоко в туман не погружаться: боялся, потеряюсь и окажусь у двери в Шоковую мастерскую. Я пристально вглядывался во все, что возникало передо мной, цеплялся за это, как человек в пургу цепляется за первое попавшееся дерево. Но они напускали все больше и больше тумана, и, как я ни старался, все равно два-три раза в месяц оказывался перед той дверью; она открывалась, оттуда исходил кислый запах искр и озона. Несмотря на все мои усилия, мне становилось все труднее не потеряться.

Потом я сделал для себя открытие: если, когда туман поглощает тебя, не двигаться и сидеть тихо, вовсе не обязательно очутишься у той двери. Дело в том, что я сам был виноват: я находил эту дверь, потому что боялся надолго заблудиться и начинал кричать, чтобы меня могли найти. Может, поэтому и кричал, чтобы побыстрее нашли; мне казалось: лучше что угодно, только не

потеряться навсегда, — хоть Шоковая мастерская. Теперь не знаю. Потеряться не так уж плохо.

С самого утра я жду, когда они начнут туманить. Последние дни туман пускали все чаще и чаще. Думаю, это из-за Макмерфи. Они пока не вживили ему приборы управления и пытаются захватить врасплох. Понимают, что он источник неприятностей: вот уже раз шесть подзаводил Чесвика, Хардинга и некоторых еще до такой степени, что они могли и в самом деле сцепиться с одним из черных, но всякий раз, когда, казалось, сейчас другие придут на помощь, включался туман — вот как сегодня.

Только что заработал компрессор за вентиляционной решеткой, как раз когда больные начали выносить столы из дневной комнаты для терапевтического собрания, и вот уже по полу стелется туман, настолько густой, что мои брюки снизу уже намокли. Протираю двери стеклянного поста и слышу, как Большая Сестра берет телефонную трубку: сообщает доктору, что к собранию все готово и пусть он выкроит час после обеда для совещания медперсонала.

— Дело в том, — говорит она, — что давно пора обсудить вопрос о больном Рэндле Макмерфи, стоит ли вообще его держать в этом отделении. —

С минуту она слушает, затем продолжает: — Я считаю неразумным позволять ему и дальше расстраивать больных, как он это делает в последнее время.

Вот почему она нагоняет туман перед собранием. Обычно она этого не делает, но сегодня явно собирается расквитаться с Макмерфи, может, думает отправить его в буйное. Откладываю в сторону тряпку и иду к своему стулу в конец ряда, где сидят хроники; с трудом вижу, как все занимают свои места, затем входит доктор, протирая стекла очков, словно думает, что расплывается у него перед глазами из-за запотевших стекол, а не из-за тумана.

Такого густого тумана, который клубится сейчас, я еще не видел.

Слышу, как они пытаются начать собрание, говорят какую-то чушь насчет заикания Билли Биббита и с чего это у него началось. Голоса до меня доходят словно сквозь толщу воды — такой густой туман. Он и в самом деле так похож на воду, что меня смывает со стула, и какое-то время я не могу понять, где верх, а где низ. От этого плавания меня поначалу тошнит. Ничего не вижу. Он никогда не был настолько густым, чтобы можно было в нем плавать, как сейчас.

Голоса то затихают, то становятся громче, по мере того как я плыву, включаются и выключаются, но, какими бы громкими они не были, даже когда говорят рядом, я по-прежнему ничего и никого не вижу.

Узнаю голос Билли, заикающегося сильнее прежнего, потому что нервничает.

— …и-и-исключили из колледжа, п-п-потому что я н-н-не х-х-ходил на военную подготовку. Я там н-н-не мог в-в-выдержать. Каждый раз, к-к-когда старший офицер группы д-д-делал перекличку и вызывал «Биббит», я н-н-не мог отвечать. Следовало говорить: «З-з-з…». — Он давится словом, как будто у него в горле кость. Слышу, как он сглатывает и начинает снова. — Следовало говорить: «Здесь, сэр», а я никогда н-н-не мог этого произнести.

Голос его куда-то уплывает, слева врезается голос Большой Сестры.

— Вы можете вспомнить, Билли, когда у вас впервые возникли затруднения с речью? Вы помните, когда вы впервые начали заикаться?

Не знаю, смеется он или что.

— В-в-впервые заикаться? Впервые заикаться? Я н-н-начал заикаться с-с-с первого слова: м-м-мама.

Разговор затихает и уже совсем не слышен, такого раньше еще не было. Может, Билли тоже спрятался в тумане. Может, все острые окончательно и навсегда ушли в туман.

Стул и я проплываем мимо друг друга. Впервые я что-то вижу. Он выныривает из тумана справа от меня и несколько секунд плывет рядом с моим лицом, но достать до него не могу. В последнее время я привык не обращать внимания на вещи, которые появляются из тумана, сижу тихо и стараюсь не дотрагиваться до них. Но сейчас мне страшно, так страшно, как это бывало раньше. Изо всех сил пытаюсь дотянуться до стула, уцепиться за него, но нет опоры, я бью руками в воздухе и могу лишь наблюдать, как очертания стула становятся все четче, яснее, вот я уже различаю отпечаток пальца рабочего, где он коснулся еще не высохшего лака; стул несколько секунд грозно увеличивается в размерах, потом снова исчезает. Никогда еще не видел, чтобы вещи плавали. И никогда раньше не видел такого густого тумана, настолько плотного, что даже если б и захотел, то не смог бы опуститься на пол, встать на ноги и пойти. Вот почему мне так страшно; боюсь, что в этот раз уплыву куда-нибудь навсегда.

Чуть ниже себя вижу, как выплывает старый

хроник полковник Маттерсон. Он читает письмена морщин на своей длинной желтой ладони. Внимательно вглядываюсь в него, потому что мне кажется: вижу его в последний раз. Лицо у него огромное, я едва могу это выдержать. Каждый его волос и морщину рассматриваю словно в микроскоп. Настолько ясно его вижу, что кажется, вижу всю его жизнь. Лицо его — это шестьдесят лет юго-западных армейских лагерей, с бороздами от колес, окованных железом зарядных ящиков, оно сбито до костей тысячами футов двухдневных марш-бросков.

Маттерсон держит перед собой длинную ладонь, подносит к глазам, щурится, глядя в нее, другой рукой водит по словам пальцем, одеревеневшим и мореным, цвета приклада — от никотина. Голос у него низкий, медленный и терпеливый, и я вижу, как при чтении из его хрупких губ выходят темные, тяжелые слова.

— Нет… Флаг — это… А-ме-рика. Америка — это… слива. Персик. Ар-буз. Америка — это… леденец. Тыквенное семечко. Америка — это… телевидение.

Все верно. Так написано на его желтой руке. Я сам могу прочитать это.

— Теперь… Крест — это… Мек-си-ка. — Смотрит

на меня, слушаю ли я внимательно, когда убеждается в том, что я слежу за ним, улыбается мне и продолжает: — Мексика — это… грецкий орех. Орех. Же-лудь. Мексика — это… ра-ду-га. Радуга… деревянная. Мексика… деревянная.

Понимаю, к чему он клонит. Все шесть лет, что он здесь, он говорит примерно так же, но я никогда не обращал на него внимания, считал говорящей статуей, которая состоит из костей и артрита, бессвязно сыплет какими-то дурацкими определениями без капли смысла. А теперь наконец я понял, что он имеет в виду. Пытаюсь удержать его взглядом, чтобы в последний раз запомнить; вот что, оказывается, заставляет меня так вглядываться — чтобы понять. Он останавливается, снова внимательно смотрит на меня, понимаю ли я, и мне хочется крикнуть ему: «Да, понимаю: Мексика похожа на грецкий орех, она коричневая и твердая, и на ощупь тоже как грецкий орех! В этом есть смысл, старик, это твое собственное видение. Ты не такой сумасшедший, как все думают. Да… Я понимаю…»

Но туман набился мне в горло, я не могу произнести ни звука. Полковник медленно уплывает в туман, все так же склонившись над рукой.

— Теперь… Зеленая овца — это… Ка-на-да. Ка-

нада — это… ель. Пшеничное поле. Ка-лен-дарь…

По мере того как он уплывает, я все больше напрягаюсь, так, что глаза начинают болеть, и я вынужден их закрыть; когда же открываю их снова, полковника уже нет, плыву один, еще более потерянный, чем прежде.

Вот этот момент — говорю я себе — уплываю навсегда.

Появляется старик Пит, лицо как прожектор. Он в пятидесяти ярдах слева, но вижу его четко, будто тумана вовсе нет. А может, он совсем рядом, но очень маленький — я не уверен. Один раз он говорит мне, как он устал, и в этих словах я вдруг вижу всю его жизнь на железной дороге, вижу, как он глядит на часы и силится понять, сколько сейчас времени, как потеет, стараясь попасть пуговицей в нужную петлю своего железнодорожного комбинезона, как изо всех сил пытается одолеть свою работу, которую другие делают настолько легко, что могут позволить себе, сидя на подбитом картоном стуле, почитывать приключенческие рассказы или рассматривать журналы с девочками. Нельзя сказать, чтобы он надеялся с ней легко справляться, — с самого начала он знал, что силы не те, — но он вынужден был пытаться справиться, чтобы не пропасть окончательно.

Вот так он смог прожить сорок лет, и если не в самом человеческом мире, то по крайней мере где-то очень близко.

Я вижу все это, и мне больно, как бывало больно смотреть на то, что делалось в армии, на войне. Как было больно видеть то, что случилось с папой и племенем. Мне казалось, что я больше не вижу этого и нет повода переживать. Это бессмысленно. Все равно ничего не поделаешь.

— Я устал, — говорит он.

— Знаю, Пит, но разве я помогу тебе, если буду переживать вместе с тобой? Ты же знаешь, это бесполезно.

Пит уплывает вслед за полковником.

Оттуда же появляется Билли Биббит. Все они проходят чередой, чтобы попрощаться со мной. Билли где-то здесь рядом, не далее нескольких футов, но он такой маленький, что кажется в миле отсюда. Он смотрит в мою сторону, и лицо у него как у нищего, который просит гораздо больше, нежели ему могут дать. Рот открывает как кукла.

— Даже когда я делал п-п-предложение, и тут все испортил. Я сказал: «Милая, выходи за ме-ме-ме…» И она р-р-рассмеялась.

Голос сестры, но не вижу откуда:

— Ваша мать, Билли, рассказывала об этой

девушке. Оказывается, по своему положению она была ниже вас. Что же в ней вас так напугало, Билли?

— Я был в-в-влюблен в нее.

И тебе, Билли, ничем не могу помочь. Ты и сам знаешь. Никто не поможет. Ты ведь понимаешь, что, как только человек идет кому-то на выручку, он сам полностью открывается. Все время надо быть начеку. Ты это знаешь, Билли. Да и другие знают. Чем я могу тебе помочь? Заикание не устраню. Не уберу шрамы от бритвы на твоих запястьях и ожоги от сигарет на твоих руках. Мать другую не дам. А что касается сестры, которая вот так ездит на тебе, тычет носом в твои слабости, унижает, превращая в ничто и выбивая из тебя последние остатки гордости, — с этим я тоже ничего не могу поделать. В Анцио мой товарищ был привязан к дереву в пятидесяти ярдах от меня, он просил пить, и я видел, как лицо его на солнце покрывается волдырями. Они думали, я полезу спасать его, и наверняка приготовились сделать из меня сито, поджидая в домике напротив.

Так что отодвинь лицо, Билли.

Они продолжают сменять друг друга.

И у каждого на лице будто табличка вроде тех, которые вешали себе на шею испанские, пор-

тугальские и итальянские аккордеонисты на улицах Портленда, только на этих табличках написано не «Я слепой», а «Я устал» или «Я боюсь», или «Умираю от болезни печени», или «Я напичкан механизмами, и все меня обижают». Я могу прочесть все эта таблички, каким бы мелким ни был шрифт. И все они тоже могли бы прочитать таблички друг у друга, если бы захотели, но какой смысл? Лица проносятся в тумане, как конфетти.

Я забрел так далеко, как никогда. Вот на что, наверное, похожа смерть. И вот так, наверное, чувствовал бы себя овощем: ты окончательно потерялся в тумане. Не двигаешься. Тело твое кормят, пока оно может принимать пищу, а потом его сжигают. Это не очень плохо. Боли нет. Ничего особенного, лишь кратковременный озноб, который, я думаю, со временем пройдет.

Вижу, как мой командир прикалывает на доску объявлений приказы, что нам сегодня надеть. Вижу, как министерство внутренних дел США наступает на наше маленькое племя с камнедробилкой.

Вижу, как папа выскакивает из чащи, замедляет шаг и прицеливается в большого оленя который прыжками несется к кедровнику. Один за другим из ствола вырывается дымок выстре-

лов, вылетают заряды, и — мимо — лишь пыль поднимается вокруг оленя, когда он уже взбирается на край горной гряды. Ухмыляюсь, глядя на папу.

Никогда не видел, чтобы ты так мазал, папа.

Глаз не тот, мальчик. Не могу удержать мушку. Прицел дрожал, как собака, зарывающая свое дерьмо.

Папа, послушай, эта кактусовая настойка Сида раньше времени состарит тебя.

Кто пьет кактусовую настойку Сида, мальчик, тот уже состарился раньше времени. Пошли освежуем зверя, не то мухи опередят нас, и нам ничего не останется.

Это не сейчас происходит, это уже в прошлом. Понимаете? И с ним уже ничего нельзя сделать.

Смотрите-смотрите. Ба-атюшки…

Слышу шепот — черные.

Наш-то болван Швабра прикорнул.

Правильно, Вождь, та и надо. Спи от греха подальше.

Мне уже не холодно. Наверное, добрался. Теперь холод меня не достанет. Даже могу остаться здесь навсегда. Мне уже не страшно. Им меня не достать. Только слова еще доносятся, но и они затухают.

Что ж… раз Билли решил игнорировать обсуждение, может быть, у кого-то еще есть проблемы, заслуживающие внимания группы?

Кое-что и в самом деле есть, мэм…

Это Макмерфи. Он где-то далеко. Все пытается вытянуть нас из тумана. Ну почему он не оставит меня в покое?

— …помните, как мы недавно голосовали… насчет телевизионного времени? Так вот, сегодня пятница, и я подумал, что хорошо бы снова обсудить этот вопросец, так, посмотреть, вдруг еще кто набрался смелости.

— Мистер Макмерфи, цель данного собрания — терапия, групповая терапия, и я не вполне уверена, что эти мелкие обиды…

— Да хватит, оставьте, все это мы уже давно слышали. Я и еще несколько ребят решили…

— Одну минуту, мистер Макмерфи, разрешите мне задать вопрос группе: вам не кажется, что мистер Макмерфи слишком часто навязывает свои желания другим? Думаю, вам было бы легче, если бы мы перевели его в другое отделение.

Минуту все молчат. Потом кто-то произносит:

— Пусть голосует, почему не даете? Почему хотите отправить его в буйное только за то, что выносит вопрос на голосование? Что такого, если

поменяем местами расписание?

— Но как же, мистер Скэнлон, насколько я помню, вы три дня отказывались от еды, пока мы не разрешили включать телевизор в шесть часов вместо шести тридцати.

— Нужно человеку смотреть новости? Так могут разбомбить Вашингтон, а мы об этом узнаем через неделю.

— Да? И вы жертвуете вашими новостями ради того, чтобы посмотреть, как компания мужчин играет с мячиком?

— Давайте позволим ему проголосовать, мисс Вредчет.

— Хорошо. Но мне кажется, это убедительное доказательство того, как он выводит некоторых из вас из душевного равновесия. Что именно вы предлагаете, мистер Макмерфи?

— Я предлагаю переголосовать, чтобы смотреть телевизор днем.

— Вы уверены, что вас устроит еще одно голосование? У нас есть более важные дела…

— Меня устроит. Очень хочется посмотреть, кто из этих ребяток смелый, а кто нет.

— Вот такие речи, доктор Спайви, и наводят меня на мысль, что для блага пациентов мистера Макмерфи лучше перевести отсюда.

— Пусть начинает голосование, почему не даете?

— Разумеется, мистер Чесвик. Начинайте. Поднятия рук вам будет достаточно, мистер Макмерфи, или вы настаиваете на тайном голосовании?

— Я хочу видеть руки. И те, которые не поднимутся, тоже.

— Кто хочет перенести время просмотра телевизора на послеобеденное время, поднимите руки.

Первой, как мне кажется, поднимается рука Макмерфи — она перевязана в том месте, где в нее врезался пульт управления, когда он пытался его поднять. А там, дальше по склону, я вижу другие руки, поднимающиеся из тумана. Это выглядит… как будто большая красная рука Макмерфи ныряет в туман и вытягивает людей оттуда, тащит их, хлопающих глазами, на свет. Первый, второй, третий. Вытягивает из тумана всех острых по очереди, и вот они уже стоят, все двадцать, голосуют не только за просмотр телевизора, но и против Большой Сестры, против ее попытки отправить Макмерфи в буйное, против того, как она многие годы вела себя, разговаривала с ними, унижала их.

Никто не говорит ни слова. Чувствую, поражены все — и пациенты, и медперсонал. Сестра никак не сообразит, что произошло: еще вчера, до того как он пытался поднять пульт, проголосовать могли пару человек. Но вот она заговорила, взяла себя в руки, спрятала удивление.

— Я насчитала только двадцать, мистер Макмерфи.

— Двадцать? А что еще нужно? Нас здесь как раз двадцать и… — он вдруг осекся, когда понял, что она имела в виду. — Черт, подождите-ка…

— Боюсь, ваше предложение не прошло.

— Подождите хоть одну минуту!

— В отделении сорок пациентов, мистер Макмерфи. Сорок пациентов, из которых проголосовали только двадцать. Чтобы изменить порядок в отделении, необходимо большинство. Что ж, голосование закончено.

По всей комнате начинают опускаться руки. Все понимают, что проиграли, и пытаются улизнуть в туман, снова спрятаться. Макмерфи вскакивает.

— Чтоб я сдох! Вот как вы решили это дело повернуть? Считаете голоса и этих старых доходяг?

— Доктор, вы разве не объяснили ему процедуру голосования?

— Боюсь, что нет… Макмерфи, все правильно,

необходимо большинство. Она права, да, права.

— Большинство, мистер Макмерфи. Таков устав отделения.

— И, конечно, чтобы изменить чертов устав, тоже требуется большинство. Все ясно. Много в жизни дерьма я навидался, но такого еще не видел!

— К сожалению, мистер Макмерфи, так записано в нашем распорядке, и если вы позволите, то я…

— Так вот чего стоит ваша демократическая чушь… вот это да!

— Вы, кажется, расстроены, мистер Макмерфи. Доктор, не кажется ли вам, что он расстроен? Прошу вас это отметить.

— Не надо шуметь, мадам. Когда кого-нибудь дерут, у него есть право кричать. А нас чертовски хорошо отодрали.

— Может быть, доктор, в связи с таким состоянием больного нам лучше закончить собрание пораньше?..

— Стойте! Подождите минуту, я переговорю со стариками.

— Голосование окончено, мистер Макмерфи.

— Дайте мне переговорить с ними.

Он идет к нам через комнату. Приближается та-

кой большой и становится все больше и больше, лицо у него горит. Влазит в туман и пытается вытащить Ракли, потому что тот самый молодой.

— Что скажешь, приятель? Хочешь смотреть финальную серию? Бейсбол. Бейсбольные матчи. Ну, подними только руку…

— На…

— Ладно, забудем. А ты, друг, что? Как тебя? Эллис? Что скажешь, Эллис, насчет просмотра матча по телевизору? Подними только руку…

Руки Эллиса прибиты к стене и не принимаются во внимание при подсчете голосов.

— Я же сказала: голосование закончено, мистер Макмерфи. Вы лишь делаете из себя посмешище.

Он не обращает на нее внимания. Идет дальше вдоль хроников.

— Ну давайте же, давайте. Только *один* ваш голос, только *одна* рука. Докажите ей, что еще можете.

— Я устал, — говорит Пит и качает головой.

— Ночь — это… Тихий океан. — Полковник читает по ладони, его невозможно отвлечь голосованием.

— Один из вас, ребята. Пусть скажет громко! Вот где вы получите преимущество, неужели не понимаете? Мы должны это сделать… иначе

проиграем! Какие дураки! Неужели никто из вас не понимает, о чем я говорю? Ну, поднимите руку? Ты, Габриэль? Джордж? Нет? Ты, Вождь, что скажешь?

Стоит надо мной в дымке. Ну почему не оставит меня в покое?

— Вождь, на тебя последняя надежда.

Большая Сестра складывает бумаги, остальные сестры окружили ее. Наконец она встает.

— В таком случае, собрание откладывается, — говорит она. — Работников прошу собраться в комнате для медперсонала примерно через час. Итак, если больше ничего нет…

Поздно, не могу больше сдерживать ее. В тот первый день Макмерфи что-то с ней сделал, заколдовал своей рукой, поэтому она не слушается моих приказов. Но это же бессмысленно, любому дураку ясно; и я бы этого не сделал по собственной воле. Судя по тому, как сестра пристально смотрит на меня, раскрыв рот и не произнося ни слова, я понимаю, что попал в беду, но не могу остановиться. Какими-то невидимыми проводами Макмерфи подключился к ней и медленно поднимает ее, чтобы вытащить меня из тумана, на свет, где я беззащитен. Он тянет ее своими проводами…

Нет. Неправда. Я сам поднял ее.

Макмерфи издает радостный вопль, хватает и ставит меня на ноги, хлопает по спине.

— Двадцать один! С голосом Вождя стало двадцать один! Ей-Богу! И если это не большинство, я съем свою шляпу!

— У-У-УУУУ, — вопит Чесвик.

Ко мне спешат все острые.

— Собрание было закрыто, — объявляет сестра. Она еще улыбается. Вышла из дневной комнаты, идет на дежурный пост, но затылок у нее краснеет и набухает, словно вот-вот она взорвется.

Она не взрывается, по крайней мере, еще в течение часа. Улыбка у нее за стеклом какая-то кривая и странная, такой мы раньше не видели. Она просто сидит, и видно, как при каждом вдохе и выдохе у нее поднимаются и опускаются плечи.

Макмерфи смотрит на часы и объявляет, что вот-вот матч начнется. Он и несколько острых у питьевого фонтанчика драют на коленях плинтус. Я уже десятый раз за сегодняшний день подметаю чулан. Скэнлон и Хардинг ходят с полотером из конца в конец коридора, натирают пол воском, выписывая сияющие восьмерки. Макмерфи повторяет, что, по его мнению, подошло время матча, поднимается и бросает тряпку.

Остальные продолжают работать. Макмерфи проходит мимо окна, откуда она свирепо смотрит на него, и ухмыляется ей, словно уверен, что на этот раз он одержал верх. Когда, наклонив голову, он ей подмигивает, ее шея слегка дергается.

Все продолжают заниматься своим делом, но краем глаза следят, как он тянет к телевизору кресло, потом включает телевизор и садится. На экране из вихря появляется картинка, где на фоне бейсбольного поля попугай чирикает остроумные песенки. Макмерфи встает, увеличивает громкость, чтобы заглушить музыку из динамика на потолке, подтягивает к себе и ставит перед собой стул, садится в кресло, перекрещивает ноги на стуле, откидывается в кресле, потом закуривает, чешет пузо и зевает.

— Хо-хо-хо! Сейчас бы только пива и чего-нибудь горяченького.

Видно, как лицо сестры становится красным, она изумленно уставилась на него и шевелит губами. Секунду она оглядывается, видит, что все наблюдают и ждут, как она поступит, — даже черные и сестрички украдкой бросают на нее взгляд, да и больничные врачи, потянувшиеся на собрание медперсонала, тоже наблюдают. Рот ее захлопывается. Она смотрит на Макмерфи,

ждет, когда остроумная песенка закончится, потом встает, идет к стальной двери, где находятся приборы управления, щелкает переключателем, и картинка в телевизоре сворачивается, снова превращаясь в серое. На экране остается лишь светлая точка — глазок, прицелившийся прямо в сидящего Макмерфи. Но глазок этот ничуть его не беспокоит. По правде говоря, он даже не показывает вида, что на экране ничего нет. Он берет сигарету в зубы и сдвигает кепку почти на нос, так что вынужден откинуться назад, чтобы видеть из-под козырька.

Сидит так, сцепил пальцы на затылке, ноги на стуле, из-под козырька торчит дымящаяся сигарета — смотрит на экран телевизора.

Сестра, сколько может, терпит, потом подходит к двери дежурного поста и громко обращается к нему: советует помочь другим с уборкой. Он молчит, смотрит дальше.

— Я же сказала, мистер Макмерфи, что в это время вы должны работать. — Не голос, а электропила, которая натянуто завыла, врезаясь в сосну. — Мистер Макмерфи, *предупреждаю* вас!

Все прекратили работу. Она снова оглядывается вокруг и делает шаг к Макмерфи.

— Вы здесь в заключении, понимаете?.. И под

моей *юрисдикцией*... и медперсонала. — Она поднимает руку, раскаленные красно-оранжевые пальцы впиваются в ладонь. — В моей юрисдикции и *в моей власти*...

Хардинг выключает полотер, бросает его в коридоре, идет за стулом, ставит рядом с Макмерфи, садится и тоже закуривает.

— Мистер Хардинг! Вернитесь к работе согласно распорядку!

Голос ее сейчас — пила, попавшая на гвоздь, и это так забавно, что я почти смеюсь.

— Мистер Хардинг!

Потом идет и берет стул Чесвик, за ним Билли Биббит, потом идет Скэнлон, потом Фредриксон и Сефелт, наконец все мы бросаем швабры, щетки, тряпки и приносим себе по стулу.

— Вы все... прекратите это. *Прекратите!*

И вот мы сидим в ряд перед выключенным телевизором, смотрим на серый экран, как будто отлично видим бейсбольный матч, а она кричит и неистовствует за нашими спинами.

Если бы кто-нибудь зашел и увидел, как несколько человек глядят на пустой экран телевизора, а пятидесятилетняя женщина визжит им в затылок о дисциплине, порядке и наказаниях, то подумал бы, что попал в сумасшедший дом.

Часть вторая

Где-то самым краем глаза вижу белое эмалевое лицо в дежурном посту, раскачивающееся над столом; вижу, как оно коробится и оплывает, пытаясь принять прежнюю форму. Остальные тоже наблюдают, хотя и делают вид, что заняты. Они притворяются, будто смотрят в пустой экран телевизора, но любой может заметить, как они украдкой бросают взгляды на Большую Сестру за стеклом, так же, как и я. Впервые она за стеклом на своей шкуре испытывает, что это такое, когда за тобой наблюдают, а твое единственное желание — опустить зеленую штору между своим лицом и этими глазами, от которых невозможно спрятаться.

Врачи-ординаторы, черные и сестры тоже смотрят на нее, ждут, когда она пойдет по коридору, уже подошло время назначенного ею самою собрания, ждут, чтобы увидеть, как она поступит, когда теперь всем ясно, что и она может терять самообладание. Она знает, что за ней наблюдают, но не двигается с места. Не двигается даже тогда, когда они не спеша тянутся по коридору в ком-

нату медперсонала, без нее. Я замечаю, что вся аппаратура в стенах безмолвствует, будто ждет, когда она поднимется с места.

Тумана уже нет нигде.

Вдруг вспоминаю, что мне полагается убирать комнату медперсонала. Я всегда убираю ее, когда они проводят собрания, уже многие годы делаю это. Но сейчас мне так страшно, что я не могу встать со стула. Я всегда убирал эту комнату, потому что они думали, будто я глухонемой, но теперь, когда они видели, как я поднял руку по приказу Макмерфи, разве они не догадались, что я слышу? Неужели они не сообразят, что я не был глухим все эти годы и слышал секреты, предназначенные только для их ушей? Что они сделают со мной там, в комнате для персонала, если им все известно?

Тем не менее они привыкли видеть меня там. Если меня не будет, они наверняка поймут, что я не глухой, они решат: вот видите? Он не пришел на уборку, разве это не доказательство? Совершенно ясно, что нужно делать…

До меня начинает доходить, какой огромной опасности мы подверглись, позволив Макмерфи выманить нас из тумана.

Рядом с дверью, прислонившись к стене, стоит

черный, руки скрестил на груди, розовый кончик языка бегает взад-вперед по губам, смотрит, как мы сидим у телевизора. Глаза, как и язык, тоже бегают, перебегают с одного больного на другого, останавливаются на мне, и я вижу, как его кожаные веки слегка приподнимаются. Долгое время он наблюдает за мной, понятное дело, думает, почему я так вел себя на собрании группы. Но вот он накренился вперед, отлепился от стены и идет в чулан, где хранятся швабры, выносит ведро с мыльной водой и губкой, поднимает мои руки вверх и надевает на одну ручку ведра, словно подвешивает котелок над костром.

— Пошли, Вождь, — обращается он ко мне. — Давай-ка встанем и займемся работой.

Я не двигаюсь. Ведро покачивается на моей руке. Не подаю вида, что слышу. Он пытается меня обмануть. Просит еще раз подняться и, когда я снова не двигаюсь, закатывает глаза, вздыхает, наклоняется, берет меня за шиворот, слегка дергает, и я встаю. Засовывает губку мне в карман, показывает в сторону коридора, где находится комната медперсонала. Я иду.

И пока я иду по коридору с ведром, — вжик! — как всегда, уверенно, быстро и властно меня обгоняет Большая Сестра и поворачивает в дверь.

Я удивлен.

Остаюсь в коридоре один и замечаю: вокруг прояснилось, туман исчез. Только там, где прошла сестра, веет холодом, и в белых трубках освещения под потолком, похожих на бруски сияющего льда, циркулирует замерзший свет; они напоминают покрытый инеем змеевик холодильника, специально испускающий белое свечение. Бруски эти тянутся до самой двери комнаты медперсонала в конце коридора, куда только что свернула сестра; эта тяжелая стальная дверь похожа на дверь Шоковой мастерской в Главном корпусе, только на ней еще номер и на высоте головы маленький стеклянный глазок, чтобы персонал мог видеть, кто стучится. Я подошел ближе и замечаю, как через глазок сочится свет, зеленый, едкий, как желчь. Собрание медперсонала вот-вот начнется, поэтому и сочится зеленое, а когда собрание подойдет к середине, желчь зальет все стены и окна так, что мне придется собирать все это губкой и выжимать в ведро, а потом еще отдельной водой смывать осадок в унитаз.

Уборка в комнате для персонала всегда неприятное дело. Никто не поверит, что мне приходится убирать на этих собраниях: жуткие вещи, яды,

вырабатываемые прямо порами кожи, кислоты в воздухе, такие сильные, что могут растворить человека. Я видел это.

Я бывал на таких собраниях, когда ножки столов скручивались и корежились, стулья завязывались в узлы, а стены скрежетали друг о друга так, что из комнаты можно было выжимать пот. Я бывал на собраниях, когда разговор о пациенте шел так долго, что этот пациент материализовался из воздуха перед ними, голый, на кофейном столике, уязвимый для любых дьявольских помыслов, которые возникали у них в голове, и тогда, вываляв его в страшной грязи, они делали из него отбивную.

Вот почему я им нужен на этих собраниях: потому что после такого грязного дела кто-то непременно должен здесь убрать, а так как комната персонала открывается только на время проведения собрания, то это должен быть такой человек, который не смог бы проболтаться о том, что у них происходит. Это как раз я. И я так долго этим занимаюсь — смываю, протираю, вылизываю — и в этой комнате, и в старой, деревянной, на прежнем месте, что персонал даже не замечает меня. Я двигаюсь, делаю свою работу, а они смотрят сквозь меня, как будто меня нет, и если

бы я не пришел, то единственное, что бы они заметили — это почему по комнате не плавают губка и ведро с водой, как обычно.

Но на этот раз, когда я стучусь в дверь, Большая Сестра смотрит в глазок прямо на меня и не сразу открывает дверь, на это у нее уходит времени больше обычного. На лице ее прежнее выражение, мне кажется, сильное, как всегда. Остальные помешивают сахар в чашках с кофе, стреляют сигареты, как они это делают перед каждым собранием, но в воздухе пахнет грозой. Сначала мне кажется, из-за меня. Потом замечаю, что Большая Сестра даже не села и не побеспокоилась налить себе чашку кофе.

Она дает мне проскользнуть в дверь, при этом вонзает в меня свои буравчики, закрывает дверь на ключ, круто разворачивается и некоторое время снова свирепо смотрит. Ясно: подозревает меня. Я надеялся, что она слишком расстроится из-за неповиновения Макмерфи и не обратит на меня внимания, но по ней не скажешь, что это выбило ее из колеи. Она четко мыслит и теперь гадает, как это мистер Бромден *все-таки* услышал, что острый Макмерфи просит его поднять руку при голосовании? Она соображает, как это он догадался бросить тряпку и сесть рядом с ост-

рыми перед телевизором? Никто из остальных хроников этого не сделал. Она задумывается, уже не настало ли время проверить нашего мистера Вождя Бромдена.

Поворачиваюсь к ней спиной, лезу с губкой в угол, затем поднимаю ее над головой и показываю всем в комнате, сколько на ней зеленой слизи и как усердно я работаю, потом вновь склоняюсь и тру усерднее обычного. Но как бы усердно я ни работал, как бы ни старался делать вид, будто не ощущаю ее присутствия, все равно чувствую, что она стоит у двери, сверлит мне череп и через минуту проникнет внутрь, тогда я не выдержу, закричу и расскажу им все, если только она не отведет взгляд.

Тут до нее доходит, что на нее тоже смотрят, смотрит весь персонал. Точно так же, как она размышляет обо мне, так и они задаются вопросом о ней и о том, что она собирается делать с тем рыжим в дневной комнате. Они смотрят и ждут, что она скажет о нем, и их не волнует какой-то глупый индеец, стоящий на четвереньках в углу. Они ждут, поэтому она прекращает смотреть на меня, наливает кофе в чашку, садится и размешивает сахар, причем делает это так осторожно, что ложка ни разу не касается чашки.

Начинает доктор:

— Ну что, друзья, приступим?

Он улыбается всем ординаторам, попивающим кофе. На Большую Сестру старается не глядеть. Она хранит зловещее молчание, и он от этого нервничает и ерзает. Выхватывает из кармана очки, надевает, чтобы взглянуть на свои часы, начинает заводить их и одновременно говорит:

— Пятнадцать минут. Давно пора начинать. Итак, это совещание, как вы знаете, собрала мисс Вредчет. Перед собранием терапевтического общества она позвонила мне и сообщила, что, по ее мнению, Макмерфи может стать причиной беспорядков в отделении. Какая интуиция, если учесть то, что произошло несколько минут назад, вам не кажется?

Прекращает заводить часы, потому что заведены они так туго, что еще один поворот — и они разлетятся по всей комнате; сидит, улыбается, глядя на часы, барабанит по руке розовыми пальчиками, ждет. Обычно в этот момент собрания сестра берет на себя инициативу, но сейчас не произносит ни слова.

— После сегодняшнего, — продолжает доктор, — никто не сможет утверждать, что мы имеем дело с заурядным человеком. Нет, конеч-

но. Он на самом деле раздражающий фактор, это очевидно. Поэтому… э-э… как мне кажется, в ходе данного обсуждения мы должны решить, как нам действовать в отношении этого пациента. Считаю, что сестра собрала это совещание для того, — поправьте меня, мисс Вредчет, если я окажусь не прав, — чтобы детально обсудить возникшую ситуацию и выработать единое мнение о наших действиях по отношению к Макмерфи.

Он бросает на нее просящий взгляд, но она по-прежнему хранит молчание; смотрит в потолок — пытается найти грязь, наверное, — и, похоже, совсем не слушает его.

Доктор поворачивается к сидящим в один ряд ординаторам в противоположном конце комнаты, все они одинаково скрестили ноги, и у всех на одном и том же колене чашка кофе.

— Друзья, — обращается к ним доктор, — я понимаю, что у вас было недостаточно времени, чтобы поставить пациенту окончательный диагноз, но вы *имели* возможность наблюдать его в действии. Каково *ваше* мнение?

Он очень искусно вытащил их на ковер. Они подняли головы, смотрят на него, затем переводят взгляд на Большую Сестру. Каким-то образом за пару минут она сумела восстановить свою бы-

лую власть. Вот так, сидя там, улыбаясь в потолок и не произнося ни слова, она снова взяла бразды правления в свои руки и дала понять каждому, что здесь представляет собой силу, с которой нужно считаться. Если эти ребята будут играть не так, как надо, то скорее всего закончат свою практику где-нибудь в Портленде, в лечебнице для алкашей. Они начали ерзать, как доктор.

— Он, безусловно, способствует возникновению беспорядков. — Первый ординатор решает играть осторожно.

Все потягивают кофе и обдумывают сказанное. Затем вступает следующий:

— И может представлять реальную опасность.

— Верно, верно, — замечает доктор.

Второй решает, что угадал верный путь, и продолжает:

— Причем серьезную опасность. — Он сдвигается на стуле вперед. — Не забывайте, что этот человек совершал насильственные действия с единственной целью: покинуть исправительную ферму и перебраться в довольно комфортабельные условия больницы.

— *Планировал* насильственные действия, — замечает первый.

Тут третий тихо говорит:

— Сама сущность этого плана может свидетельствовать о том, что он просто хитрый уголовник, а отнюдь не душевнобольной.

Он оглядывается, ему любопытно, как она отреагирует, но она по-прежнему не сдвинулась с места.

А все остальные глядят на него с возмущением, как будто он сказал что-то ужасно неприличное. Он понимает, что оплошал, и пытается превратить это в шутку, хихикает и продолжает:

— Знаете, тот, кто идет не в ногу, слышит другой барабан.

Но уже поздно. Первый ординатор ставит чашку на столик, лезет в карман за трубкой, величиной с кулак, поворачивается к нему и очень серьезно произносит:

— Честно говоря, Алвин, ты меня разочаровал. Даже если не читать историю его болезни, то достаточно обратить внимание на его поведение здесь, чтобы понять, насколько абсурдно твое предположение. Человек этот не только болен, но, как я считаю, определенно потенциально агрессивен. Мне кажется, мисс Вредчет это и предполагала, когда собирала совещание. Неужели ты не узнаешь классический тип психопата? Никогда еще не встречался с более очевидным

случаем. Этот человек — Наполеон, Чингис-Хан, Атилла.

Вступает второй. Он вспоминает, что сестра говорила насчет буйного.

— Роберт прав, Алвин. Разве ты не видел, как действовал он сегодня? Когда ему не дали осуществить один из его планов, он выскочил из кресла и готов был применить силу. Расскажите, доктор Спайви, что говорится в его деле о насилии?

— Открыто игнорирует дисциплину и руководство, — сообщил доктор.

— Вот. Из его дела, Алвин, видно, что он неоднократно предпринимал враждебные действия против лиц, наделенных властью: в школе, на службе, в *тюрьме*! И мне кажется, что тот спектакль после сегодняшнего голосования убедительно показывает, чего нам следует ожидать в будущем.

Он замолкает, хмурится, смотрит в трубку, снова берет ее в рот, зажигает спичку и втягивает пламя, сосет, громко причмокивает. Раскурил наконец и сквозь желтое облако бросает украдкой взгляд на Большую Сестру; должно быть, расценил ее молчание как добрение, потому что продолжает уже более вдохновенно и уверенно.

— Прервемся на минуту и представим, Ал-

вин, — слова его ватные от дыма, — представим, что может случиться с кем-нибудь из нас, если оказаться с мистером Макмерфи наедине в индивидуальной терапии. Представь, ты подходишь к какому-то особенно важному и болезненному моменту, и тут он решает, что с него хватит, — как он бы выразился? — «чтобы придурок-студент лез мне в душу». Ты просишь не относиться к тебе враждебно, а он говорит: «Пошел ты к черту», ты просишь его успокоиться, властным голосом, конечно, и вот из-за стола прямо на тебя встают двести десять фунтов рыжего ирландца-психопата. Готов ли ты — да и все мы, если уж на то пошло, — к общению с мистером Макмерфи, если дело примет такой оборот?

Он опять всовывает эту толстенную трубку в угол рта, кладет руки с растопыренными пальцами на колени и ждет. Все думают о здоровенных рыжих бицепсах Макмерфи, о руках, покрытых шрамами, о шее, которая ржавым клином выдается из майки. Ординатор Алвин при этих воспоминаниях бледнеет, словно желтый дым из трубки, которым его обкуривает коллега, окрасил его лицо.

— Итак, вы считаете, что благоразумнее отправить его в буйное? — задает вопрос доктор.

— По крайней мере, так будет безопасней, — отвечает тот, что с трубкой, и прикрывает глаза.

— Я беру свои слова обратно и присоединяюсь к мнению Роберта, — обращается ко всем Алвин, — хотя бы ради собственной безопасности.

Все смеются. Почувствовали себя свободней, думают, угадали решение, которого она от них хотела. С этими мыслями они попивают кофе, но только не тот с трубкой, у него с этой штукой полно хлопот, потому что она постоянно тухнет, он все возится со спичками, сосет, пыхтит и чмокает губами. Наконец она снова раскуривается так, как ему хочется, и он, немного гордясь собой, говорит:

— Да, боюсь, что буйное отделение в самый раз для нашего рыжего Макмерфи. Знаете, к какому выводу я пришел, наблюдая за ним все эти дни?

— Шизофреническая реакция? — спрашивает Алвин.

Трубка отрицательно качает головой.

— Латентный гомосексуализм с формированием реакции? — пробует третий.

Трубка опять отрицательно качает головой и прикрывает глаза.

— Нет, — говорит он и, улыбаясь, обводит всех взглядом. — *Негативный эдипов.*

Его поздравляют. Он продолжает:

— Да, я считаю, многое указывает на это. Однако, каков бы ни был окончательный диагноз, не следует забывать: мы имеем дело с неординарным человеком.

— Вы… очень и очень ошибаетесь, мистер Гидеон.

Это Большая Сестра.

Все головы как одна поворачиваются в ее сторону, моя тоже, но я успеваю вовремя остановиться и делаю вид, что только сейчас на стене заметил пятнышко, и начинаю усердно его тереть. Теперь уж точно голова у всех идет кругом. Они были уверены, что предлагают именно то, что ей нужно и что она сама потом собирается предложить им. И я так думал. Я видел, как она отправляла в буйное людей вполовину меньше Макмерфи только лишь из простого опасения, что они могут случайно плюнуть на кого-нибудь, а теперь перед ней настоящий бык, который накидывается на нее и на весь персонал, и она сама недавно обещала, что он долго в этом отделении не задержится, — и вдруг она говорит «нет».

— Нет. Я не согласна. Совершенно. — Она с улыбкой смотрит на всех. — Я не согласна, что его нужно отправить в буйное, это слишком про-

стой способ переложить наши заботы на плечи другого отделения. Я также не согласна, что он неординарная личность, этакий суперпсихопат.

Она ждет, но возражать никто не собирается. Впервые за это время она отпивает глоток кофе. На чашке остается оранжевое пятно, и я невольно уставился на него: это не может быть след от помады, такое пятно на кромке может быть только от нагрева — это прикосновение ее губ раскалило чашку.

— Признаюсь, когда я думала о мистере Макмерфи как о причине беспорядков, моей первой мыслью было обязательно отправить его в буйное. Но теперь, как мне кажется, слишком поздно. Разве его перевод исправит вред, который он нанес нашему отделению? Не думаю, особенно после сегодняшнего. Я считаю, что, если его сейчас отправить в буйное, это именно то, чего ожидают пациенты. Он станет для них мучеником. Они навсегда лишатся возможности убедиться, что этот человек не является — как вы, мистер Гидеон, выразились — «незаурядной личностью».

Она делает еще глоток, ставит чашку на стол, и чашка ударяется, словно судейский молоток, трое ординаторов выпрямились и внимательно

слушают.

— Нет. В нем нет ничего неординарного. Он просто человек и не более, и ему свойственны те же страхи, те же трусость и робость, как и другим людям. Еще несколько дней — и, я убеждена, он докажет это нам, а также всем пациентам. Если мы оставим его в отделении, я уверена, дерзость его сойдет на нет, доморощенное бунтарство будет ни к чему и исчезнет… — Сестра улыбается, потому что никто ничего пока не понимает. — Наш рыжеволосый герой превратится в нечто хорошо знакомое пациентам и не вызывающее у них уважения: в хвастуна и пустомелю из тех, кто вспрыгивает на ящик, кричит: «Вперед!», как это регулярно проделывает мистер Чесвик, а затем сразу дает задний ход, как только возникает реальная опасность для него самого.

— Я бы сказал… — парень с трубкой понимает, что сел в калошу и, чтобы окончательно не осрамиться, нужно попытаться отстоять свою точку зрения, — что пациент Макмерфи вовсе не выглядит трусом.

Представляю, как она сейчас рассвирепеет, но нет, лишь бросила на него взгляд, мол, поживем — увидим, и говорит:

— Я не сказала, мистер Гидеон, что он обяза-

тельно трус, о нет. Он просто очень кое-кого любит. Будучи психопатом, он слишком любит мистера Рэндла Патрика Макмерфи и не станет напрасно подвергать его опасности. — Она так улыбается молодому человеку, что трубка у того гаснет окончательно. — Если немного подождать, наш герой — как это у вас в колледже говорят? — перестанет выделываться. Так?

— Но для этого понадобится не одна неделя… — начинает парень.

— У нас есть время, — сказала так, все равно что гвоздь вбила, и встала очень довольная собой. Такой довольной я вижу ее впервые с тех пор, как на ее беду в отделении появился Макмерфи. — Если нужно, то в нашем распоряжении недели, месяцы и даже годы. Не забывайте, мистер Макмерфи находится в заключении, и срок его пребывания здесь всецело зависит от нас. А теперь, если мы обсудили все вопросы…

* * *

То, что Большая Сестра держалась так уверенно на совещании, какое-то время меня беспокоило, но для Макмерфи не имело никакого значения. Все выходные и всю следующую неделю он не прекращал давить на нее и на черных, и па-

циенты наслаждались этим. Пари он выиграл — раздразнил сестру, как и обещал, заработал на этом, но не остановился и продолжал вести себя так и дальше: кричал на весь коридор, смеялся над черными, доводил до отчаяния весь персонал и даже докатился до того, что однажды в коридоре подошел к Большой Сестре и спросил, не будет ли она так любезна назвать точные, дюйм в дюйм, размеры ее большой, шикарной груди, которую она изо всех сил старается спрятать и напрасно. Она прошла мимо, не обращая на него внимания, как не обращала внимания и на эти непомерно большие женские признаки, которыми наделила ее природа, словно она была выше всего этого: и Макмерфи, и вопроса взаимоотношений полов, и плотских интересов, и всех других людских слабостей.

Когда она вывесила на доске объявлений список дежурств и Макмерфи прочитал, что назначен дежурным по уборной, он пошел на пост, постучал в окно и лично поблагодарил ее за оказанную честь, пообещав вспоминать о ней всякий раз, когда будет драить писсуар. Она сказала, что в этом нет необходимости, занимайтесь, мол, просто своей работой и этого вполне хватит, благодарю.

Но уборкой он себя не утруждал: раз или два проведет щеткой по раковине писсуара, при этом в такт со взмахами щетки во всю силу горланит какую-нибудь песню, потом плеснет хлорки — и готово. «Вполне чисто, — говорил он черному, который пилил его за наспех выполненную работу, — может, не совсем чисто для *некоторых*, но лично я собираюсь в них мочиться, а не обедать из них». Наконец Большая Сестра уступила отчаянным мольбам черного и пришла лично проверить, как Макмерфи справляется со своими обязанностями. Она прихватила небольшое зеркальце и водила им под закраинами раковин. Двигалась вдоль ряда писсуаров, качала головой и у каждой раковины говорила: «Это возмутительно… возмутительно». Макмерфи шел рядом с ней бочком, моргал и, опустив голову, отвечал: «Нет, этот писсуар… писсуар».

Но на этот раз она не теряла самообладания и своим поведением подчеркивала, что вряд ли это возможно. Она душила его за туалеты, используя тот же самый ужасный, медленный и терпеливый нажим, который применяла к каждому, и вот он стоит перед ней, потупясь, словно мальчишка, которому выговаривают, носком одного ботинка наступил на другой, и повторяет: «Я стараюсь,

стараюсь, мэм, но, боюсь, не получится из меня начальника унитазов».

Однажды он что-то написал на клочке бумаги буквами, странными, похожими на иностранные, и шариком жевательной резинки прилепил бумажку под закраиной одного из писсуаров. Когда сестра пришла в туалет со своим зеркальцем и прочитала то, что в нем отразилось, она коротко охнула и уронила зеркальце в писсуар. Но самообладания не потеряла. На кукольном лице и в кукольной улыбке крепко сидела уверенность. Сестра выпрямилась над писсуаром, бросила на Макмерфи взгляд, от которого облезла бы краска, и сказала, что в его обязанности входит делать уборную *чище,* а не грязнее.

Вообще-то, серьезная уборка в отделении уже не делалась. Когда днем подходило время предусмотренной распорядком уборки, по телевизору передавали матчи по бейсболу; все брали стулья, рассаживались перед телевизором и не уходили до самого ужина. И пускай на пульте дежурного поста отключили электропитание, так что мы видели лишь пустой серый экран, это не имело никакого значения, потому что Макмерфи часами развлекал нас: сидит, болтает, рассказывает всякие истории вроде той, как однажды за месяц

заработал тысячу долларов, устроившись водителем грузовика, а потом проиграл все до цента какому-то канадцу в соревновании по метанию топора, или как он с другом уговорил одного парня на родео в Олбани сесть на быка с завязанными глазами. «Не у быка, я подчеркиваю, глаза были завязаны, а *у парня».* Парню они сказали, что в повязке у него не закружится голова, когда бык начнет метаться. Потом завязали ему глаза платком и посадили на быка задом наперед. Макмерфи рассказывал это уже несколько раз и каждый раз, вспоминая, хлопал себя кепкой по ноге и смеялся: «С завязанными глазами и задом наперед… И чтоб мне провалиться, продержался сколько надо и взял приз. Я был вторым, а если бы он слетел, получил бы первое место и *очень* приличные деньги, Клянусь, в следующий раз устрою наоборот: завяжу глаза чертовому быку».

Хлопнул себя по ноге, задрал голову, хохочет и тычет пальцем под ребра соседа, чтобы и тот с ним посмеялся.

В эту неделю я время от времени слышу его громкий смех, вижу, как он чешет пузо, потягивается, зевает, разваливается в кресле и подмигивает тому, с кем шутит; все у него получается так же естественно, как дыхание у человека,

и тогда мысли о Большой Сестре с ее Комбинатом перестают меня беспокоить. Мне кажется, он такой сильный, потому что остается самим собой, и он никогда не отступит, на что надеется сестра. Я думаю, может, он действительно какой-то необыкновенный. Он остается таким, какой есть, — вот в чем дело. Может, это и делает его сильным. За все годы Комбинат не сумел добраться до него, так почему сестра думает, что сможет это сделать в течение нескольких недель? Он не позволит им скрутить и переделать себя.

А позже, прячась в уборной от черных, я смотрю на себя в зеркало и задаю себе вопрос: почему это кому-то удается такая неслыханная вещь, как быть самим собой? Вот мое лицо в зеркале: смуглое, суровое, с высоко выступающими скулами, так что щеки кажутся словно высеченными топором, глаза совсем черные, смотрят сурово и недобро — точно как у папы или у тех жестоких и нехороших индейцев, которых показывают по телевизору. И тогда я думаю: это не я, это не мое лицо. Я не был самим собой, когда старался быть таким, кому это лицо принадлежало. Нет, я не был таким. Я такой, каким меня хотят видеть. Мне кажется, что я никогда не был самим собой. Как же Макмерфи это удается?

Я видел его другим, чем когда он первый раз появился, видел в нем не только большие руки, рыжие бакенбарды и ухмылку под сломанным носом. Я видел, как он делал то, что не соответствовало его лицу и рукам, например, рисовал в трудовой терапии настоящими красками на чистой бумаге, без линеек и цифр, которые подсказывают, как рисовать, или, например, писал кому-нибудь письма красивым слитным почерком. Как может такой, как он, рисовать картинки, писать людям письма или расстраиваться и огорчаться, каким я его однажды видел, когда он получил ответ на письмо? Я понимаю, если это — Билли Биббит или Хардинг. Вот руки Хардинга могли бы рисовать, но никогда этим не занимались, Хардинг не давал им свободы и заставлял их пилить доски для собачьей конуры. А Макмерфи другой. Он не позволял тому Макмерфи, у которого были его внешние данные, управлять собой, как не позволял и Комбинату подогнать его под свою мерку.

Многое я увидел по-другому. Я понял, что туманная машина вышла из строя, когда ее врубили на полную мощность перед собранием в пятницу, и теперь они не могут напустить столько тумана, чтобы все представало в искаженном

виде. Впервые за эти годы я гляжу на людей без обычного черного контура, а однажды ночью я смог увидеть даже то, что за окнами.

Я уже говорил, что каждый вечер, перед тем как отправить меня в постель, мне давали лекарство — отключали сознание. Если же в случае ошибки с дозировкой я просыпался, то глаза закрывала корка, спальня была полна дыма, а проводка в стенах, перегруженная до предела, извивалась и стреляла искрами смерти; этого я не мог выдержать и зарывался с головой под подушку, стараясь снова уснуть. А когда вдруг я высовывал голову из-под подушки, там стоял запах паленого волоса и слышались звуки, словно сало скворчит на горячей сковородке.

Но в ту ночь, через несколько дней после большого собрания, когда я проснулся, в комнате было ясно и тихо, и если бы не едва слышное дыхание спящих и не дребезжание каких-то незакрепленных деталей под хрупкими ребрами двух старых овощей, то можно было бы сказать, что стояла мертвая тишина. Окно на ночь открыли, воздух в спальне был чистый, с каким-то привкусом, от которого я словно захмелел, и неожиданно возникло желание встать и что-то сделать.

Я выскользнул из-под простыни, и пошел бо-

сиком по холодной плитке между кроватями. Я ощущал плитку ногами и удивлялся: сколько раз, сколько тысяч раз я водил тряпкой по этому полу и никогда его не ощущал. Все это мытье казалось мне сном, и я не мог поверить, что убил на него столько лет. А настоящим в тот миг для меня был только этот холодный линолеум под ногами и только это мгновение.

Я шел между спящими, сваленными в длинные белые ряды, как сугробы, стараясь ни на кого не налететь, пока не добрался до стены с окнами. Я прошел вдоль стены, приблизился к тому окну, где штора от ветра мягко надувалась и опадала, и прижался лбом к сетке. Она была холодной и жесткой, я крутил головой, прижимался то одной, то другой щекой, принюхивался к ветру. Наступает осень, думал я, улавливая кислый и тягучий запах силоса, который наполнял воздух, как звук колокола, и отчетливо чувствуя запах горелых дубовых листьев — кто-то оставил их тлеть на ночь, потому что они еще зеленые.

Наступает осень, думаю я, наступает осень, как будто это самое необыкновенное явление в мире. Осень. Еще совсем недавно там была весна, потом лето, и вот теперь осень — странно как-то.

До меня вдруг доходит, что глаза мои все еще

закрыты. Я закрыл их, когда прижался лицом к сетке, словно боялся выглянуть. Теперь я должен открыть их, и вот я смотрю в окно и впервые вижу, что больница находится за городом. Низко над пастбищем висит луна, на лице ее — шрамы и царапины, она только что выбралась из чащи низкорослых дубов и земляничных деревьев, видневшихся на горизонте. Звезды рядом с луной тусклые, но чем дальше они от светового круга, где правит гигантская луна, тем ярче и смелее. Это мне напомнило тот день, когда я был на охоте с папой и дядьями; я лежал, завернувшись в одеяла, сотканные бабушкой, недалеко от костра, вокруг которого на корточках молча сидели мужчины и передавали по кругу литровый жбан с кактусовой настойкой. Я наблюдал тогда, как висящая надо мной большая луна орегонских прерий посрамила все ближние звезды.

Я не спал, все смотрел и ждал, потускнеет ли когда-нибудь луна или, может быть, звезды станут ярче, но вот на моих щеках осела роса, и я вынужден был накрыться с головой одеялом.

Что-то промелькнуло под окном и, отбрасывая на траву длинную паучью тень, скрылось за забором. Когда же оно вернулось, я присмотрелся и увидел, что это собака — молодая неказистая

дворняжка — сбежала из дому, чтобы узнать, что творится вокруг ночью. Пес обнюхивал сусличьи норы, но не для того чтобы раскопать нору и поймать суслика, а чтобы узнать, чем они могут заниматься в это время. Засунул нос в нору, зад торчком, хвост виляет — и тут же бросился к другой норе. Лунный свет разливается вокруг него, влажная трава блестит, и, когда пес бежит, на отливающей синим траве остаются следы, совсем как мазки темной краски. Бросаясь от одной особенно заинтересовавшей его норы к другой, он так разошелся, так на него подействовало все это: луна, ночь, ветер, полный запахов, от которых молодые собаки пьянеют, — что лег на спину и начал кататься. Он извивался, бил лапами в воздухе, как рыба, выгибал спину и живот, а когда встал на лапы и отряхнулся, с него полетели брызги, в свете луны похожие на чешую.

Он еще раз обнюхал все норки, чтобы хорошо запомнить запахи, и вдруг неожиданно застыл: поднял лапу, наставил ухо — прислушивается. Я тоже прислушался, но ничего, кроме хлопанья шторы, не услышал. Я долго прислушивался. Потом откуда-то издалека я расслышал тонкое радостное гоготание — дикие гуси улетают на юг. Вспоминаю охоту и сколько раз я подкрадывался,

пытаясь подстрелить гуся, но безуспешно.

Смотрю в ту сторону, куда и пес, пытаюсь разглядеть стаю, но слишком темно. Гоготание все ближе и ближе, и уже кажется, что они пролетают через спальню прямо над головой. Вот они проплывают на фоне луны — черное, колышущееся ожерелье, вытянутое вожаком в клин. Какое-то время вожак находится в центре лунного диска — он крупнее других, черный крест, раскрывающийся и складывающийся, — но затем уводит свой клин из виду, и они навсегда скрываются в небе.

Вот они тише, тише и уже совсем пропали, остается лишь отзвук в памяти. Пес слышит их намного дольше меня. Он так и стоит с поднятой лапой, не сдвинулся с места и не залаял. Но вот их совсем не слышно, он бросается за ними по направлению к шоссе — бежит ровно, с серьезным видом, словно у него там назначена встреча. Я затаил дыхание и могу различить шлепанье его больших лап по траве, потом слышу, как прибавляет скорость выехавшая из-за поворота машина. Свет фар показался над пригорком и ушел вперед. Я наблюдаю, как пес и машина двигаются к одному и тому же месту на шоссе.

Пес уже почти добежал до ограды нашей тер-

ритории, как вдруг я чувствую: кто-то крадется ко мне сзади. Двое. Я не поворачиваюсь, но знаю: это черный по имени Дживер и сестра с родимым пятном и распятием. Чувствую, как во мне поднимается вихрь страха. Черный берет меня за руку и поворачивает:

— Я займусь им, — говорит он.

— Здесь у окна прохладно, мистер Бромден, — обращается сестра ко мне. — Давайте-ка лучше отправимся в нашу уютную теплую постель.

— Он не слышит, — объясняет черный. — Я отведу его. Вечно развязывает простыню и бродит где попало.

Я делаю шаг, она отступает назад.

— Да, пожалуйста, — говорит она черному. Теребит пальцами цепочку на шее. Дома она запирается в ванной, чтобы никто не видел, и трет распятием по этому пятну, которое из угла рта тонкой линией сбегает по плечам вниз. Трет и трет, и просит Деву Марию, но пятно остается. Она глядит в зеркало и видит, что оно становится еще темнее. Наконец берет проволочную щетку, которой счищают краску с лодок, и сдирает пятно, надевает ночную рубашку на ободранную до крови кожу и забирается в постель.

Но этого в ней слишком много. Пока она спит,

оно поднимается по горлу вверх и багрово-фиолетовой слюной вытекает из угла рта по шее и дальше, по телу. Утром она видит, что пятно опять на ней, и решает, что оно не изнутри: разве такое возможно? У нее, у истинной католички? Она приходит к выводу, что это от ночной работы с такими, как я. Это наша вина, и она готова расквитаться с нами, даже если это будет стоить ей жизни. Хотя бы Макмерфи проснулся и помог мне.

— Привяжите его к постели, мистер Дживер, а я приготовлю лекарство.

* * *

На собраниях группы высказывали свои старые обиды, так долго хранившиеся в душе, что оснований для них уже давно не осталось. Теперь же, когда был рядом Макмерфи и мог их поддержать, пациенты начали цепляться ко всему, что им не нравилось из происходящего в отделении.

— Зачем нужно запирать спальни по выходным? — задает вопрос Чесвик или кто-нибудь еще. — Может человек хотя бы по выходным быть предоставленным самому себе?

— Да, мисс Вредчет, — вставляет Макмерфи. — Почему?

— У нас есть печальный опыт на этот счет: если спальни не запирать, то вы все после завтрака опять уляжетесь спать.

— Это что, смертный грех? То есть я хочу сказать, что все нормальные люди по выходным спят дольше.

— Вы находитесь здесь, в больнице, — она говорит таким тоном, как будто повторяет в сотый раз, — из-за вашей очевидной неспособности жить среди нормальных людей. Мы с доктором считаем, что каждая минута, проведенная в общении с другими пациентами, за редким исключением, оказывает лечебное воздействие, а каждая минута размышлений в одиночестве только усиливает ваше отчуждение.

— Так значит, поэтому на ТТ, ФТ и всякие другие Т нас водят группами по восемь человек?

— Совершенно верно.

— Вы хотите сказать, что это болезнь, когда человек хочет побыть наедине с самим собой?

— Я этого не говорила…

— Значит, если я собрался пойти в уборную облегчиться, то должен прихватить еще семерых, чтобы не давали мне размышлять на унитазе?

Прежде чем она успевает ответить, вскакивает Чесвик и кричит ей:

— Да, это вы имеете в виду?

И другие острые на собрании начинают повторять:

— Да, да, это вы имеете в виду?

Она ждет, когда все утихнут и снова восстановится тишина, и тогда спокойно говорит:

— Если вы успокоитесь и будете вести себя как группа взрослых во время дискуссии, а не как дети на лужайке, мы спросим у доктора, считает ли он, что изменения действующих в отделении правил окажут благотворное влияние. Доктор?

Все знают, каков будет ответ доктора, и он еще не успел открыть рта, как Чесвик уже на ногах со следующей жалобой:

— А как насчет наших сигарет, мисс Вредчет?

— Да, как насчет этого? — возмущаются острые.

Макмерфи опережает сестру с ответом, поворачивается к доктору и на этот раз задает вопрос непосредственно ему:

— Да, док, как насчет наших сигарет? Какое она имеет право держать штабеля сигарет — *наших* сигарет! — у себя на столе и, когда ей вздумается, выделять нам по пачечке, как будто это ее сигареты. Мне не очень нравится, что я покупаю блок сигарет, а кто-то указывает мне, когда я могу

курить.

Доктор наклоняет голову, чтобы посмотреть на сестру через очки. Он не знает, что она прибрала к своим руками сигареты и не дает на них играть в карты.

— Что там с сигаретами, мисс Вредчет? Боюсь, я не совсем…

— Доктор, я считаю, три, четыре, а иногда и пять пачек сигарет в день слишком много для одного человека. Именно это и происходило всю прошлую неделю — после прибытия мистера Макмерфи, — поэтому я подумала, что будет благоразумнее конфисковать все сигареты и выдавать каждому по пачке в день.

Макмерфи наклоняется вперед и громко шепчет Чесвику:

— Слушай следующий указ насчет уборной: каждый берет с собой семь человек, ходит не чаще двух раз в день и только тогда, когда она скажет.

Откидывается в кресле и так громко хохочет, что почти целую минуту никто не может сказать ни слова.

Макмерфи получает массу удовольствия от той неразберихи, которую вносит, и, я думаю, даже удивлен, что не испытывает особого давления со

стороны медперсонала; пожалуй, больше всего удивлен, что сестра не находит для него слов посильнее, кроме тех, которые он уже слышал.

— Я-то думал, старая мерзавка чуток покрепче, — говорит он Хардингу после одного из собраний. — Может, чтобы поставить ее на место, только и надо было одернуть ее разок-другой. — Он хмурит брови и продолжает: — А ведет себя так, будто все козыри в ее белом рукаве спрятаны.

Он получает удовольствие от всего этого примерно до следующей среды. Пока не узнал, почему Большая Сестра так уверена в своих картах. По средам они собирают всех, у кого нет какой-нибудь гнили, и ведут в плавательный бассейн, хотим мы того или нет. Когда в отделении бывал туман, я обычно в нем прятался, чтобы не идти. Бассейн всегда меня пугал, я всегда боялся, что вода поглотит меня и я утону, что меня засосет и через канализацию выбросит прямо в море. Еще ребенком, на реке Колумбия, я совсем не боялся воды: ходил по мосткам вокруг водопада, цеплялся за них, вокруг ревела зеленая и белая вода, в водяных брызгах вставали радуги, а на мне не было даже сапог, как на мужчинах. Но когда я увидел, как папа начал бояться разных вещей, то

тоже испугался и дошел до того, что даже не мог вынести мелководья.

Вышли из раздевалки, в бассейне возня, плескание, везде голые, вопли и крики достигают потолка и отражаются от него, как это всегда бывает в крытых бассейнах. Черные загнали нас в бассейн. Хоть вода приятная и теплая, я не хотел отплывать от бортика (черные ходят вдоль кромки с длинными бамбуковыми шестами и всех, кто пытается уцепиться за них, отталкивают от бортиков) и держался поближе к Макмерфи, потому что знал: его не будут заставлять идти на глубину, если он сам не захочет.

Он разговаривал со спасателем, а я стоял в нескольких футах от него. Макмерфи, наверное, находился над ямой, потому что ему приходилось плыть стоя там, где я стоял на дне. Спасатель стоял на кромке бассейна. На нем был свисток и майка с номером отделения. Они с Макмерфи завели разговор о разнице между больницей и тюрьмой, и Макмерфи утверждал, что в больнице намного лучше. Спасатель думал иначе. Я слышал, как он сказал Макмерфи, что находиться на принудительном лечении совсем не то, что в заключении.

— В тюрьме ты отбываешь срок и знаешь: впе-

реди тебя ждет день, когда ты освободишься.

Макмерфи перестал плескаться. Он медленно подплыл к бортику, уцепился за него и, глядя вверх на спасателя, после некоторой паузы спросил:

— А если ты на лечении?

Спасатель пожал мускулистыми плечами и подергал за свисток на шее. Это был старый футболист-профессионал, на лбу у него виднелись следы от клемм, и очень часто, когда он находился вне своего отделения, где-то в голове у него срабатывал сигнал, губы начинали быстро произносить номера, он принимал позицию линейного с опорой на все четыре точки и бросался на какую-нибудь прогуливающуюся медсестру, чтобы садануть ее по почкам и дать возможность полузащитнику прорваться сквозь цепь. Вот почему его отправили в буйное: когда он не выполнял функций спасателя, он мог в любой момент отмочить такую штуку.

Он снова пожал плечами в ответ на вопрос Макмерфи, потом оглянулся по сторонам, нет ли поблизости черных, и наклонился к самой кромке бассейна. Показал Макмерфи руку и спросил:

— Видишь гипс?

Макмерфи глянул и произнес:

— У тебя на руке нет гипса, приятель.

Спасатель только ухмыльнулся.

— Гипс потому, что в прошлой игре с Коричневыми я получил тяжелый перелом. Я не могу надеть форму, пока не срастется перелом и не снимут гипс. Сестра в моем отделении говорит, что тайно лечит руку. Да, друг, она говорит, если я буду обращаться с рукой осторожно, не буду ее нагружать и всякое такое, она снимет гипс, и я вернусь в клуб.

Он оперся кулаком о мокрый кафель, стал в стойку с опорой на три точки, чтобы проверить, как действует рука. Макмерфи с минуту наблюдал за ним, а потом спросил, как долго тот ждет, когда ему скажут, что рука зажила и он может выйти из больницы. Спасатель медленно поднялся и потер руку. Он всем видом давал понять, что Макмерфи обидел его этим вопросом, обвинив в том, будто он изнежен и плачется о своих болячках.

— Я на принудительном лечении, — сказал он. — По мне — так я давно бы вышел отсюда. Может, и не получится сыграть в основном составе из-за этой паршивой руки, но полотенца я бы мог складывать, разве нет? *Хоть что-то* мог бы делать. Но сестра в моем отделении твердит

доктору, что я еще не готов. Не готов даже складывать полотенца в грязной раздевалке.

Он повернулся, двинулся к своему спасательному стулу; затем, словно пьяная горилла, забрался на него по лестнице, посмотрел на нас сверху и, выпятив нижнюю губу, проговорил:

— Меня замели за хулиганство в нетрезвом виде, а я здесь уже восемь лет и восемь месяцев.

Макмерфи оттолкнулся от кромки бассейна и, плавая на месте, обдумывал услышанное: он получил срок шесть месяцев на исправительной ферме, два из них уже прошли, оставалось четыре, и больше он не собирался отсиживать ни дня. В этой психушке он уже почти месяц, тут, конечно, лучше, чем на исправительной ферме, — хорошие кровати, апельсиновый сок на завтрак, — но не настолько, чтобы провести здесь год, два или больше.

Макмерфи подплыл к ступенькам мелкой части бассейна и просидел там все остальное время, продолжая дергать рыжую шерсть на груди и хмуриться. Я наблюдал за ним, пока не вспомнил, что сказала Большая Сестра на собрании, и тогда не на шутку испугался.

Когда нам просвистели выходить из бассейна, мы беспорядочно потянулись к раздевалке и

встретились с другим отделением — начиналось их время. Мы пошли дальше, через душевую, и там, в ножной ванне, увидели малого из их отделения; он лежал на боку, попискивая, словно сонный тюлень, с большой губчатой головой розового цвета, раздувшимися бедрами и ногами, будто кто-то шар, заполненный водой, сжал посередине. Чесвик с Хардингом помогли ему встать, но он тут же улегся обратно. Голова его покачивалась в дезинфицирующем растворе. Макмерфи остановился и смотрел, как его снова начали поднимать.

— Что с ним такое, черт возьми? — спросил он.

— Гидроцефалия, — ответил Хардинг, — одна из форм расстройства лимфатической системы, когда голова заполняется жидкостью. Помоги поставить его на ноги.

Но только они отпустили парня, как он снова лег на спину в ножную ванну; на лице его появилось выражение терпеливое, беспомощное и упрямое одновременно, он брызгал слюной и пускал пузыри в молочного цвета воде. Хардинг опять обратился к Макмерфи за помощью, а сам с Чесвиком наклонился над парнем. Макмерфи прошел мимо них, перешагнул через парня и стал под душ.

— Пусть лежит, — сказал он, обмываясь под струей воды. — Может, ему не нравится глубина в бассейне.

Я был уверен: что-нибудь такое непременно случится. На следующий день он удивил отделение тем, что встал рано, вычистил уборную до блеска, а потом, когда ему велели черные, пошел мыть пол в коридоре. Удивил всех, но только не Большую Сестру. Она вела себя так, словно ничего особенного не происходило.

Днем на собрании Чесвик заявил, что пора бы наконец откровенно поговорить насчет сигарет.

— Я не ребенок, чтобы от меня прятали сигареты, как конфеты! Мы требуем что-нибудь предпринять, правильно, Мак?

Он ждал от Макмерфи поддержки, но тот молчал, сидя в углу, и Чесвик повернулся к нему. Все сделали то же самое. Макмерфи сосредоточенно разглядывал колоду карт, которая то появлялась, то исчезала в его руках, и даже голову не поднял. Стояла мертвая тишина. Только шлепали замусоленные карты Макмерфи да тяжело дышал Чесвик.

— Я требую что-нибудь сделать! — снова неожиданно выкрикнул Чесвик. — Я не ребенок!

Он топнул ногой и огляделся, ну точно как

ребенок, который вдруг заблудился и вот-вот расплачется. Он стиснул кулаки и прижал их к своей круглой петушиной груди. На салатовом фоне больничого одеяния его кулаки выглядели розовыми мячиками, и Чесвик так крепко сжал их, что сам весь начал мелко дрожать.

Он и так всегда казался небольшим: маленького роста, полный, с лысой макушкой, которая блестела, как розовый доллар, — а теперь одиноко стоявший посреди дневной комнаты и вовсе выглядел крохотным. Он глянул на Макмерфи, но тот и не собирался поднимать глаз, и Чесвик беспомощно озирался по сторонам, ища поддержки у остальных острых по очереди. А они отводили взгляд и отказывались ему помочь. На лице его изобразилась паника, и его взгляд наконец остановился на Большой Сестре. Он снова топнул ногой:

— Я требую что-нибудь сделать! Слышите? Я требую что-нибудь сделать! Что-нибудь! *Что-нибудь! Что…*

Двое больших черных скрутили ему руки, а коротышка накинул на него ремень. Чесвик осел, словно проколотое колесо, черные поволокли его наверх в буйное, и слышно было, как его обвисшее тело шлепается о ступеньки. Когда они

вернулись и сели, Большая Сестра внимательно оглядела каждого из острых, стоявших в ряд у противоположной стены. С тех пор как исчез Чесвик, никто не проронил ни слова.

— Еще есть желающие высказаться по поводу сигарет?

Я смотрю на вытянувшиеся вдоль стены опущенные лица, и наконец мой взгляд останавливается на Макмерфи. Он в своем кресле, в углу, сосредоточенно снимает колоду одной рукой… и белые трубки в потолке снова начинают накачивать замерзший свет… я чувствую это, чувствую, как лучи идут прямо в мой живот.

После того как Макмерфи перестал заступаться за нас, среди некоторых острых пошли разговоры о том, что он все еще старается перехитрить Большую Сестру, мол, услышал, что она думает отправить его в буйное, и решил на некоторое время подчиняться всем требованиям, чтобы не дать ей повода. Другие считают, что он ждет, когда она расслабится, чтобы потом огорошить ее чем-нибудь новым, более диким и необыкновенным. Они собираются группами, обсуждают и строят предположения.

Но я-то знаю, в чем дело. Я ведь слышал его разговор со спасателем. Он всего лишь осторож-

ничает. Так осторожничал папа, когда понял, что не сможет справиться с этой кучкой людей из города, которые хотят построить плотину. Для них это деньги и рабочие места, и так можно избавиться от жителей деревни: пусть это племя индейцев-рыбаков забирает свою вонь и двести тысяч долларов, которые им дает правительство, и убирается куда-нибудь со всем этим. Папа поступил мудро, когда подписал бумаги: начнешь упрямиться — ничего не выиграешь. Все равно правительство добьется своего, раньше или позже, а так племя получит хорошие деньги. Это было сделано правильно. Макмерфи тоже так поступал. Я это понял. Он решил не лезть на рожон, потому что это был единственный хитрый ход, а не по каким-либо другим причинам, которые придумывали острые. Он не говорил об этом, но я-то знал и сказал себе, что он ведет себя умно. Я говорил себе снова и снова: это безопасно. Все равно что спрятаться. Это очень умно, никто не сможет возразить. Я одобряю то, что он делает.

Вдруг однажды утром всем острым тоже стало ясно, они поняли истинные мотивы его поведения, а все, что они придумывали раньше, было лишь самообманом. Он никому не рассказывал о разговоре со спасателем, но они уже все знают.

Я думаю, это сестра передала их разговор ночью по проволочной сети в полу спальни, потому что они все сразу узнали об этом. Я вижу это по тому, как они смотрят на Макмерфи утром, когда он появляется в дневной комнате. Смотрят не так, будто рассержены или расстроены, — они, как и я, понимают, что выбраться отсюда можно, только если вести себя, как хочет Большая Сестра, — они это понимают, но все равно смотрят так, словно хотят, чтобы все было иначе.

Чесвик тоже это понял и не таил обиду на Макмерфи за то, что тот не пошел напролом и не захотел поднимать шума из-за сигарет. Он вернулся из буйного как раз в тот день, когда сестра передала информацию по всем койкам, и лично сказал Макмерфи, что понимает, почему тот так действовал, это действительно самая умная вещь, если разобраться, и если бы он раньше подумал о том, что Мак находится в заключении, то никогда бы не подставил его. Чесвик все это объяснял Макмерфи по дороге в бассейн, но, как только мы пришли туда, заявил, что тем не менее ему очень хотелось бы *«ну хоть что-нибудь сделать»*, и прыгнул в воду. Его пальцы каким-то образом застряли в сливной решетке на дне бассейна, и, как ни старались спасатель, Макмерфи и двое

черных отцепить его, пока они нашли отвертку, сняли решетку и подняли Чесвика наверх, все еще сжимавшего решетку своими синюшными пальцами, он уже был утопленником.

* * *

Стоим в очереди за обедом, вдруг вижу: где-то впереди в воздух взвивается поднос — зеленое пластиковое облако проливается дождем из молока, гороха и овощного супа. Трясущийся, на одной ноге Сефелт вываливается из очереди и, воздев руки кверху, падает навзничь; тело его изгибается дугой, и искаженное лицо с вывернутыми белками проносится со мной рядом. Головой он ударяется о кафель, — кажется, будто камни столкнулись под водой, весь он выгибается дугой, словно дрожащий, шатающийся мостик. Фредриксон и Скэнлон бросаются ему на помощь, но большой черный отталкивает их, выхватывает из заднего кармана плоскую деревяшку, обмотанную изолентой с бурыми пятнами, с усилием раскрывает Сефелту рот и всовывает ее между зубами; я слышу, как деревяшка крошится, и у себя во рту чувствую щепки.

Судороги Сефелта постепенно сходят на нет; вскоре появляется Большая Сестра, становится

над ним, и он тает, обмякает, превращаясь в серую лужу на полу.

Она складывает руки перед собой, словно держит свечку, и смотрит сверху на то, что от него осталось и теперь вытекает из-под брюк и рубашки.

— Мистер Сефелт? — спрашивает она у черного.

— Он самый… — мычит тот, стараясь выдернуть свою деревяшку. — Миста Сефел.

— И мистер Сефелт еще утверждал, что не нуждается в лекарствах!

Она кивает, отступает на шаг от того, что приближается к ее белым туфлям. Затем поднимает голову, обводит взглядом обступивших их острых, снова кивает и повторяет:

— …совсем не нуждается в лекарствах.

На лице у нее одновременно и улыбка, и жалость, и терпение, и отвращение — заученное выражение.

Макмерфи ничего подобного еще не видел.

— Что это с ним? — спрашивает он.

— Мистер Сефелт — эпилептик, — говорит она, не сводя глаз с лужи и не глядя на Макмерфи. — Это значит, в любое время с ним могут случаться подобные припадки, если он не будет выполнять

предписаний медиков. Но он решил, что умнее всех, и перестал принимать лекарства. Мы его предупреждали: *это* может произойти. И тем не менее он продолжал вести себя глупо.

Насупившийся вперед выходит Фредриксон. У него крепкое телосложение, всегда бледное лицо, светлые волосы, светлые густые брови и вытянутый подбородок, ведет он себя в отделении уверенно и даже нахально, как когда-то вел Чесвик: любит поорать, прочитать мораль, отругать кого-нибудь из медсестер, угрожает, что уйдет из этой вонючей больницы! Но они никогда не останавливают его, а когда он успокаивается, спрашивают: «Вы закончили, мистер Фредриксон? Можно оформлять вам выписку?» Затем на дежурном посту держат пари, сколько пройдет времени, когда он виновато постучится в стекло и попросит прощения, мол, как насчет того, чтобы забыть все им сказанное сгоряча и на денек-другой запрятать подальше эти бланки, о'кей?

Фредриксон подходит к сестре и грозит ей кулаком.

— Ах, вот как? Значит, так? Вы собираетесь распять старину Сефа, как будто он сделал это назло, так?

Она успокаивающе берет его за руку, и кулак разжимается.

— Все нормально, Брюс. С твоим другом все будет в порядке. Очевидно, он не принимал дилантин. Просто не знаю, что он с ним делает!

Знает, и не хуже других: Сефелт не глотает капсулы, а держит их во рту и потом отдает Фредриксону. Он не хочет их принимать из-за «губительного побочного воздействия», как он выражается, а Фредриксон хочет принимать двойную дозу, потому что до смерти боится припадка. Обо всем этом сестра знает, это ясно по ее голосу, но по ее виду — сочувствующему и доброму — можно подумать, что она никогда и не слыхала о чем-либо подобном.

— Да-а, — говорит Фредриксон, но уже потерял пыл и не может продолжить атаку, — и все-таки не надо делать вид, будто все так просто: принимать или не принимать лекарство. Вы же знаете, Сефа волнует, как он выглядит и что женщины считают его уродливым, и вы знаете, что он думает про дилантин…

— Я знаю, — говорит она и снова трогает его за руку. — Он думает, от дилантина лысеют. Бедный старик.

— Он не так стар!

— Знаю, Брюс. Но почему вы так расстраиваетесь? Почему защищаете его? Никак не пойму, что за отношения у вас с вашим другом?

— Черт, ладно! — говорит он и прячет кулаки в карманы.

Сестра нагибается, обмахивает пол и, стоя на коленях, начинает месить Сефелта, чтобы придать ему какую-нибудь форму. Затем велит черному остаться с бедным стариком, а она, мол, пришлет каталку, чтобы отвезти беднягу в спальню. И пусть спит до вечера. Поднявшись, она похлопывает Фредриксона по руке, тот ворчит:

— Да, знаете ли, я тоже вынужден принимать дилантин. Поэтому я понимаю Сефа. То есть я хочу сказать, почему я… ну, в общем…

— Я понимаю, Брюс, сколько испытаний выпало на вашу долю. Конечно, лучше что угодно, но только не *это*? Вы согласны со мной?

Фредриксон смотрит, куда она показывает. Сефелт наполовину принял нормальную форму, дышит хрипло, мокро и тяжело, разбухает на каждый вздох и опадает на выдох. Сбоку на голове, в том месте, где он ударился, растет шишка, на губах и деревяшке красная пена, белки глаз возвращаются на место. Руки намертво прижаты к бокам ладонями вверх, пальцы рывками

сжимаются и разжимаются. Точно так дергаются люди в Шоковой мастерской, привязанные к столу-кресту, и из их ладоней тянется вверх струйка дыма от электротока. Сефелт и Фредриксон никогда еще не попадали в Шоковую мастерскую. В этом нет нужды. Они сделаны так, чтобы генерировать собственное напряжение и накапливать его в позвоночнике, а если начинают вести себя неправильно, его включают с пункта дистанционного управления, что на стальной двери в дежурном посту, и в самый разгар веселья или в конце какой-нибудь сальной шуточки они вдруг цепенеют, точно в поясницу ударил разряд. И все лечение! Никакой необходимости гонять их в мастерскую.

Сестра встряхивает руку Фредриксона, словно тот заснул, и повторяет:

— Вы согласны, что, даже учитывая вредное действие лекарства, оно все-таки лучше, чем *это?*

Фредриксон, вытаращив глаза, смотрит на пол, его брови при этом поднимаются, словно он впервые увидел себя со стороны. Сестра улыбается, похлопывает его по плечу и направляется к двери, бросает на острых нервный взгляд — стыдит за то, что собрались и глазеют на такое; когда

она выходит, Фредриксон ежится и пытается улыбнуться.

— И за что я взъелся на старушку?.. Ничего она не сделала и повода никакого не дала, а я чего-то взорвался… Не понимаю…

Он и не ждет ответа; просто до него никак не дойдет, чего это он вдруг разошелся. Он снова ежится и отходит в сторону. Макмерфи идет за ним и тихо спрашивает, какое лекарство они принимают.

— Дилантин, Макмерфи, противосудорожное, если тебе так хочется знать.

— Оно что, не помогает?

— Почему же, хорошо помогает… если принимать.

— Тогда что это за возня: принимать — не принимать?

— Смотри, если такой любопытный. Вот из-за чего возня. — Фредриксон берет большим и указательным пальцем за нижнюю губу и оттягивает ее вниз: обнажаются розовые бескровные десны, висящие клочьями вдоль длинных белых зубов. — Дефны, — говорит он, оттягивая губу. — От дилантина дефны гниют. А в фрифадке шкрипишь жубами…

С пола доносится шум. Они поворачиваются к

Сефелту и смотрят, как он стонет и хрипит, пока черный вытаскивает свою обмотанную изолентой деревяшку вместе с двумя зубами.

Скэнлон забирает поднос и отходит со словами:

— Не жизнь, а ад. Принимаешь — плохо, не принимаешь — все равно обречен. Обложили человека со всех сторон, так я скажу.

— Да-а, я тебя понимаю, — говорит Макмерфи и смотрит на расправляющееся лицо Сефелта. А у самого появляется такое же измученно-озадаченное выражение, что и у лица на полу.

* * *

Трудно сказать, что там за поломка произошла с механизмом, но они его только наладили. Возвращается четкая, строго выверенная последовательность действий: шесть тридцать — подъем, семь — в столовую, восемь — выносят головоломки для хроников и карты для острых… Вижу, как белые руки Большой Сестры плавают над пультом дежурного поста.

* * *

Иногда меня берут с острыми, а иногда и нет.

Один раз меня взяли с ними в библиотеку, и я пошел в технический отдел. Стою там, разглядываю корешки. Эти книги по электронике я помню еще с того года, когда учился в колледже; помню, что внутри схемы, уравнения, теории — твердые, надежные, безопасные вещи.

Хочу посмотреть одну книгу, но боюсь. Боюсь сделать лишнее движение. Такое чувство, будто плаваю в пыльном желтом воздухе библиотеки, где-то между полом и потолком. Стопки книг качаются надо мной зигзагами, как сумасшедшие, бегут под разными наклонами друг к другу. Одна полка немного накренилась влево, другая — вправо. Некоторые полки клонятся прямо надо мной, и я не понимаю, почему книги не падают. Они уходят выше и выше, насколько хватает глаз, шаткие стеллажи сбиты гвоздями, стянуты перекладинами по два и по четыре, подперты шестами, прислонены к стремянкам — и все вокруг меня. Если вытащу хоть одну книгу, только Богу известно, что произойдет.

Слышу, кто-то входит, это один наш черный привел жену Хардинга. Беседуют и улыбаются друг другу, когда входят. Хардинг читает книгу, черный обращается к нему:

— Дейл, смотрите, кто пришел к вам в гости. Я

сказал, что сейчас не время для посещений, но она все-таки уговорила провести ее сюда.

Оставив ее рядом с Хардингом, он уходит и таинственно шепчет:

— Так не забудьте, слышите?

Она посылает черному воздушный поцелуй, потом поворачивается к Хардингу, выдвинув бедра вперед.

— Привет, Дейл.

— Дорогая, — произносит он, но не делает ни шагу в ее сторону. Оглядывается и видит, что все наблюдают.

Она одного с ним роста, в туфлях на высоком каблуке и с черной сумочкой, которую держит как книгу. Ногти у нее красные — прямо как капли крови на сумочке из блестящей черной фирменной кожи.

— Эй, Мак, — зовет Хардинг Макмерфи, который в другом конце комнаты рассматривает комиксы. — Если ты на время прервешь свои литературные изыскания, я представлю тебя своей супруге и Немезиде. Я мог бы сказать банальнее: «своей лучшей половине», но, полагаю, это будет явным намеком на наше равенство, не правда ли?

Он пытается рассмеяться, его два изящных

пальца цвета слоновой кости ныряют в карман рубашки, шарят там и выдергивают из пачки последнюю сигарету. Она дрожит, когда Хардинг подносит ее к губам. Ни он, ни жена еще не приблизились друг к другу.

Макмерфи поднимается с кресла, сдергивает кепку и подходит к ним. Жена Хардинга смотрит на него, подняв бровь, и улыбается.

— Добрый день, миссис Хардинг, — говорит Макмерфи.

Она улыбается еще приветливее и кокетливо заявляет:

— Терпеть не могу «миссис Хардинг». Мак, почему бы вам не называть меня Вера?

Все трое садятся на диван, где сидел Хардинг, и он рассказывает жене о Макмерфи, о том, как Макмерфи довел Большую Сестру, а она улыбается и говорит, что это нисколько ее не удивляет. Рассказывая, Хардинг все больше воодушевляется и забывает о своих руках, которые ткут в воздухе ясную и видимую картину, вытанцовывают сцену за сценой под мелодию его голоса, как две красивые балерины в белом. Руки его могут быть чем угодно. Но вот он закончил рассказ, замечает, что жена и Макмерфи наблюдают за его руками, прячет их между коленями и смеется,

а жена говорит:

— Дейл, когда ты научишься смеяться, а не пищать как мышь?

То же самое говорил ему раньше и Макмерфи, но как-то иначе: слова Макмерфи успокоили Хардинга, а ее слова заставили его еще больше нервничать.

Она просит сигарету, и пальцы Хардинга снова шарят в кармане, но он пуст.

— У нас норма, — говорит он и сводит вперед свои тонкие плечи, словно пытается спрятать наполовину выкуренную сигарету, — по одной пачке в день. Это не оставляет возможности для рыцарства, моя драгоценная Вера.

— О, Дейл, у тебя, как всегда, с гулькин нос, разве не так?

Он хитро смотрит на нее, улыбается, глаза лихорадочно блестят.

— Мы говорим в переносном смысле или ведем речь о конкретных в данный момент сигаретах? Хотя не важно, ты знаешь ответ на этот вопрос, какой бы смысл ты в него ни вложила.

— Я говорила без никакого двойного смысла, сказала, что есть, Дейл.

— Без *какого-либо* двойного смысла, милая. Такое отрицание в литературном языке недопу-

стимо. Макмерфи, речь Веры по безграмотности вполне может конкурировать с вашей. Послушай, дорогая, ты должна понять, что между словами «никакой» и «какой-либо»…

— Ладно, кончай, Дейл! Пускай будет и то, и другое, как тебе лучше нравится. Я имела в виду, что тебе всегда ничего не хватает, и точка!

— Всегда чего-нибудь не хватает, моя умница.

Секунду она зло смотрит на Хардинга, потом поворачивается к Макмерфи, сидящему рядом.

— А вы, Мак? Для вас это тоже проблема — предложить женщине сигарету?

Пачка лежит у него на коленях. Он смотрит на пачку выразительным взглядом и говорит:

— Ну уж нет! Я всегда при сигаретах. Я ведь охотник. Стреляю курево при любой возможности, потому и пачка у меня держится дольше, чем у Хардинга. Он курит только свои. Так что шансов остаться без сигарет у него больше.

— Не стоит извиняться за чужие недостатки, друг мой. Это не соответствует вашему характеру и не может служить дополнением моему.

— Вот уж точно, — соглашается она. — Тебе остается лишь зажечь мне спичку.

И она так низко наклоняется к его спичке, что даже из другого конца комнаты я вижу, что у нее

под блузкой.

Она начинает рассказывать о друзьях Хардинга и о том, как они ей надоели: все ходят и спрашивают Хардинга.

— Вы должны знать этот тип, Мак, — говорит она. — Такие надменные молодые люди с длинными, красиво расчесанными волосами и так изящно взмахивают своими вялыми ручками.

Хардинг интересуется, может быть, они заходят не только к нему, и она говорит, что те, кто ходит к ней, машут не вялыми ручками.

Неожиданно она встает и говорит, что ей нужно идти. Берет руку Макмерфи со словами, что будет рада еще раз с ним встретиться, и уходит из библиотеки. Макмерфи не может вымолвить ни слова. Услышав стук ее высоких каблуков, все снова поднимают голову и провожают ее взглядом по коридору, пока она не скрывается за поворотом.

— Ну, что скажете? — спрашивает Хардинг.

Макмерфи вздрагивает.

— Персы у нее — полный отвал, — это все, что он может сказать. — Больше, чем у старушки Вредчет.

— Я имел в виду не в физическом смысле, друг мой, а что вы…

— Черт побери, Хардинг! — неожиданно Макмерфи переходит на крик. — Ну не знаю я, что сказать! Чего ты хочешь от меня? Я что, брачная контора? Одно знаю точно: ни у кого нет права считать себя самым великим, но, похоже, все только и заняты тем, что всю жизнь кого-нибудь душат. Чего ты от меня хочешь: чтобы пожалел тебя, сказал, что она настоящая стерва? Но и ты вел себя с ней не как с королевой. Хватит, хрен с тобой и с твоими «что скажете?»! У меня и так забот полон рот, а ты еще свои вешаешь. Так что отвали!

Он обводит яростным взглядом всех пациентов в библиотеке.

— И вы все! Хватит ко мне приставать, черт бы вас всех побрал!

Снова напяливает кепку на голову и идет через всю комнату к своим комиксам.

Острые пораскрывали рты, смотрят друг на друга. А на них зачем кричит? Никто к нему не пристает. Никто ни о чем не просит с тех пор, как все поняли, что он старается вести себя смирно и не увеличивать срок заключения. И потом, их поразило то, как он накинулся на Хардинга, и не поймут, почему он схватил со стула книгу, сел и держит ее перед самым лицом, — то ли чтобы

люди не смотрели на него, то ли чтобы самому на них не смотреть.

Вечером, за ужином, он извиняется перед Хардингом, мол, сам не знает, почему так завелся в библиотеке. Хардинг говорит, что, может, из-за его жены: она часто заводит людей. Макмерфи сидит, уставился в свой кофе, и продолжает:

— Даже не знаю. Я ведь познакомился с ней только сегодня. И, понятное дело, не из-за нее у меня плохие сны всю эту паршивую неделю.

— Как же, мистер Макмерфи, — восклицает Хардинг голосом молодого ординатора, который приходит на собрания, — вы просто обязаны рассказать нам об этих снах. Э-э, погодите, я возьму ручку и блокнот. — Хардинг хорохорится, чтобы снять неловкость после извинений Макмерфи. Берет салфетку, ложку и делает вид, будто собирается записывать. — Итак. Что именно вы видели в этих… э-э… снах?

Макмерфи даже не улыбнулся.

— Не знаю. Одни лишь лица, мне кажется… Только лица.

На следующее утро Мартини сидит за пультом управления в ванной, изображает из себя летчика-истребителя реактивного самолета. Покерщики прекратили игру и с улыбкой наблю-

дают за ним.

— Я земля, я земля: замечен объект 40-1600, по всей видимости, ракета противника. Немедленно приступайте к выполнению задачи. И-и-и-х-О-м-м.

Крутит циферблат, переводит рычаг вперед, на виражах отклоняется вместе с машиной. Ставит сбоку на панели стрелку на «полный», но вода через струйные насадки не поступает. Гидротерапия больше не применяется, воду отключили. Этим совсем новым оборудованием и стальным пультом никогда не пользовались. Но если не считать хрома, пульт управления и душ — такие же, как и те, что были в старой больнице пятнадцать лет назад. Струйные насадки дают возможность достать любую часть тела под каким хочешь углом, а техник в резиновом фартуке стоит в другом конце комнаты и манипулирует регуляторами на пульте, управляет, какую струю куда направить, с какой силой и какой температуры; распылитель открывается — струя мягкая, успокаивающая, распылитель сжимается — струя острая, как игла; а ты висишь на брезентовых ремнях мокрый, обвислый, сморщенный, в то время как техник забавляется своей игрушкой.

— И-и-и-ааооОООоммм… Земля, земля: вижу

ракету; прицеливаюсь…

Мартини наклоняется вперед и целится над пультом через кольцо струйных насадок. Один глаз закрыт, другим смотрит в кольцо.

— Есть цель! Приготовиться… По цели… Огонь!

Руки отскочили от пульта, он резко выпрямился, волосы разлетелись, глаза выпучены, смотрят в сторону душевой кабины с таким диким испугом, что все картежники поворачиваются на стульях в попытке тоже увидеть что-нибудь, но не видят ничего, кроме пряжек на новых жестких брезентовых ремнях, висящих между струйными насадками.

Мартини оборачивается и смотрит в упор на Макмерфи. Только на него.

— Ты их видел? Видел?

— Кого, Март? Я ничего не вижу.

— В ремнях! Неужели не видел?

Макмерфи поворачивается, щурится и смотрит на душ.

— Не-а. Ничего.

— Подожди минуту. Им нужно, чтобы ты их увидел, — говорит Мартини.

— Черт тебя побери, Мартини, я же сказал, что не вижу! Никого! Понимаешь? И ничего!

— А-а, — произносит Мартини. Кивает головой

и отворачивается от душевой кабины. — Ну что ж, я тоже их не видел. Это я так, пошутил.

Макмерфи снимает колоду и с треском тасует ее.

— М-да, не нравятся мне такие шутки, Март.

Снова снимает, тасует, и — вдруг карты разлетаются, будто колода взорвалась в его дрожащих руках.

* * *

Помню, это было в пятницу, через три недели после того, как мы голосовали насчет телевизора; всех, кто мог ходить, погнали в Главный корпус, якобы на рентген грудной клетки, нет ли туберкулеза, только я уверен, просто хотели проверить, как работает установленная в нас аппаратура.

Сидим в коридоре на длинной скамье, которая тянется до самой двери с надписью: «Рентген». Рядом с рентгеном дверь ЭЭНТ, где зимой нам проверяют горло. Напротив, вдоль коридора, еще одна скамья, она заканчивается у той самой металлической двери. С заклепками и без надписи. Рядом с ней дремлют два пациента между двумя черными, а еще кого-то уже лечат, я слышу его крики. Когда дверь со вздохом открывается внутрь, видно, как в комнате светятся радиолам-

пы. Выкатывают жертву — она еще дымится, я хватаюсь за скамейку, чтобы не всосало в ту дверь. Черный и другой белый ставят на ноги одного со скамьи, он покачивается и спотыкается под воздействием лекарств, которыми его напичкали. Перед Шоковой обычно дают красные капсулы. Пациента вталкивают в дверь, техники подхватывают его под руки, но вот до него доходит, куда он попал, он начинает упираться в пол обеими ногами, чтобы не дать им затащить себя на стол, затем дверь со вздохом закрывается, лишь слышно, как металл стучит по обивке, и больше я его не вижу.

— Что у них там? — спрашивает Макмерфи Хардинга.

— Там? Ах, вы еще не имели такого удовольствия? Жаль. Это следовало бы пережить каждому. — Хардинг сплетает пальцы на затылке, откидывается назад и смотрит на дверь. — Это, друг мой, шоковая терапия, о которой я как-то рассказывал. Счастливчикам там предоставляют бесплатный полет на Луну. Хотя, если подумать, не совсем так, не полностью бесплатный. Просто вместо денег вы расплачиваетесь собственными мозговыми клетками, у каждого их миллиарды, так что подумаешь, несколько клеток? Вы даже

не заметите.

Нахмурился и смотрит на одиноко сидящего на скамье пациента.

— Кажется, сегодня не густо посетителей, не то что в прошлом году. Ну что ж, такова жизнь, мода приходит и уходит. Боюсь, мы являемся свидетелями заката ЭШТ. Наша дорогая старшая сестра — одна из немногих, имеющих мужество отстаивать великую древнюю фолкнеровскую традицию лечения обделенных разумом: выжиганием по мозгу.

Открывается дверь. С жужжанием выползает каталка, никто ее не толкает, на двух колесах она сворачивает за угол и исчезает, надымив в коридоре. Макмерфи смотрит, как забирают последнего, и дверь закрывается.

— Значит, вот они чем занимаются? — Макмерфи какое-то время прислушивается. — Берут больного туда и пропускают через башку электричество?

— Да. Так это можно кратко сформулировать.

— И на черта это нужно?

— Как? Для блага пациентов, разумеется. Здесь все делается для нашего блага. Побывав только у нас в отделении, вы можете вполне убедиться в том, что больница — это огромный эффективный

механизм, который функционировал бы даже и без пациентов, но это не так. ЭШТ не всегда используется как средство наказания, хотя мисс Вредчет прибегает к нему именно в этих целях, и со стороны медперсонала это отнюдь не чистейший садизм. Именно шок вернул сознание многим, кого считали неизлечимыми, равно как некоторым другим помогла лоботомия и лейкотомия. Но лечение шоком имеет ряд преимуществ: недорого, быстро и совершенно безболезненно. Шок просто искусственно вызывает припадок.

— Что за жизнь, — стонет Сефелт. — Одним дают таблетки, чтобы предотвратить припадок, другим дают шок, чтобы его вызвать.

Хардинг наклоняется ближе к Макмерфи и объясняет:

— А знаете, кто его придумал? Два психиатра отправились однажды на скотобойню по каким-то одному Богу известным извращенным мотивам и решили понаблюдать, как забивают скот ударом кувалды между глаз. Они заметили, что не каждое животное сразу подыхает, а некоторые валятся на пол в состоянии, напоминающем судороги при эпилепсии. «Ah, zo[8], — восклик-

[8] Примечания: 8
вот как *(нем.)*.

нул первый врач. — Это есть, что нам нужно для наш пациент, — искусственный припадок!» Его коллега, конечно, согласился. Было известно, что люди после эпилептического припадка на какое-то время становятся спокойней и уравновешенней, а совершенно неконтактные буйные после судорог могут нормально разговаривать. Правда, никто не знал почему, да и сейчас не знают. Однако было очевидно, что если бы имелась возможность вызывать искусственный припадок у неэпилептиков, то результаты могли быть весьма благоприятными. А тут перед ними стоял человек, постоянно вызывавший искусственные припадки с удивительным апломбом.

Скэнлон говорит, будто думал, что мужик работал бомбой, а не кувалдой, но Хардинг отвечает, что не принимает его замечаний к сведению, и продолжает объяснять:

— Мясник пользовался кувалдой. И вот здесь у коллег возникли сомнения. В конце концов человек не корова. Где гарантия, что кувалда не соскользнет и не перебьет нос? А может, даже выбьет все зубы? Что тогда делать при нынешних ценах на протезирование? Если уж придется бить человека по голове, нужно поискать что-нибудь понадежней и поточней кувалды; и они наконец

сошлись на электричестве.

— Боже, неужели они не подумали, что это может навредить? Почему люди не подняли шум?

— Я не уверен, что вы полностью и глубоко понимаете людей, друг мой; у нас в стране если что-то не так, то чем быстрее поправить это, тем лучше.

Макмерфи качает головой.

— Ого! Электричество в голову. Все равно что электрический стул за убийство.

— Вы себе даже не представляете, насколько близки цели этих двух мероприятий: оба они средства лечения.

— Так ты говоришь, совсем не больно?

— Гарантирую. Совершенно безболезненно. Вспышка — и вы мгновенно теряете сознание. Никакого газа, никакой кувалды. Абсолютно безболезненно. Но весь фокус в том, что второго раза никто не хочет. Вы… меняетесь. Забываетесь. Это как если бы… — Он прижимает руки к вискам и зажмуривается. — Как удар, запускающий дикое колесо образов, эмоций, воспоминаний. Вы видели такую рулетку: хозяин берет твою ставку, нажимает на кнопку. Дзинь! Лампочки, музыка, цифры кружатся и кружатся в водовороте; может быть, вы выиграете там, где оно остановится, а

может быть, проиграете и вынуждены будете играть снова. Плати тогда еще за один раз, сынок, плати.

— Спокойней, Хардинг.

Открывается дверь, выезжает каталка, на ней под простыней пациент, а техники идут пить кофе. Макмерфи запускает пальцы в волосы.

— Никак у меня в голове не вмещается: ну и дела здесь творятся!

— Что именно? Лечение шоком?

— Да-а. Нет, не только. Все это… — Он делает обобщающий жест. — Все, что здесь происходит.

Рука Хардинга опускается на колено Макмерфи.

— У вас голова кругом идет, друг мой, давайте прекратим. Думаю, вам не стоит волноваться по поводу ЭШТ. Электрошок почти вышел из моды и применяется в крайних случаях, когда ничего не помогает, например, лоботомия.

— Кстати, лоботомия. Это когда отрубают часть мозга?

— И снова вы правы. Становитесь сведущим человеком по части нашего жаргона. Да, режут мозг. Кастрируют лобную долю головного мозга. По-видимому, раз она не может резать ниже пояса, будет пытаться резать выше глаз.

— Ты имеешь в виду Вредчет?

— Совершенно верно.

— Неужели слово сестры в этом деле что-то значит?

— Да, это так.

Похоже, Макмерфи рад, что разговор о шоке и лоботомии закончился и перешел на Большую Сестру. Он спрашивает у Хардинга, причем здесь, по его мнению, она. У Хардинга, Скэнлона и некоторых других есть разные предположения. Какое-то время они обсуждают, в ней ли корень зла, и Хардинг говорит, что в большинстве случаев именно она инициатор. Многие пациенты так считают, но Макмерфи уже больше не уверен в этом. Он говорит, что одно время думал так же, но теперь не знает. Он не думает, что, устранив ее, можно что-нибудь изменить, по-видимому, за всеми этими делами стоит нечто большее, и пытается объяснить, что это, по его мнению, такое. Но толком объяснить не может и сдается.

Макмерфи еще не понимает, он только подходит к тому, о чем я давно догадался: это не Большая Сестра сама по себе, а весь Комбинат, Комбинат в государственном масштабе — вот кто действительно сила, а сестра всего лишь их высокопоставленный сотрудник.

Пациенты не согласны с Макмерфи. Они говорят, что знают, в чем дело, и начинают спорить. Они спорят, пока Макмерфи их не прерывает.

— Ну и ну, послушаешь вас — так только и слышно: обиды, обиды, обиды. На сестру, на персонал, на больницу. Скэнлон хочет разбомбить всю шарагу. У Сефелта во всем виноваты лекарства. У Фредриксона — неурядицы в семье. Вы все стараетесь свалить вину на кого-нибудь.

Макмерфи говорит, что Большая Сестра не более чем вредная, с каменным сердцем старуха, и вся эта возня и попытки устроить его с ней драчку — это куча дерьма, и ничего хорошего не получится, особенно для него. Избавиться от нее еще не значит избавиться от глубоко скрытой занозы, которая вызывает эти обиды.

— Вы так считаете? — спрашивает Хардинг. — Тогда, раз уж вы так неожиданно начали разбираться в проблемах психического здоровья, в чем причина? Что это за «глубоко скрытая заноза», как вы метко выразились?

— Послушай, я не знаю. Ничего подобного я раньше не видел.

С минуту он сидит без движений, прислушивается к жужжанию из рентгеновского кабинета, потом говорит:

— Но если бы это было только то, о чем вы говорите, если бы дело было, скажем, только в старушке сестре и ее сексуальной озабоченности, то, закинув ее в постель, можно было бы запросто решить все ваши проблемы.

Скэнлон хлопнул в ладоши.

— Черт возьми! Правильно, Мак. Тебя и назначим, ты как раз тот жеребец, который должен справиться.

— Только не я. Нет, сэр. Вы ошиблись.

— Почему нет? После всех этих разговоров о бабах я думал, ты супержеребец.

— Скэнлон, приятель, я собираюсь держаться от старой мерзавки как можно дальше.

— Это я заметил, — говорит Хардинг улыбаясь. — Что между вами произошло? Сразу вы ведь прижали ее к канатам, а потом отпустили. Внезапная жалость к нашему ангелу милосердия?

— Нет. Я просто кое-что выяснил. Навел кое-какие справки. Узнал, почему вы все лижете ей зад, раскланиваетесь и расшаркиваетесь перед ней и позволяете вытирать о себя ноги. До меня дошло, с какой целью вы меня используете.

— Да? Это интересно.

— Ты прав, еще как интересно. Мне интересно, почему вы, гады, не предупредили меня, чем я

рисковал, когда накручивал ей хвост. Если она мне не нравится, это не значит, что я буду щипать ее, пока она не накинет мне пару лишних годиков заключения. Случается, иногда приходится спрятать гордость подальше и подумать о собственной шкуре.

— Друзья, послушайте. Наверное, вполне обоснованны слухи о том, будто наш мистер Макмерфи смирился с местными порядками, чтобы повысить свои шансы на досрочное освобождение.

— Ты знаешь, Хардинг, что я имею в виду. Почему ты не предупредил, что она может держать меня здесь, на принудиловке, пока ей самой не надоест?

— Я просто забыл, что у вас принудительное лечение. — От улыбки лицо Хардинга складывается посередине. — Да. Вы начинаете хитрить. Ну точно как мы все.

— Да, начинаю, и заруби это себе на носу. Почему на собраниях именно я должен махать кулаками из-за пустячных жалоб на закрытые двери спальни или по поводу сигарет на дежурном посту? Сначала я не понял, чего вы бросились ко мне, будто я какой спаситель. Но потом я случайно узнал, что больше всего от сестры зависит,

кого выписать, а кого нет. И тут до меня сразу дошло. Я сказал себе: «Ага, эти шустрые ребятки накололи меня, запудрили мне мозги, чтобы я нес их поклажу. Подумать только, наколоть самого Р. П. Макмерфи!» — Он задирает голову и с ухмылкой смотрит на всех. — Поймите, ребята, я не хочу вас обидеть, но на хрена мне это все сдалось? Я так же, как и вы, хочу выбраться отсюда. И от потасовок с этой старой стервой я теряю не меньше вашего. — Ухмыляется, подмигивает и тычет пальцем Хардинга под ребра: мол, хватит с этим и чтобы никаких обид, но у Хардинга, кажется, есть кое-что еще.

— Нет, друг мой. Вы теряете гораздо больше.

Хардинг снова улыбается, игриво косит глазами, словно норовистая кобылка, даже шею выгибает. Все сразу придвинулись ближе. Мартини выходит из-за рентгеновского экрана, застегивает пуговицы на рубашке, бормочет: «Никогда бы не поверил, если бы собственными глазами не видел», а к черному стеклу на его место встает Билли Биббит.

— Вы теряете гораздо больше, — повторяет Хардинг. — Я здесь добровольно, а не на принудительном лечении.

Макмерфи молчит. Он снова озадачен, чувству-

ет: что-то здесь не так, а что именно — понять не может. Он сидит, смотрит на Хардинга, и игривая улыбка Хардинга вянет, он начинает ерзать под этим странным взглядом Макмерфи, потом сглатывает и продолжает:

— Дело в том, что всего несколько человек из нашего отделения находятся здесь не по своей воле. Только Скэнлон и… пожалуй, пару хроников. И вы. А вообще в больнице мало таких. Да. Очень мало.

Макмерфи все смотрит на него, и Хардинг не выдерживает, замолкает.

Макмерфи молчит, потом наконец тихо спрашивает:

— Ты брешешь?

Хардинг отрицательно вертит головой. Похоже, испугался.

Макмерфи встает и громко, на весь коридор, повторяет:

— Вы что, брешете?

Все молчат. Макмерфи ходит взад-вперед вдоль скамейки, ерошит свои густые волосы. Пошел от одного конца скамьи к другому, потом к рентгеновскому аппарату, который шипит и фыркает на него.

— Ты, Билли… черт возьми, ты-то не добро-

вольно?

Билли стоит спиной к нам, на цыпочках, подбородок на черном экране.

— Добровольно, — говорит он в аппарат.

— Но почему? Почему? Ты же молодой. Твое место на воле, тебе бы разъезжать в кабриолете и волочиться за девочками. Все это… — Он обводит рукой вокруг себя. — Зачем это тебе?

Билли молчит, Макмерфи поворачивается к другим.

— Скажите, зачем целыми неделями вы ноете и жалуетесь, как вам здесь невыносимо, как невыносима сестра и все ее штучки, а оказывается, вас насильно никто тут не держит. Да, хроники, конечно, конченые. Но вы-то не такие, пускай не как все, но ведь не конченые совсем.

С ним не спорят. Он идет дальше, к Сефелту.

— Сефелт, а ты? Что с тобой? Подумаешь, припадки! Черт возьми, у меня был дядя, так того корежило похуже, да еще вдобавок ему мерещился дьявол, но он не заперся в психушке. Ты бы мог жить и на воле, если бы у тебя хватало мужества…

— Конечно! — Это Билли. Отошел от экрана, на лице слезы. — Конечно! — снова выкрикивает он. — Если бы у нас было м-мужество! Если бы

у меня было мужество, я бы давно ушел отсюда. Моя м-мать и м-мисс Вредчет — старые подруги, и я бы мог получить справку об освобождении с печатью сегодня же днем, если бы у меня было мужество! — Он сдергивает со скамьи рубашку, пытается надеть ее, но его слишком трясет. Отшвырнул в сторону и поворачивается к Макмерфи. — Ты думаешь, я х-х-хочу здесь оставаться? Ты думаешь, я не хочу в к-к-кабриолете с девушкой? А над тобой когда-нибудь с-с-смеялись другие? Нет. Потому что ты з-з-здоровый и сильный, и за себя постоишь! А я не здоровый и не сильный, и сдачи не дам. И Хардинг тоже. И Ф-Фредриксон. И С-Сефелт. А ты г-говоришь, что мы здесь, потому что нам нравится! А-а… б-бесполезно…

Он плачет и заикается так сильно, что не может продолжать, слезы текут ручьем, он их вытирает руками. Содрал кожу с ранки на руке, и, когда вытирает слезы, размазывает кровь по лицу и глазам. Совсем ничего не видит, бросается по коридору, налегает на одну, затем на другую стенку, лицо в крови, за ним вслед бросается черный.

Макмерфи поворачивается, смотрит на остальных, разинув рот, — хочет еще что-то спросить, но увидел, каким взглядом они на него смотрят, и закрывает рот. Стоит так с минуту перед длин-

ным рядом глаз, словно рядом заклепок, потом очень тихо говорит: «Ну и дела», берет кепку, плотно ее нахлобучивает на голову и идет к скамье на свое место. Два техника уже попили кофе, возвращаются к себе; дверь напротив со вздохом открывается, в воздухе разносится запах кислоты, как при зарядке аккумулятора. Макмерфи сидит, смотрит на дверь.

— Никак у меня в голове не укладывается…

* * *

Мы возвращаемся в отделение, Макмерфи плетется в хвосте, руки в карманах зеленой формы, кепка надвинута на глаза, во рту потухшая сигарета, размышляет о чем-то. Все молчат. Билли уже успокоили, он идет впереди; слева от него — черный из нашего отделения, справа — белый парень из Шоковой мастерской.

Я поотстал, иду рядом с Макмерфи, мне хочется сказать ему, чтобы он не переживал, все равно ничего не изменишь; я видел, что он обеспокоен какой-то своей мыслью, словно собака у норы, которая не знает, что там, внизу, и один голос говорит: «Собака, эта нора не твое дело, слишком большая и слишком темная, и следы вокруг медведя или еще кого-нибудь похуже». А дру-

гой голос, откуда-то изнутри, не очень хитрый, неосторожный отчетливо шепчет: «Ищи, собака, ищи!»

Я хотел ему сказать, чтобы он не переживал, и только рот раскрыл, как вдруг он поднял голову, сдвинул кепку на затылок, ускорил шаг, догнал коротышку черного, хлопнул его по плечу и спросил:

— Сэм, может, тормознем у буфета? Очень сигареты нужны.

Я приналег, чтобы догнать его, от бега мое сердце гулко забилось, а в голове раздался тонкий взволнованный звон. И даже в буфете, когда сердце уже успокоилось, я продолжал слышать, как звенит у меня в голове. Этот звон напомнил мне о том, что я чувствовал, когда холодными осенними вечерами по пятницам выходил на футбольное поле и ждал первого удара по мячу — начала игры. Звон все нарастал, становился больше, и вот мне казалось, я сейчас сорвусь, не смогу устоять на одном месте; потом удар по мячу — звон исчезал, игра начиналась. Вот и теперь я слышу такой же звон, чувствую такое же необузданное нарастающее нетерпение. Вижу четко и резко, как перед игрой, как и тогда, раньше, из окна спальни: все вещи вырисовываются резко,

ясно и прочно, я даже не помню, когда так еще видел. Ряды зубной пасты и шнурков, очков от солнца и шариковых ручек с клеймом — гарантией на корпусе, что будет писать вечно и на масле, и под водой, и все это охраняет от воров бригада большеглазых плюшевых мишек, усевшихся на полке над прилавком.

Макмерфи протопал к прилавку вместе со мной, зацепил большими пальцами за карманы и попросил у продавщицы пару блоков «Мальборо».

— Лучше даже три, — сказал с улыбкой. — Сегодня буду здорово дымить.

Звон в голове стоит до самого собрания. Вполуха слушаю, как они обрабатывают Сефелта, чтобы он разобрался в своих проблемах, иначе не сможет адаптироваться («Все из-за диланти-на!» — не выдерживает он. «Мистер Сефелт, если хотите, чтобы вам помогли, вы должны быть искренни», — говорит она. «Но именно дилантин во всем виноват! Разве не он размягчает мне десны?» Она улыбается. «Джим, вам сорок пять лет...»); случайно бросаю взгляд на Макмерфи, он по-прежнему в своем углу. Но уже не вертит в руках карточную колоду и не дремлет над журналом, как последние две недели. Даже не сполз

в кресле. Сидит прямо, возбужденный и отчаянный, и переводит взгляд с Сефелта на Большую Сестру. Я наблюдаю, а звон в голове усиливается. Глаза его превратились в голубые полоски под белыми бровями, стреляют туда и сюда, как в начале игры в покер, когда игроки вскрывают свои карты. И мне вдруг кажется, что сейчас он непременно отмочит какую-нибудь штуку, которая обязательно приведет его в буйное. Такое же выражение было у других перед тем, как они набрасывались на черных. Я вцепился в подлокотники кресла и ждал со страхом, что сейчас будет, и в то же время еще больше боялся, вдруг ничего такого не будет.

Он сидел тихо, наблюдал, как они добивают Сефелта; потом повернулся вполоборота и стал смотреть на Фредриксона, который пытался отплатить им за то, что они поджаривали его друга, и несколько минут громко возмущался решением держать сигареты в помещении дежурного поста, наконец выговорился, затем покраснел, как всегда, извинился, сел на свое место. Макмерфи ничего не делал. Тогда я ослабил свою хватку и решил, что на этот раз ошибся.

До конца собрания оставалось пару минут. Большая Сестра сложила свои бумаги, спрятала в

корзинку, переставила ее с коленей на пол, потом метнула быстрый взгляд на Макмерфи, словно хотела убедиться, что он не спит и слушает. Сложила руки на коленях, посмотрела на пальцы и, глубоко вздохнув, покачала головой.

— Друзья. Я очень долго думала над тем, что сейчас собираюсь сказать. Мы обсудили это с доктором, со всем медперсоналом и, как ни жаль, пришли к одинаковому выводу о том, что необходимо определить какое-то наказание в связи с отвратительной уборкой отделения три недели назад. — Подняла руку и обвела всех взглядом. — Мы долго ждали, надеясь, что вы сами проявите инициативу и извинитесь за свое бунтарское поведение. Однако ни в ком из вас не возникло ни малейших признаков раскаяния.

Снова рука поднялась вверх, чтобы пресечь любую попытку помешать, — движение гадалки с картами за стеклянной витриной.

— Прошу вас, поймите: все правила и ограничения мы вводим только после тщательного обдумывания их лечебной ценности. Многие из вас находятся здесь, потому что не сумели приспособиться к общественным правилам во внешнем мире, отказывались примириться с ними, пытались обойти и уклониться от них.

Когда-то, в детстве, возможно, вам позволяли безнаказанно попирать общественные порядки. Если вы нарушали какое-нибудь правило, вы осознавали свою вину. Вам требовалось наказание, вы нуждались в нем, но оно не наступало. Эта безрассудная снисходительность со стороны ваших родителей, вероятно, и явилась тем микробом, который дал начало вашей теперешней болезни. Я говорю вам об этом в надежде, что вы поймете: если мы усиливаем дисциплину и порядок, то делается это исключительно для вашей пользы.

Она обвела взглядом комнату. На лице ее было написано сожаление о том, что ей приходится делать. Было тихо, и только в голове моей стоял тонкий, лихорадочный, исступленный звон.

— В наших условиях трудно поддерживать дисциплину. Вы ведь понимаете это. Что мы можем с вами сделать? Арестовать вас нельзя. Посадить на хлеб и воду тоже. Видите, сколько проблем у персонала? Что же нам делать?

У Ракли была идея на этот счет, но сестра не захотела принять ее к сведению. Лицо ее задвигалось с тикающим звуком и наконец приняло другое выражение. Она решила ответить на свой вопрос.

— Мы должны отменить какую-нибудь при-

вилегию. Тщательно взвесив все обстоятельства бунта, мы посчитали справедливым лишить вас привилегии на ванную комнату, которую вы используете днем для игр в карты. Вы согласны?

Она даже не повернула головы, не посмотрела. Тем не менее посмотрели все остальные один за другим — туда, где сидел он. Даже старые хроники, заметив, как все повернулись в одном направлении, вытянули, словно птицы, свои тонкие шеи и тоже повернулись, чтобы посмотреть на Макмерфи, — лица, полные откровенной и испуганной надежды.

Высокий звон, не переставая, звучал в моей голове, будто шины мчались по асфальту.

Макмерфи сидел в кресле с прямой спиной и толстым рыжим пальцем лениво почесывал места швов на носу. Усмехнулся всем, кто повернулся к нему, вежливо прикоснулся к козырьку и оглянулся на сестру.

— Итак, если никаких дискуссий по этому решению не будет, мне кажется, час уже почти прошел…

Снова сделала паузу, сама посмотрела на него. Макмерфи повел плечами, с громким вздохом хлопнул себя по коленям и встал с кресла. Потянулся, зевнул, снова почесал нос и, поддергивая

большими пальцами брюки, не спеша зашагал через всю комнату к дежурному посту, возле которого сидела она. Как и все, я видел, что слишком поздно, его не удержать, какую бы глупость он ни задумал, все равно это случится, и я просто ждал, ждал, что будет. Он шел широким шагом, даже слишком широким, большими пальцами держась за карманы. Железо на его каблуках высекало молнии. Он снова превратился в лесоруба, развязного картежника, большого рыжего задиристого ирландца, телековбоя, шествующего посреди улицы навстречу опасности.

Когда он был уже рядом, Большая Сестра выкатила глаза так, что они побелели. Она и мысли не допускала, что он может ответить. Она решила, что это будет окончательная над ним победа, которая утвердит ее власть раз и навсегда. Но вот он идет, огромный, как дом!

Она захлопала ртом и стала оглядываться в поисках черных, напугалась до смерти, но он остановился, не доходя до нее. Он остановился перед ее окном и очень медленно, растягивая слова, низким голосом сказал, что ему сейчас очень кстати были бы сигареты, которые он купил сегодня утром, а потом сунул руку прямо в стекло.

Стекло разлетелось, как водяные брызги, и

сестра зажала уши руками. Он взял один блок со своей фамилией, достал пачку, положил блок обратно, повернулся к Большой Сестре, которая сейчас больше напоминала статую из мела, и очень заботливо начал стряхивать осколки стекла с ее шапочки и плеч.

— Я очень извиняюсь, мэм, — сказал он. — Ну прямо очень. Стекло у вас до того чистое, мне и в голову не пришло, что оно тут есть.

Все это заняло лишь пару секунд. Он повернулся и пошел через всю комнату к своему креслу, по пути закуривая сигарету, а она так и осталась сидеть с перекошенным, дергающимся лицом.

Звон у меня в голове прекратился.

Часть третья

После этого очень долго Макмерфи оставался хозяином положения.

Сестра терпеливо выжидала, надеясь, что случай представится и она еще возьмет власть в свои руки. Она понимала, что проиграла один важный раунд и проигрывает второй, но не торопилась. Главное, она не собиралась его выписывать, поэтому бой мог продолжаться столько, сколько ей хотелось, пока он не допустит ошибку или просто не сдастся, или пока она не разработает какую-нибудь новую тактику, которая поможет ей вырасти в глазах окружающих.

Прежде чем она применила свою новую тактику, произошло много событий. Закончив, так сказать, краткосрочный и планомерный отход, Макмерфи заявил о своем возвращении в драку тем, что разбил ее личное окно, после чего в отделении зажили интересной жизнью. Макмерфи принимал участие в каждом собрании, в каждом обсуждении: говорил медленно и с расстановкой, подмигивал, шутил как мог, чтобы выманить натянутый смешок из какого-нибудь острого,

который улыбнуться боялся с двенадцати лет. Он собрал баскетбольную команду и каким-то образом уговорил доктора, чтобы тот разрешил принести из спортзала мяч, мол, команде нужно ведь тренироваться. Сестра возражала, говорила, что в следующий раз они начнут играть в дневной комнате в футбол, а в коридоре — в поло, но на этот раз доктор не уступил и сказал: пусть занимаются.

— С тех пор как создана баскетбольная команда, у ряда игроков, мисс Вредчет, наметился заметный прогресс; по-моему, баскетбол оказывает хорошее лечебное действие.

Какое-то время она с изумлением смотрела на него. Так, значит, он тоже решил показать силу. Ничего, еще будет время расквитаться с ним за этот тон, поэтому она лишь кивнула и отправилась на пост крутить свои регуляторы. Рабочие временно закрыли окно над ее столом картоном, и она сидела за ним с таким видом, как будто и через него видела все, что происходит в дневной комнате. За этим квадратом картона она была словно картина, повернутая к стене.

Она ждала и никак не реагировала, а Макмерфи продолжал бегать по утрам в своих трусах с белыми китами, играл в спальне в расшибалочку на

центы, носился по коридору с никелированным судейским свистком, обучая острых быстрому прорыву от двери в отделение до изолятора на другом конце коридора; удары мяча в коридоре гремели как артиллерийская канонада, а Макмерфи, словно сержант, кричал на команду:

— Шевелитесь, доходяги, шевелитесь!

Если Макмерфи и приходилось общаться с сестрой, он это делал в высшей степени обходительно: любезно спрашивал, например, не позволит ли она воспользоваться ее ручкой, чтобы написать заявление на отпуск без сопровождающего, прямо на ее столе писал заявление, вручал его вместе с ручкой, вежливо говорил при этом: «Благодарю вас», она просматривала заявление и так же вежливо отвечала, что «обсудит его с персоналом», на что уходило минуты три, после чего она возвращалась и сообщала, что ей, безусловно, жаль, но отпуск ему в данный момент в лечебных целях не рекомендуется. Он снова благодарил ее, выходил из дежурного поста, дул в свой свисток так, что радиусе нескольких миль грозили полопаться все стекла, и кричал: «Тренируйтесь, вы, доходяги, а ну, берите мяч и чтобы пропотели!»

В отделении Макмерфи находился уже с месяц, и это давало ему право обратиться к собранию

группы с просьбой предоставить краткосрочный отпуск с сопровождающим. Он подошел к доске объявлений с ее ручкой, в графе «Сопровождающий» написал: «Одна телка из Портленда по имени Кэнди Старр» — и так поставил точку, что сломалось перо. Вопрос об отпуске рассматривался на собрании группы несколько дней спустя, как раз в тот день, когда рабочие только вставили новое стекло у Большой Сестры; когда его просьбу отклонили на том основании, что эта мисс Старр не совсем отвечает требованиям морали и вряд ли может сопровождать пациента, Макмерфи пожал плечами, сказал: «Это из-за ее походки, наверное», встал, направился к дежурному посту, к тому самому окну, в углу которого еще сохранилась фирменная наклейка, и снова сунул в него кулак… С пальцев потекла кровь, а он начал объяснять сестре, что ему показалось, будто картон убрали, но раму еще не вставили.

— Когда только они успели всунуть это чертово стекло? Да, это ужасно опасная штука!

Сестра на дежурном посту заклеивала ему пластырем руку, а Скэнлон и Хардинг достали из мусора картонку и снова заделали ею окно, использовав для этого пластырь с той же ленты. Макмерфи сидел на табурете, ужасно морщился,

когда сестра обрабатывала его порезы, и подмигивал Скэнлону и Хардингу над ее головой. Лицо ее было спокойным, как маска из эмали, но напряжение проявлялось в другом: в том, например, как она изо всех сил затягивала пластырь на пальцах, и становилось ясно, что любому терпению когда-нибудь приходит конец.

Идем в спортзал смотреть, как наша команда — Хардинг, Билли Биббит, Скэнлон, Фредриксон, Мартини и Макмерфи (когда его рука прекращает кровоточить и он может выйти на площадку) — играет с командой санитаров. Наши двое черных тоже среди них. Причем они лучшие игроки на площадке, бегают взад-вперед, как две тени в красных трусах, и с механической точностью раз за разом забрасывают мячи в корзину. Наша команда слишком низкорослая, медлительная, и Мартини все время дает пасы, которые, кроме него, никто не видит, так что санитары победили с разницей в двадцать очков. Но у нас такое чувство, будто победа за нами. Одному нашему черному, по имени Вашингтон, кто-то заехал в игре локтем, и вся команда санитаров держала его, а он рвался туда, где на мяче сидел Макмерфи, не обращая ни малейшего внимания на черного, у которого из большого носа на грудь текло

красное, словно краска по классной доске, и он вырывался изо всех сил и кричал: «Сам напрашивается! Этот сукин сын сам напрашивается!»

Макмерфи продолжал писать записки в туалете, чтобы сестра читала их с помощью своего зеркальца. Он также писал длинные и невероятные истории о себе в вахтенном журнале и подписывался «Анон». Иногда он спал до восьми часов. Она отчитывала его, но не сердито, а он стоял и слушал, пока она не закончит, а потом разрушал весь эффект, например, спрашивая, какой размер бюстгальтера она носит: B, C, или вообще никакого?

Остальные острые брали с него пример. Хардинг заигрывал со всеми сестрами-практикантками, Билли Биббит совершенно перестал записывать в вахтенный журнал свои, как он их обычно называл, наблюдения, а когда вставили новое стекло и побелкой вывели на нем большой крест, чтобы Макмерфи не мог больше оправдаться, его снова разбил Скэнлон: случайно попал мячом, и побелка на кресте даже не успела высохнуть. Мяч прокололся, Мартини поднял его с пола и, словно мертвую птицу, понес к сестре на пост, где та широко раскрытыми глазами смотрела, как в очередной раз ее стол запорошило битым

стеклом. Мартини спросил, не сможет ли она, пожалуйста, починить мячик пластырем или еще как-нибудь его вылечить? Ни слова не говоря, она выхватила мяч и швырнула в урну.

В связи с явным окончанием баскетбольного сезона Макмерфи решил сосредоточить внимание на рыбалке. Он рассказал доктору, что в районе залива Сиуслоу во Флоренсе у него есть друзья и они согласны взять с собой восемь-девять человек в море на рыбалку, если медперсонал не будет возражать, так что он, Макмерфи, просит краткосрочный отпуск. В заявке он написал, что на этот раз его будут сопровождать «две приятные старые тетки из-под Орегон-сити». На собрании ему предоставили отпуск на следующий уик-энд.

Сестра зарегистрировала его отпуск в своем журнале, затем опустила руку в корзинку, стоявшую у ее ног, и достала вырезку из утренней газеты; громким голосом она зачитала, что, хотя в районе орегонского побережья отмечены небывалые уловы, лосось в этом сезоне пойдет довольно поздно и в море выходить опасно — большая волна. Так что она рекомендует нам все тщательно обдумать.

— Хороший совет, — сказал Макмерфи. Он закрыл глаза и с шумом втянул в себя воздух. — Так

точно, сэр! Соленый запах бушующего моря, нос корабля с трудом разрезает волны, все бросает тебе вызов, здесь мужчина — это мужчина, а корабль — это корабль. Мисс Вредчет, вы меня уговорили. Сегодня же вечером позвоню и найму катер. Вас тоже записать?

Вместо ответа она направляется к доске объявлений и кнопками крепит вырезку.

Со следующего дня Макмерфи начал записывать всех, кто хочет отправиться с ним и может внести десять долларов на аренду катера, а сестра стала регулярно приносить вырезки из газет, где рассказывалось о кораблекрушениях и неожиданных бурях на побережье. Макмерфи высмеивал ее и ее вырезки, говорил, что обе его тетки провели большую часть своей жизни, качаясь на волнах из одного порта в другой то с одним, то с другим моряком, и обе гарантировали, что путешествие пройдет как по маслу и нечего беспокоиться. Но сестра лучше знала своих больных. Вырезки напугали их больше, чем Макмерфи мог предположить. Он думал: все сразу бросятся записываться, а ему еще пришлось их уговаривать и уламывать, чтобы собрать нужное количество и оплатить катер. И все-таки за день до поездки ему не хватало двух человек.

У меня не было денег, но мысль записаться не давала мне покоя. И чем больше я слышал о рыбалке и о том, что пойдут за лососем, тем сильнее мне хотелось ехать. Я понимал: это глупо, записаться — значит объявить всем, что я не глухой. А раз я слышал все разговоры о катере и рыбалке, значит, слышал и то, что говорилось вокруг меня по секрету все десять лет. Если же Большая Сестра узнает об этом и поймет, что я слышал, как замышлялись их постоянные интриги и предательство, когда слышать не должен был никто, она замучает меня электропилой и сделает все, чтобы наверняка я оглох и онемел. Очень хотелось ехать, и, думая об этом, я слегка улыбался в душе: я должен оставаться глухим, если хочу слышать и дальше.

Ночью, накануне рыбалки, я лежал в постели и размышлял обо всем этом: о том, как я стал глухим, о том, почему столько лет не показывал виду, что слышу все разговоры, и смогу ли когда-нибудь вести себя иначе. Но одно знаю точно: не по своей воле я прикинулся глухим, люди первыми стали относиться ко мне так, будто меня нет и я просто не могу что-либо слышать, видеть или говорить.

Причем началось это не тогда, когда я попал

в больницу, люди намного раньше начали вести себя так, словно я не способен слышать и говорить. Так в армии ко мне относились те, у кого было больше нашивок. Они считали, что так и следует обращаться с людьми вроде меня. В начальной школе тоже мне говорили, что я не слушаю, и сами перестали слушать то, что говорил я. И теперь, лежа в постели, я пытаюсь вспомнить, когда впервые это заметил. Кажется, это случилось, когда мы жили в деревне на берегу Колумбии. Было лето…

…Мне около десяти лет, я рядом с хижиной посыпаю солью лососей, чтобы потом развесить на сушилках за домом; вдруг вижу, как с шоссе сворачивает машина, едет, громыхая, через канавы и полынь, и волочит за собой хвост красной пыли, такой плотной, словно проносится железнодорожный состав.

Вижу, как машина подъезжает к холму, останавливается неподалеку от нашего двора, а пыль продолжает двигаться, набегает на машину сзади, разлетается во все стороны и наконец оседает на растущей рядом полыни и мыльном корне, и от этого они становятся похожими на красные, дымящиеся обломки крушения. Машина не двигается, пока пыль оседает, и тускло блестит под

солнцем. Знаю, что это не туристы с фотоаппаратами: те так близко к деревне не подъезжают. Если хотят купить рыбу, покупают ее рядом с шоссе, в деревню заезжать бояться, — наверное, думают, мы по-прежнему скальпируем людей и сжигаем их на столбе. Они не знают, что некоторые из нашего племени адвокаты в Портленде, и если бы я им об этом сказал, то, вероятно, не поверили бы. Кстати, один мой дядя стал настоящим адвокатом, чтобы только доказать им, — так говорит папа, хотя больше всего он предпочел бы бить острогой лосося осенью. Папа говорит, если не будешь осторожным, люди так или иначе заставят делать тебя то, что им хочется, или сделают тебя упрямым как мул, и будешь из вредности делать все наоборот.

Двери машины открываются одновременно, выходят трое: двое впереди, один сзади. Они взбираются по склону к нашей деревне, и я вижу, что первые двое — мужчины в синих костюмах, а за ними старая седая женщина, одетая во что-то твердое и тяжелое, похожее на броню. Пока выбрались из полыни на наш голый двор, запыхались и вспотели.

Первый останавливается, оглядывает деревню. Он невысокий, кругленький, на голове белая

шляпа. Качает головой, глядя на стоящие в беспорядке шаткие решетки для вяленья рыбы, подержанные машины, курятники, мотоциклы и собак.

— Вы когда-нибудь в своей жизни видели такое? Видели, а? Клянусь, ну хоть когда-нибудь?

Снимает шляпу, платком промокает голову, больше похожую на красный резиновый мяч, делает это осторожно, словно боится не то за платок, не то за клочок своих потных сбившихся волос.

— Можете вы себе представить, чтобы люди хотели так жить? Скажите, Джон, можете? — говорит громко — не привык к реву водопада.

Джон стоит рядом и подтягивает свои густые седые усы к самому носу, чтобы не слышать запаха лососины, которую я обрабатываю. Он потный до самой шеи и щек, и спина синего костюма у него пропотела насквозь. Он делает пометки в блокноте, и все время ходит кругами, бросая взгляды на нашу хижину, садик, красные, зеленые, желтые выходные мамины платья, которые сушатся позади на веревке; все кружит, пока не опишет полный круг и не возвратится ко мне, затем смотрит на меня, будто видит впервые, а я всего лишь в двух ярдах от него. Он наклоняется ко мне, щурится, снова поднимает усы к носу,

словно запах идет не от рыбы, а от меня.

— Как вы думаете, где его родители? — спрашивает Джон. — В доме? Или у водопада? Раз уж мы здесь, могли бы обговорить это с ним.

— Лично я не собираюсь заходить в эту лачугу, — заявляет толстый.

— В этой лачуге, Брикенридж, — говорит Джон сквозь усы, — живет вождь, человек, к которому мы приехали, чтобы решить вопросы. Благородный вождь этого народа.

— Решать вопросы? Нет уж, увольте, это не моя работа. Мне платят, чтобы я оценивал, а не братался.

Его слова вызвали смех у Джона.

— Да, это верно. Но кто-то же должен сообщить им о планах правительства.

— Если они еще не знают, то очень скоро узнают.

— Разве сложно зайти и переговорить?

— В эту лачугу? Готов поспорить, что она вся кишит ядовитыми пауками. Говорят, в стенах таких хижин обитает и соответствующая цивилизация. Боже милостивый, ну и жара. Бьюсь о заклад, там внутри как в настоящей печи. Смотрите, смотрите, как пережарился этот маленький Гайавата. Ха! С одной стороны даже подгорел!

Он смеется, промокает голову, но, когда женщина смотрит на него, замолкает. Откашливается, сплевывает в пыль, подходит и садится на качели, которые папа сделал для меня на можжевеловом дереве, сидит, чуть раскачиваясь, обмахивается своей шляпой.

Чем больше я размышляю над тем, что он сказал, тем сильнее меня это бесит. Они с Джоном продолжают говорить о нашем доме, о деревне, об имуществе, об их стоимости, и я вдруг начинаю думать, что они, наверное, не догадываются, что я говорю по-английски. Они, по-видимому, с Востока, где люди знают об индейцах только из фильмов. Представляю, как им будет стыдно, когда они узнают, что я понимаю, о чем они говорят.

Жду, пока они еще поговорят о жаре и о доме, потом встаю и, стараясь использовать все свои школьные знания, говорю толстому, что наш обложенный дерном дом гораздо прохладней, чем любой дом в городе, намного прохладней! «Я знаю точно, в нем прохладней, чем в школе, в которую я хожу, и даже чем в кинотеатре в Даллзе, на котором буквами-сосульками написано: „Здесь прохладно!“.»

Дальше я собираюсь им сказать, что, если они

зайдут в дом, я сбегаю за папой к водопаду, как вдруг по выражению их лиц замечаю: они меня вообще не слышат. И не видят. Толстый раскачивается, смотрит вдаль поверх лавы, где мужчины заняли места на мостках у водопада и отсюда кажутся среди тумана из мягких брызг бесформенными фигурками в шерстяных рубашках. Видно, как время от времени кто-нибудь стремительно выбрасывает вперед руку, делает выпад, словно фехтовальщик, потом передает свою пятнадцатифунтовую острогу кому-то на мостках над ним, чтобы вытащить из воды бьющегося лосося. Толстый наблюдает за стоящими под пятидесятифунтовым водяным слоем, хлопает глазами и кряхтит всякий раз, когда кто-нибудь из них наносит удар острогой.

Остальные двое — Джон и женщина — просто стоят. Никто из троих, похоже, не слышал ни единого моего слова, они даже смотрят мимо меня, словно меня и вовсе нет.

У меня странное чувство, будто солнце ярче осветило всех троих. Поселок выглядит как обычно: куры возятся в траве на крышах хижин, кузнечики скачут с куста на куст, мухи черным облаком поднимаются над рыбой, когда ребятишки ветками полыни сгоняют их, — все так

же, как в любой другой летний день. Вот только солнце светит ярче на этих трех пришельцев, и я вдруг вижу… швы в местах соединений. Я даже чувствую, как аппарат у них внутри берет мои слова, пытается приладить их так и сяк, приспособить то в одном месте, то в другом, когда же оказывается, что для этих слов не находится соответствующего места, аппарат выбрасывает их, будто я ничего и не говорил.

Пока так происходит, все трое стоят без движений. Даже качели застыли в одном положении, пригвожденные солнцем, вместе с окаменевшим толстяком, этой резиновой куклой. Тут просыпается папина цесарка, которая забралась в кусты можжевельника, видит чужих, начинает, как собака, лаять на них, и колдовство проходит.

Толстяк вскрикивает, спрыгивает с качелей, бочком отодвигается в пыль, заслонил глаза от солнца: старается разглядеть, кто это там в можжевельнике поднял такой шум. Увидел, что это всего лишь пестрая курица, плюет в землю и надевает шляпу.

— Я лично считаю, — говорит он, — что, сколько бы мы ни предложили за этот… метрополис, этого будет вполне достаточно.

— Может быть. И все же я думаю, мы должны

попытаться переговорить с вождем…

Сделав звенящий шаг вперед, старуха перебивает его.

— Нет, — сказала она. Это ее первые слова. Она повторяет: — Нет, — и я сразу вспоминаю Большую Сестру. Приподняла брови, окидывает все взглядом. Глаза ее прыгают, как цифры в кассовом аппарате. Она смотрит на мамины платья, аккуратно развешенные на веревке, и кивает головой. — Нет. Сегодня с вождем мы говорить не будем. Пока. Я согласна с Брикенриджем… но по другим соображениям. Помните, в нашем досье говорилось, что его жена не индианка, а белая? Белая женщина из города. Фамилия ее Бромден. Это он взял себе ее фамилию, а не наоборот. Поэтому, я думаю, если мы сейчас уедем, вернемся в город и, конечно, пустим среди жителей слух о планах правительства, чтобы они поняли, какие преимущества им даст строительство гидроэлектростанции и озера вместо кучки хижин у водопада, а потом отпечатаем наши предложения… и по почте отправим жене — по ошибке, понимаете? — я уверена, это значительно облегчит решение нашей задачи.

Она переводит взгляд туда, где наши стоят на древних, шатких, извивающихся мостках, ко-

торые сотни лет росли вверх и ветвились среди скал водопада.

— Если же сейчас встретиться с мужем и без подготовки обратиться к нему с каким-либо предложением, мы рискуем нарваться на неслыханное упрямство, свойственное всем навахо, и, возможно, невообразимую любовь к родным местам.

Мне хочется сказать им, что он не навахо, но разве они услышат. Им же все равно, из какого он племени.

Женщина улыбается и кивает обоим мужчинам: каждому улыбка и кивок, глазами дает знак следовать за собой и прямая, как палка, направляется обратно к машине, рассказывая беззаботным молодым голосом:

— Как подчеркивал наш преподаватель социологии, в каждой ситуации обычно присутствует такая личность, силу и влияние которой никогда нельзя недооценивать.

Они возвращаются к машине и уезжают, а я стою и думаю: заметили они меня или нет.

Я даже удивился, что смог вспомнить это. Впервые, как мне кажется, за несколько веков мне удалось вспомнить так много из детства. Неужели я все еще способен на такое? Я был поражен этим

и, лежа с открытыми глазами, вспоминал другие события. Вдруг, находясь наполовину в мечтах, я услышал какой-то шум из-под кровати, словно мышь возится с грецким орехом. Я свесился вниз, и удивлению моему не было предела: блестящий металл скусывал шарики моей жевательной резинки. Черный по имени Дживер обнаружил, где я их прячу, и теперь они шлепались в пакет, срезанные длинными тонкими ножницами, которые очень напоминали клещи.

Я отпрянул под одеяло, чтобы черный не увидел меня. Сердце стучало у меня в ушах, я боялся, что он меня заметил. Хотелось сказать ему, чтоб он убирался, не лез не свое дело и отстал от моей жвачки, но разве я мог показать, что слышу. Я лежал, не двигаясь, проверял, заметил он меня или нет, но он никак не реагировал, лишь только было слышно шшшт-шшт его ножниц и стук падающих комочков жвачки — это напомнило мне, как град стучал по нашей крыше из толя. Черный щелкал языком и хихикал.

— Ммм, Боже мой. Хи-хи. Интересно, сколько раз он их жевал? Ну твердые!

Его бормотание разбудило Макмерфи. Тот проснулся и приподнялся на локте: хотел увидеть, что можно делать ночью под кроватью. С

минуту Макмерфи наблюдал за черным, затем, как ребенок, протер глаза — убедиться, что это ему не мерещится, и сел в кровати.

— Чтоб я сдох, в полдвенадцатого ночи выставил задницу вверх и шныряет в темноте с ножницами и пакетом.

Черный подпрыгнул и резко направил фонарь в глаза Макмерфи.

— Послушай, Сэм, какого черта ты там ищешь и почему это надо делать сейчас?

— Продолжай спать, Макмерфи. Это никого не касается.

Губы Макмерфи медленно разошлись в улыбке, но он не отвернулся. С полминуты черный освещал эту улыбку, лоснящийся, едва заживший шрам, зубы, вытатуированную на плече пантеру, но вот ему стало немного не по себе, он отвел фонарь. Затем снова нагнулся и принялся за работу, кряхтя и пыхтя, как будто прилагал огромные усилия, чтобы оторвать засохшую жвачку.

— Одна из обязанностей ночного санитара, — объяснял он между кряхтеньями, стараясь при этом, чтобы голос его звучал дружелюбно, — поддерживать чистоту в спальне.

— Среди ночи?

— Макмерфи, у нас висит такая штука, назы-

вается «Перечень обязанностей», там сказано: чистота — это круглосуточная работа!

— Послушай, а нельзя заниматься своей круглосуточной, пока мы еще не легли спать, а не смотреть телевизор до пол-одиннадцатого. Наша мадам Вредчет ведь не знает, что вы почти всю смену смотрите телевизор? Как ты думаешь, она рассердится, если узнает об этом?

Черный встал и сел на край моей кровати. Постучал фонариком по зубам, улыбаясь при этом и хихикая. Лицо его стало похожим на черную маску из тыквы с подсветкой.

— Я тебе вот что расскажу про эту жвачку, — хихикнул он и наклонился к Макмерфи, как старый приятель. — Сколько лет я ломал себе голову, где Вождь Бромден достает жевательную резинку. Денег у него нет, чтобы кто-нибудь ему давал хоть штучку, я никогда не видел, у Связей с общественностью не просил ни разу. Вот я и наблюдал, пока не дождался. Смотри. — Он снова встал на колени, приподнял край моей простыни и посветил снизу. — Ну как? Спорю, он их жевал не меньше чем тысячу раз!

Это рассмешило Макмерфи, и он засмеялся. Черный поднял пакет, потряс его содержимым, и они еще посмеялись. Черный пожелал Мак-

мерфи спокойной ночи, закрутил пакет сверху, как будто в нем была еда, и ушел куда-то пока его спрятать.

— Вождь, — прошептал Макмерфи, — послушай… — И запел когда-то давно популярную деревенскую песенку: «На ночь жвачку прилепил я к столбику кроватному.»

Сперва меня охватила ярость. Я подумал, что он, как и другие, смеется надо мной.

— «Знать бы только: будет завтра она пахнуть мятой?» — пел он шепотом.

И чем больше я об этом думал, тем смешнее мне становилось. Как я ни сдерживался, чувствовал, что вот-вот засмеюсь, но не над песней Макмерфи, а над собой.

— «Нет душе моей покоя, дал бы кто-нибудь ответ: сохранит ли запах мяты моя жвачка или не-е-ет?»

Он тянул последнюю ноту и словно водил по мне перышком. Я уже не мог сдерживаться, хохотнул и тут же испугался, что начну смеяться и не остановлюсь. Но в этот момент Макмерфи соскочил с кровати, начал шарить у себя в тумбочке, и я затих. Я сжал зубы, не зная, что делать. Уже давно никто не слышал от меня ничего, кроме кряхтенья и воплей. Он закрыл тумбочку — раз-

дался грохот, как от дверцы парового котла.

— На, — сказал он, и на моей кровати что-то блеснуло. Небольшое. Размером с ящерицу или змейку… — Фруктовая, Вождь, ничего лучшего в данный момент нет. Выиграл в расшибалочку у Скэнлона. — Он снова забрался в постель.

И прежде чем я осознал, что делаю, я сказал ему: «Спасибо».

Сразу он ничего не ответил. Приподнялся на локте, смотрит на меня, как смотрел до этого на черного, ждет, когда я опять заговорю. Я поднял с простыни пачку жвачек, зажал в руке и сказал: «Спасибо».

Получилось, конечно, неважно, потому что горло мое пересохло и язык ворочался со скрипом. Он сказал мне, что я, похоже, давно не тренировался, и я засмеялся. Я попытался смеяться вместе с ним, но издал такой противный звук, словно молодой петушок, который учится кукарекать. Это больше было похоже на плач, а не на смех.

Макмерфи посоветовал мне не торопиться, и если я хочу потренироваться, то до шести тридцати он готов меня выслушать. Он сказал, что у человека, который держался так долго, как я, вероятно, есть о чем рассказать, и откинулся на подушку, ждал. С минуту я не знал, с чего начать,

в голову все время приходило такое, что словами и не выскажешь, потому что слова исказили бы смысл. Когда он понял, что я все-таки ничего не скажу, он закинул руки за голову и начал первый:

— Знаешь, Вождь, я тут, глядя на тебя, вспомнил, как работал в долине Уилламет, собирал бобы под Юджином. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья, когда попал туда на работу. Дело было в начале тридцатых, и мало кому из пацанов удавалось получить работу. Я же доказал бобовому начальнику, что могу собирать бобы не хуже взрослых, так же быстро и чисто. Так или иначе, я был единственным пацаном на поле. Вокруг только взрослые. Раз или два я попытался заговорить с ними, но они даже слушать, меня не хотели — ползает тут какой-то тощий рыжий молокосос. В общем, я затих. Разозлился на них за то, что не замечают меня, ужасно и молчал целых четыре недели, пока собирали бобы; работал рядом потихоньку и слушал, как они обмывают косточки то одному, то другому. Если кто на работу не выйдет, сплетничают о нем весь день. И я за четыре недели даже не пискнул. Эти старые пни даже забыли, что я вообще могу говорить. А я выжидал. Потом, в последний день, меня прорва-

ло, и я им рассказал, какие они козлы. Каждому выложил, как в его отсутствие лучшие друзья поливали его грязью. Они меня слушали тогда — ооо! Начали выяснять отношения — перегрызлись как собаки. А меня лишили причитавшейся премии (набавляли четверть цента за каждый фунт бобов при стопроцентной явке на работу), потому что в городе у меня была плохая репутация, да и бобовый начальник считал, что весь сыр-бор из-за меня, хотя доказать ничего не мог. Я и ему высказал кое-что. Мои речи тогда обошлись мне долларов в двадцать. Но стоило того.

Он захихикал в подушку при этих воспоминаниях, потом повернул голову и посмотрел на меня.

— Интересно, Вождь, ты тоже ждешь своего дня?

— Нет, — ответил я. — Я бы не смог.

— Не смог бы все выложить? Это проще, чем ты думаешь.

— Ты… намного больше, сильнее меня, — промямлил я.

— Как это? Я тебя не понял, Вождь.

В горле у меня пересохло, и я сглотнул.

— Ты больше и сильнее меня. Ты можешь это сделать.

— Я? Ты шутишь? Боже, глянь на себя: да ты на голову выше любого в отделении. Ты здесь кого угодно за пояс заткнешь, это точно!

— Нет. Я слишком маленький. Когда-то я был большой, а теперь нет. Ты в два раза больше.

— Эй, парень, ты сошел с ума. Я когда пришел сюда, сразу тебя увидел — сидишь такой здоровый в кресле, как гора. Ты знаешь, я много где побывал: на Кламате, и в Техасе, и в Оклахоме, и под Галлапом, и, клянусь, ты самый большой индеец, каких я только видел.

— Я из района ущелий Колумбии, — сказал я, а он ждал, когда я продолжу. — Мой папа был вождь, его имя Ти А Миллатуна. Это значит Самая Высокая Сосна На Горе, но мы жили не на горе. Когда я был ребенком, он был действительно большой. Мать стала в два раза больше его.

— Да, у тебя мамаша, должно быть, настоящий слон. И какая она?

— О-о… большая-большая.

— Я спрашиваю, сколько в ней футов и дюймов?

— Футов и дюймов? Как-то на празднике один посмотрел на нее и сказал: пять футов девять дюймов, а вес сто тридцать фунтов, но это потому, что он видел ее только мельком. А она станови-

лась все больше и больше.

— Ну да! И насколько больше?

— Больше, чем мы с папой вместе.

— Так ни с того ни с сего начала расти? Что-то новенькое, никогда не слышал про такое среди индианок.

— Она не была индианкой. Она городская, из Даллза.

— А фамилия ее как? Бромден? Ага, понимаю, подожди минуту. — Задумывается, потом говорит: — А когда городская выходит замуж за индейца, она выходит замуж за кого-то ниже себя, так? Ага, я, кажется, понял.

— Нет. Он стал маленьким не только из-за нее. Все на него давили, потому что он был большой, никому не уступал и делал все так, как считал нужным. Они давили на него, как сейчас давят на тебя.

— Они — это кто? — спросил он тихо, внезапно сделавшись серьезным.

— Комбинат. Много лет он давил на папу. Папа был большой и долго боролся с ними. Они хотели, чтобы мы жили в инспектируемых домах. Хотели забрать водопад. Они даже проникли в племя и давили на него изнутри. В городе его избивали в переулках, а один раз обрезали волосы. О-о,

Комбинат очень большой. Папа боролся с ними, пока мать не сделала его слишком маленьким, тогда он перестал бороться и сдался.

Макмерфи долго молчал. Потом приподнялся на локте, еще раз посмотрел на меня и спросил, почему папу избивали в переулках. Я сказал, что они хотели показать ему, что будет, если он не подпишет документы, по которым все переходит к правительству.

— И что он должен был отдать правительству?

— Все. Племя, деревню, водопад…

— Теперь я вспомнил, ты имеешь в виду водопад, где индейцы били острогой лосося, еще давно. Да-а. Но, насколько я помню, племени выплатили огромные деньги.

— Так они сказали и ему. А он спросил: «Сколько можно заплатить человеку за то, что он живет? И сколько можно заплатить человеку за то, что он — это он?» Они не поняли. И племя не поняло. Они стояли перед нашей дверью, у всех на руках были чеки, и спрашивали, что теперь делать. Все просили, чтобы он вложил их деньги куда-нибудь или сказал, куда идти, или купил ферму. Но он уже был маленький. И пьяный. Комбинат победил его. Они любого победят. И тебя тоже. Разве они допустят, чтобы где-то разгуливал та-

кой большой, как папа, если это не один из них? Ты понимаешь?

— Да-а, кажется, понимаю.

— Вот почему тебе не следовало разбивать это окно. Теперь они знают, что ты большой, и вынуждены объездить тебя.

— Как объезжают мустанга, а?

— Нет-нет, послушай. Они объезжают по-другому. Обрабатывают так, что нельзя бороться! Вставляют всякие штуки! Внутрь. Начинают сразу, когда видят, что ты становишься большим, тогда принимаются за работу: вживляют в тебя свою грязную технику, пока ты еще маленький, и так продолжают, продолжают, и вот ты готов!

— Спокойно, приятель, ш-ш-ш.

— А если сопротивляешься, то заставят…

— Не горячись, Вождь. Остынь, тебя услышали.

Он лег и затих. Постель моя стала горячей. Заскрипели резиновые подошвы — вошел черный с фонариком проверить, что за шум. Мы лежали, не шелохнувшись, пока он не ушел.

— В конце концов он спился, — прошептал я. Я уже не мог остановиться, мне нужно было рассказать все. — Последний раз я его видел мертвецки пьяным в кедровнике, и, когда он подносил бутылку ко рту, казалось, что это не он тянет из

нее, а она вытягивает из него последние силы: он так высох, сморщился и пожелтел, что даже собаки его не узнавали, и мы вынуждены были вывезти его из кедровника на пикапе в Портленд, умирать. Я не хочу сказать, что они его убили. Они сделали с ним что-то другое.

Я вдруг страшно захотел спать. Не было сил говорить. Еще раз подумал о том, что наговорил, и мне показалось, что совсем не это хотелось сказать.

— Я говорю не то, да?

— Да-а, Вождь, — повернулся он на кровати, — черт знает что такое.

— Я хотел сказать о другом. Я просто не могу словами выразить. Это не имеет смысла.

— Я не сказал, что в этом нет смысла, Вождь. Я только сказал, что это черт знает что такое.

После этого он опять надолго замолчал, я уже решил, что он уснул. Жаль, я не пожелал ему спокойной ночи. Я глянул на него, но он отвернулся от меня. Рука его лежала поверх простыни, и я видел на ней наколки из тузов и восьмерок. Она большая, подумал я, мои руки были такими же большими, когда я играл в футбол.

Хотелось протянуть руку и коснуться татуировки, проверить, жив ли он. Что-то он лежит

ужасно тихо, говорю себе, нужно коснуться его и проверить, не умер ли он…

Ложь. Я знаю, что он жив. Не для этого я хочу коснуться его.

Хочу коснуться его, потому что он человек.

Тоже ложь. Здесь есть и другие люди. Мог бы хотеть коснуться их.

Хочу коснуться его, потому что я… гомосек!

Неправда. Просто один страх прячется за другим. Если бы я был одним из этих, то хотел бы от него другого. Я хочу дотронуться до него потому, что он — это он.

И только я хотел протянуть руку, как он говорит: «Слушай, Вождь, — и поворачивается в постели в мою сторону вместе с одеялом. — Вождь, слушай, почему бы тебе не поехать вместе с нами завтра на рыбалку?»

Я не отвечаю.

— Ну, что скажешь? По моим расчетам, мероприятие будет — закачаешься. Знаешь, какие тетки приедут нас забирать? Они мне и не тетки вовсе, просто девочки, работают танцовщицами, я с ними познакомился в Портленде. Так что скажешь?

В конце концов пришлось сознаться, что я один из нуждающихся.

— Кто?

— На мели, понимаешь?

— А-а, — сказал он. — Да-а, я об этом не подумал.

Снова он минуту молчал, почесывая пальцем шрам на носу. Палец остановился. Он приподнялся на локте и посмотрел на меня.

— Вождь, — произнес он медленно, смерив меня взглядом. — Вот когда ты был нормальных размеров, когда в тебе были твои шесть футов семь или восемь дюймов и вес двести восемьдесят фунтов, ты мог, скажем, поднять что-нибудь размером с пульт управления в ванной?

Я прикинул в уме: пульт, вероятно, весит не больше тех бочек с маслом, которые мне пришлось тягать в армии, — и сказал ему, что когда-то, по всей видимости, мог.

— А если бы ты снова стал таким же большим, смог бы еще поднять его?

Я ответил, что, вероятно, да.

— К черту вероятно. Я хочу знать, сможешь ли ты поднять его, если мне удастся сделать тебя таким же большим, как раньше? Если обещаешь, то не только пройдешь мой специальный курс атлетизма за так, но и получишь десятидолларовую поездку на рыбалку — бесплатно! — Он

облизнул губы и откинулся на подушку. — И мне дашь хорошие шансы, это уж точно.

Он лежал и посмеивался над какой-то своей мыслью. Когда я спросил, как это он собирается сделать меня снова большим, он не дал мне договорить и приложил палец к губам.

— Такой секрет не выдают. Я же не сказал, что собираюсь рассказать как? Знаешь, накачать человека опять до нормальных размеров — это секрет, которым нельзя делиться: может попасть в руки врага. Да и ты вряд ли заметишь, что это уже происходит. Но даю тебе слово, будешь следовать моей программе тренировок, много чего добьешься.

Ноги его мелькнули в воздухе, он сел на край кровати и поставил руки на колени. Тусклый свет шел через его плечо из поста и освещал сверкнувшие в темноте зубы и один горящий глаз, которым он глядел на меня. Его бойкий голос аукционщика негромко разносился по палате.

— Представляешь, Большой Вождь Бромден чешет по бульвару. Мужчины, женщины, дети смотрят на него, задрав головы: ну и ну, что за великан меряет улицу шагами по десять футов и голову наклоняет под телефонными проводами? Топает по городу, останавливается только

ради девушек, а вы, остальные телки, даже не становитесь в очередь, разве что если у вас титьки как дыни и красивые, сильные, белые ноги, такие длинные, чтобы можно было обхватить его мощное тело и сцепить их на спине, да если из вас брызжет теплый сок, сладкий, как масло с медом…

Он все говорил и говорил в темноте, все раскручивал свой рассказ, как все мужчины будут бояться, а все девушки вздыхать обо мне. Потом сказал, что прямо сию минуту идет вписывать меня в свою рыбацкую команду. Он встал, снял полотенце с тумбочки, обмотал его вокруг бедер, надел кепку и остановился рядом с моей кроватью.

— Ого, парень, слушай, что я тебе скажу. Женщины сами будут тебя просить и ставить подножку, чтобы уложить на пол.

Неожиданно он вытянул руку, одним движением развязал на мне простыню и сбросил одеяло, оставив меня голым.

— Смотри-ка, Вождь. Хо! Что я говорил? Ты уже вырос на полфута.

Смеясь, вдоль ряда кроватей он направился в коридор.

* * *

Надо же, две шлюхи едут из Портленда, чтобы взять нас на рыбалку в море на катере! Трудно было улежать в постели до шести тридцати, когда зажигают свет.

Я первым вышел из спальни, чтобы глянуть на список, который все висел на доске объявлений рядом с дежурным постом, и проверить, действительно ли есть там моя фамилия. Большими буквами вверху было выведено: ЗАПИСЬ НА РЫБАЛКУ В ОТКРЫТОМ МОРЕ, потом стояла подпись Макмерфи. Сразу за ним первым номером шел Билли Биббит, третьим записался Хардинг, четвертым — Фредриксон, и так до номера десять, где никто еще не записался. Моя фамилия там была последней, напротив девятки.

Я и в самом деле еду на рыбацком катере вместе с двумя шлюхами!? Чтобы поверить в такое, я повторял это про себя снова и снова.

Трое черных протиснулись, встали впереди меня и начали читать список, водя по нему серыми пальцами; наткнулись на мою фамилию и обернулись с ухмылками:

— Ха, как ты думаешь, кто записал Вождя Бромдена на эту глупость? Индейцы не умеют писать.

— А с чего ты взял, что индейцы умеют читать?

В этот ранний час накрахмаленные белые костюмы еще сохраняли свежесть и жесткость, так что при движении их рукава шуршали, словно бумажные крылья. Они смеялись надо мной, а я изображал глухого и как будто ничего не понимал, но, когда они сунули мне швабру, чтобы я за них поработал в коридоре, я повернулся и пошел в спальню, говоря про себя: ну вас всех к черту. Тот, кто едет на рыбалку с двумя шлюхами из Портленда, не должен заниматься такой чепухой.

То, что я вот так ушел от них, немного меня напугало, потому что раньше я всегда выполнял их приказания. Я оглянулся и увидел, что они идут за мной со шваброй. Они бы так и пошли дальше в спальню и отловили бы меня, если бы не Макмерфи: он в это время устроил жуткий шум, носился между койками, орал и так махал полотенцем на тех, кто записался на поездку, что черные посчитали спальню небезопасным местом и не отважились заходить туда только ради того, чтобы заставить кого-нибудь убрать вместо себя в коридоре.

На рыжих волосах Макмерфи уже сидела мо-

тоциклетная кепка, которую он сдвинул вперед, чтобы походить на капитана, из-под рукавов майки выступала сингапурская татуировка. Он прохаживался по спальне, как по палубе корабля, и свистел в кулак, как в боцманскую дудку.

— Все наверх! Все наверх, а то я протащу вас под килем до самой кормы!

Он постучал костяшками пальцев по тумбочке Хардинга.

— Шесть склянок, полный порядок. Так держать. Свистать всех наверх. За хрен не держись, быстрей шевелись.

Заметил, что я стою в дверях, бросился ко мне, похлопал по спине, как в барабан.

— Посмотрите на Большого Вождя, вот пример настоящего матроса и рыбака: встал еще затемно и уже копает красных червей для наживки. Вы все, вшивые салаги, равняйтесь на него. Свистать всех наверх! Настал час! Марш с коек, выходим в море!

Острые ворчат и злятся на него и его полотенце. Хроники проснулись и вертят головами, которые у них посинели от недостаточного притока крови, потому что их слишком туго стягивали простыней, водят по спальне старыми водянистыми глазами, пока наконец не останавливаются на

мне, смотрят тоскливо и с любопытством. Наблюдают, как я надеваю теплую одежду для рыбалки, и под этими взглядами я чувствую себя неловко и виновато. По-видимому, они догадываются, что из всех хроников берут меня одного. Наблюдают за мной — эти старики, за долгие годы сросшиеся с колясками и катетерами вдоль ног, словно ползучими растениями, которые привязали их на всю жизнь к одному и тому же месту, — они наблюдают за мной и инстинктивно чувствуют: я еду. И даже немного мне завидуют. Они что-то учуяли, потому что человеческое в них погибло и верх берут, древние животные инстинкты (иногда ночью старые хроники неожиданно просыпаются, и, когда еще никто не знает, что в спальне кто-то умер, закидывают голову и воют), а завидуют, потому что еще что-то человеческое в них осталось и они кое-что все-таки помнят.

Макмерфи вышел взглянуть на список, потом вернулся и стал уговаривать записаться еще кого-нибудь из острых, ходил вдоль коек, где еще лежали некоторые, укрывшись с головой, стучал ногой в кровать, рассказывал, как это здорово побывать в пасти у шторма, когда кругом ревет океан, йо-хо-хо и бутылка рома.

Но никто не хочет. Все напуганы рассказами

Большой Сестры о том, какое сейчас бурное море и сколько за последнее время потонуло лодок; все шло к тому, что мы так и останемся без последнего члена экипажа, но вот через полчаса Водяной Джордж по фамилии Соренсен подошел к Макмерфи, когда мы ждали завтрака, стоя в очереди у двери столовой.

Высокий старый, беззубый и жилистый швед, Мойдодыр, как прозвали его черные, потому что он сдвинулся на чистоте, прошаркал через весь коридор, при этом отклоняясь так далеко назад, что ноги двигались впереди головы (таким образом он старался держаться как можно дальше от своих собеседников), затем остановился перед Макмерфи и пробормотал что-то себе в кулак. Джордж был очень стеснительным. Глаз его совсем не было видно, настолько глубоко они засели под бровями, остальные части лица он почти полностью закрывал большой ладонью. На самом верху его тела, которое больше походило на мачту, словно воронье гнездо, раскачивалась голова. Он продолжал бормотать себе в руку, пока Макмерфи, чтобы хоть что-то понять, взял да и не отвел ее в сторону.

— Ну, Джордж, о чем ты там говоришь?

— Красные черви, — продолжал тот. — Они не

годятся… только не для лосося.

— А? Красные черви? — переспросил Макмерфи. — Я бы, Джордж, может, что-нибудь и понял, если бы ты объяснил, что это за красные черви.

— Кажется, мне недавно послышалось, как ты сказал, что мистер Бромден копал красных червей для наживки.

— Да, папаша, точно.

— Вот я и говорю, что с червями у вас улова не будет. Как раз в этот месяц идет крупный лосось… точно. Сельдь вам нужна… точно. Несколько селедок для наживки — и будет отличный улов.

В конце каждого предложения интонация у него шла вверх, как будто он сомневался и спрашивал. Его большой подбородок, уже столько раз за утро скоблившийся, что даже кожа стерлась, пару раз кивнул Макмерфи, потом развернул все тело и потянул его за собой по коридору в конец очереди. Макмерфи дернулся:

— Слушай, Джордж, погоди; ты говоришь так, будто смыслишь в рыбной ловле.

Джордж повернулся и зашаркал обратно к Макмерфи, снова так сильно отклоняясь назад, что казалось, ноги сейчас уплывут из-под него.

— Еще бы, точно. Двадцать пять лет ходил на траулере за лососем, от залива Хаф-Мун аж до

Пьюджит Саунд. Двадцать пять лет рыбачил… и вот каким стал грязным.

Он вытянул руки вперед, показать, сколько грязи на них. Все наклонились, я тоже. Но вместо грязи я увидел глубокие шрамы на белых ладонях. Они вытянули из моря не одну тысячу миль рыболовного трала. С минуту он дал нам посмотреть, потом сжал руки в кулаки и спрятал в своей пижамной рубашке, как будто мы своим взглядом могли их загрязнить еще больше, и так стоял, улыбаясь Макмерфи своими деснами цвета вымоченной в рассоле свинины.

— У меня был хороший траулер, всего сорок футов, с осадкой двенадцать из настоящего крепкого дуба и тика. — Джордж покачивался взад-вперед, что казалось: он стоит не на полу, а на самой настоящей палубе. — Ей-Богу, это был хороший траулер!

Он начал было поворачиваться, чтобы уйти, но Макмерфи снова удержал его.

— Черт возьми, Джордж, почему же ты молчал, что был рыбаком? Я тут наплел всякого, строю из себя морского волка, но если между нами и этой стенкой, то единственный корабль, на котором я побывал, это линкор «Миссури», а о рыбе могу сказать только, что люблю ее есть больше, чем

чистить.

— Чистить легко, этому быстро можно научиться.

— Ей-Богу, Джордж, давай будешь нашим капитаном, а мы — твоей командой.

Джордж отстранился и отрицательно покачал головой.

— Все лодки страшно грязные… все грязное.

— Джордж, послушай. У нас катер специально полностью стерилизованный, отдраенный, как клык у собаки. Ты не измажешься, ты же будешь капитаном, тебе даже не придется надевать наживку на крючок. Только стань на капитанский мостик и командуй нами, зелеными салагами. Как ты смотришь на это?

По тому, как зашевелились под рубашкой руки Джорджа, я понял, что это предложение для него очень соблазнительно, и все же он отказался: мол, страшно, вдруг испачкается. Макмерфи старался изо всех сил, но тот мотал головой так же упорно, пока в замке наконец не щелкнул ключ; в коридоре возникла Большая Сестра со своей корзинкой, полной сюрпризов, прошла вдоль очереди, автоматически раздавая каждому по улыбке и «доброму утру». Джордж отстранился от нее, нахмурился, Макмерфи заметил это и, когда

она прошла, чуть наклонив голову на бок, лукаво посмотрел на Джорджа.

— Джордж, сестра говорила, что море неспокойное и нам опасно пускаться в дорогу. Это правда? Ты тоже так считаешь?

— Океан может быть ужасным, точно… ужасно неспокойным.

Макмерфи глянул вслед сестре, скрывшейся в дежурном посту, потом опять на Джорджа. Руки Джорджа под пижамой ходили ходуном, он видел, что все молча наблюдают за ним и ждут его ответа.

— Черт побери! — воскликнул он неожиданно. — Ты думаешь, она меня испугала этими своими сказками? Ты *это* подумал?

— Э-э, да нет, Джордж. Я только подумал, если ты не пойдешь с нами и шторм нас все-таки накроет, нам точно не выбраться самим, ты это понимаешь? Я же сказал, что ничего не смыслю в морском деле, так вот, добавлю еще: те две женщины, что едут за нами и о которых я сказал доктору, будто они мои тетки и вдовы рыбаков, совсем никакие не вдовы и если плавали куда, то разве что по бетонке. В передряге от них пользы не больше, чем от меня. Ты очень нужен нам, Джордж. — Макмерфи затянулся сигаретой и

добавил: — Кстати, десять долларов у тебя найдется?

Джордж отрицательно покачал головой.

— Нет? Я так и думал. Что ж, черт с ним, я уже давно отказался от мысли разбогатеть. На, держи. — Из кармана пижамной рубашки Макмерфи достал карандаш, вытер о рубашку и протянул Джорджу. — Будешь нашим капитаном — пойдешь за пятерку.

Джордж снова обвел нас всех взглядом, задвигал своими большими бровями, обдумывая ситуацию. Но вот его обесцветившиеся десны обнажились в улыбке, и он протянул руку за карандашом.

— Ей-Богу! — сказал он, взял карандаш и пошел записываться, заполнив последнюю строчку.

После завтрака, проходя по коридору, Макмерфи задержался у списка и печатными буквами после фамилии Джорджа вывел: КАП.

Шлюхи запаздывали. Все думали, они уже не приедут, как вдруг Макмерфи, ожидавший у окна, издал радостный вопль, и мы все бросились смотреть. Он сказал, что это они, но мы увидели одну машину, хотя рассчитывали на две, и всего одну женщину. Когда она припарковалась, Макмерфи через сетку окликнул ее, и она прямиком

по газону пошагала к нашему отделению.

Она была моложе и красивее, чем мы ожидали. Все уже знали, что вместо теток приедут шлюхи, и думали невесть что. Кое-кто из религиозно настроенных пациентов даже огорчился. Но, глядя, как она легкой походкой идет по траве, глядя на ее зеленые глаза, которыми она смотрела прямо на нас, на ее длинные перевязанные на затылке волосы, которые подпрыгивали при каждом ее шаге, словно медные пружинки, все мы только об одном и думали, что это женщина и она не одета в белое с ног до головы, будто инеем окутана, и то, как она зарабатывает деньги, не имеет значения.

Она подбежала прямо к сетке, за которой стоял Макмерфи, просунула пальцы в отверстия, уцепилась за сетку и прижалась к ней грудью. Она запыхалась от бега, и при каждом ее вдохе казалось, что ее грудь сейчас продавит сетку внутрь. Девушка всхлипывала.

— Макмерфи, черт эдакий, Макмерфи…

— Не обращай внимания. Где Сандра?

— Она занята, не может освободиться. Но ты-то, черт возьми, ты в порядке?

— Она, видите ли, занята!

— По правде говоря… — девушка шмыгнула

носом и хихикнула, — наша Сэнди вышла замуж. Помнишь Арти Джилфилиана из Бивертона? Вечно являлся на вечеринки с чем-нибудь ужасным — со змеей, белой мышью или еще какой-нибудь гадостью в кармане? Какой-то ненормальный..

— Боже милостивый! — застонал Макмерфи, — Кэнди, радость моя, ну как я посажу десятерых в один вшивый «фордик»? Неужели Сандра и ее красавец из Бивертона рассчитывали, что мне и это раз плюнуть?

Девушка задумалась, скорчила серьезную рожицу, но вдруг в потолке щелкнул динамик и голосом Большой Сестры сообщил Макмерфи, что, если он хочет поговорить со своей приятельницей, пусть она по всем правилам отметится и пройдет через главный вход, а не беспокоит всю больницу. Девушка отошла от сетки, направилась к главному входу, Макмерфи же плюхнулся в кресло в углу и повесил голову.

— Черт знает что такое, — проронил он.

Черный коротышка пропустил девушку в отделение, забыв запереть за ней дверь (готов поспорить, он потом за это здорово получил), и «тетка» Макмерфи легкой упругой походкой двинулась по коридору мимо дежурного поста, где все сестры единым ледяным взглядом пытались

заморозить ее упругость; она вошла в дневную комнату, лишь на несколько шагов опередив доктора. Тот шел к дежурному посту с какими-то бумагами, глянул на нее, потом на бумаги, затем снова на нее и начал обеими руками шарить в карманах, ища очки.

Пройдя в центр комнаты, она остановилась и увидела, что со всех сторон на нее пялятся сорок мужчин в зеленом. Стало так тихо, что можно было услышать, как урчат животы, а у всего ряда хроников катетеры выскакивают, как пробки.

Он стояла так с минуту, оглядываясь в поисках Макмерфи, так что все хорошо ее рассмотрели. Над головой у нее под потолком висел голубоватый дым, — должно быть, аппаратура во всем отделении не выдержала и сгорела; пытаясь настроиться на нее, когда она вот так ворвалась сюда, приборы начали снимать с нее показания и пришли к выводу, что справиться не в состоянии, поэтому просто перегорели, как кончают самоубийством машины.

На ней была майка с короткими рукавами, как у Макмерфи, только, конечно, поменьше, белые кроссовки и джинсы, обрезанные выше колен, чтобы было ногам свободно; одежды явно недоставало, чтобы находиться в обществе, особенно

если учесть, какие формы под ней прятались. Наверное, ее видели гораздо больше мужчин, когда она была гораздо менее одета, но тут она застеснялась, как школьница на сцене. Они глазели и молчали. Мартини все-таки прошептал, что можно различить дату на монетах в карманах ее джинсов, настолько они были в обтяжку, но он стоял ближе других и ему было видно лучше, чем нам.

Билли Биббит первым высказался вслух — он присвистнул каким-то тихим, почти скорбным свистом, который описал ее внешность лучше, нежели это сделал бы любой из нас словами. Она рассмеялась, сказала ему: «Большое спасибо», а он покраснел так, что и она покраснела вслед за ним и снова засмеялась. Это сняло всеобщее оцепенение. Острые тотчас потянулись к ней и заговорили все сразу. Доктор дергал Хардинга за рубашку, спрашивал, кто она такая. Макмерфи поднялся из своего кресла, направился к ней через толпу, и она, когда увидела его, бросилась к нему на шею со словами: «Макмерфи, черт эдакий», потом смутилась и снова покраснела. Когда она краснела, ей можно было дать не больше шестнадцати-семнадцати лет, клянусь.

Макмерфи со всеми ее познакомил, и каждо-

му она пожала руку. Когда очередь дошла до Билли, она снова поблагодарила его за свист. Из дежурного поста выскользнула Большая Сестра и с улыбочкой поинтересовалась у Макмерфи, как он собирается усадить всех десятерых в одну машину, тогда Макмерфи спросил, нельзя ли одолжить больничную машину и самому отвезти половину людей, на что сестра, как мы и думали, сказала нет и сослалась на какое-то правило. Она объяснила, что, пока не найдется еще один водитель, который распишется в том, что несет за нас полную ответственность, другая часть команды должна будет остаться. Макмерфи заявил, что это будет ему стоить чертовых пятьдесят долларов: придется вернуть деньги тем, кто не поедет.

— Тогда, может быть, — предложила сестра, — лучше вообще отменить поездку и вернуть все деньги.

— Ха, я уже арендовал катер; мои семьдесят долларов давно уплыли в карман другого!

— Семьдесят долларов? Как же так, мистер Макмерфи? Вы ведь говорили пациентам, что на поездку вам понадобятся сто долларов плюс десять своих.

— А заправка машин туда и обратно?

— Но ведь тридцать долларов для этого много-

вато, не правда ли?

Она сладко улыбнулась ему в ожидании ответа. Он воздел руки и поднял глаза к потолку.

— Ну, вы своего шанса не упустите, мисс прокурор. Да, лишнее я взял себе. И уверен, остальные знали об этом. Конечно, я рассчитывал немного заработать, за те хлопоты, которые я…

— Но ваши планы рухнули, — произнесла она, по-прежнему улыбаясь ему, полная сочувствия. — Не все ваши финансовые махинации должны быть успешными, Рэндл; в конце концов, если задуматься, вам и так слишком долго везло. — Она как бы начала размышлять обо всем этом. — Да. Почти каждый из острых пациентов в отделении раньше или позже дал вам долговую расписку, будучи участником той или иной вашей «сделки», так что не кажется ли вам, эту небольшую неудачу вы сможете легко перенести?

Вдруг она смолкла. Увидела, что Макмерфи ее больше не слушает. Он наблюдал за доктором, который забыл обо всем на свете и не мог оторвать глаз от майки на девушке. По мере того как Макмерфи видел, в какой транс впадал доктор, улыбка на его лице становилась все шире, и вот он сдвинул кепку на затылок, подошел к доктору сбоку и положил ему руку на плечо, при этом

доктор вздрогнул от неожиданности:

— Доктор Спайви, вам когда-нибудь приходилось видеть лосося на крючке? Самое свирепое зрелище на семи морях. Кэнди, дорогая, почему бы тебе не рассказать доктору о морской рыбалке и всяком таком прочем…

Макмерфи с девушкой обработали маленького доктора менее чем за минуту, и вот он уже запер свой кабинет и возвращается по коридору, по пути запихивая бумаги в портфель.

— Остальную часть работы я сделаю на катере, — бросил он сестре на ходу и так быстро прошел мимо нее, что она не успела ответить. За ним чуть медленнее последовала вся команда, с ухмылкой глядя на сестру, стоявшую в дверях дежурного поста.

Те острые, что не поехали с нами, собрались в дверях дневной комнаты, давали нам советы не приносить нечищеную рыбу, а Эллис снял свою руку с гвоздя на стене, попрощался с Билли Биббитом за руку и пожелал ему стать ловцом человеков.

Билли, глядя, как подмигивают ему медные заклепки на джинсах девушки, когда она выходила из дневной комнаты, ответил Эллису, что пошла бы к черту эта ловля человеков. Он догнал нас на

выходе, черный коротышка открыл нам дверь, запер за нами, и мы оказались на воле.

Солнце выглядывало из-за облаков, ярко освещая переднюю кирпичную стенку больничной клумбы с розами. Слабый ветерок срывал последние листья на дубах и аккуратно укладывал их у проволочной ограды. Кое-где на заборе сидели коричневые птички, и, когда порыв ветра бросал в них горсть листьев, птички вместе с ветром улетали прочь. Но сразу мне почудилось, что это листья, ударяясь об ограду, превращаются в птиц и улетают.

Стоял прекрасный осенний день с запахом костра, было слышно, как стучат по мячу дети, играя в футбол, как тарахтят маленькие самолеты, и казалось, все должны быть счастливы, находясь здесь, на воле, а не в больнице. Только мы стояли молчаливой группкой, руки в карманах, ждали, пока доктор подгонит свою машину, и наблюдали за горожанами, которые ехали на работу и сбавляли ход, чтобы поглазеть на сумасшедших в зеленом. Макмерфи видел, как неловко мы себя чувствуем, и старался поднять нам настроение, подшучивая над девушкой, дразня ее, но от этого настроение почему-то становилось еще хуже. Все думали о том, как было бы легче вернуться

в отделение и сказать, что сестра была права: при таком ветре море наверняка неспокойное и опасное.

Подъехал доктор, мы погрузились. Я, Джордж, Хардинг и Билли Биббит сели в машину с Макмерфи и девушкой, которую звали Кэнди, а Фредриксон, Сефелт, Скэнлон, Мартини, Тейдем и Грегори поехали с доктором вслед за нами. Все словно языки проглотили. Примерно в миле от больницы мы остановились у заправочной станции, и доктор тоже. Он вылез из машины первым, ему навстречу подпрыгивающей походкой, улыбаясь и вытирая тряпкой руки, вышел механик. Но вот он перестал улыбаться и прошел мимо доктора взглянуть, кто это там в машинах. Затем нахмурился и, все так же вытирая руки о промасленную тряпку, медленно двинулся назад. Доктор нервно поймал механика за рукав, вынул десятку и втолкнул ее тому между ладонями, словно сажал помидорную рассаду.

— Э-э, будьте добры, заправьте оба бака обыкновенным, — попросил доктор. Он, как и все остальные, вне стен больницы чувствовал себя не в своей тарелке. — Э-э, будьте добры.

— Эти в форме, — спросил механик, — они из больницы, которая у шоссе? — Он начал

оглядываться в поисках разводного ключа или чего-нибудь такого еще. Наконец придвинулся поближе к штабелю пустых бутылок из-под прохладительных напитков. — Вы, ребята, из сумасшедшего дома?

Доктор отыскал свои очки и тоже посмотрел на нас, как будто только что заметил нашу форму.

— Да. То есть нет. Мы, то есть они… действительно из сумасшедшего дома, но это… бригада рабочих, не больных, конечно, нет. Бригада рабочих.

Механик прищурился на доктора, потом на нас и пошел шептаться со своим напарником, который занимался ремонтом. С минуту они разговаривали, потом второй механик окликнул доктора и спросил, кто мы такие, доктор повторил, что мы рабочая бригада, и оба механика засмеялись. По их смеху я понял, что они все-таки решили продать нам бензин, но, скорее всего, слабый, грязный, разбавленный, да и стоить он будет в два раза дороже, и от этого настроение мое никак не улучшилось. Я видел, что у всех на душе было погано. Оттого что доктор солгал, мы почувствовали себя совсем плохо, не столько из-за вранья, сколько из-за правды.

К доктору, ухмыляясь, подошел второй меха-

ник.

— Вы сказали, вам нужен супер, сэр? Отлично. А как насчет, чтобы проверить масляные фильтры и дворники? — Он был выше своего напарника и наклонялся к доктору, как будто делился с ним секретом. — Вы знаете, по данным о дорожном движении восемьдесят восемь процентов машин нуждаются в замене масляных фильтров и дворников?

Улыбка его была покрыта нагаром, оттого что много лет он снимал свечи зажигания зубами. От этой улыбки доктор смутился окончательно, а механик продолжал наклоняться над ним и ждал, когда он признает, что его загнали в угол.

— А ваша бригада обеспечена солнцезащитными очками? У нас есть отличная последняя модель.

Доктор понял, что он у них на крючке. Но только он открыл рот, собираясь сдаться и сказать: «Да, все, что угодно», как раздался характерный шуршащий звук, когда верх машины начинает сдвигаться назад и складываться. Макмерфи сражался с крышей, которая слишком медленно складывалась гармошкой, пытался сдвинуть ее быстрее, чем это делало механическое устройство, и вовсю матерился. Он бил в медленно

уходящий верх, терзал его, и все видели, что он в бешенстве; изругав, измолотив и с трудом сдвинув гармошку на место, он перелез прямо через девушку и через борт, встал между доктором и механиком и, склонив голову набок, глянул прямо в закопченный рот.

— Так, Хенк, хватит, мы берем обыкновенный, как заказал доктор. Два бака. Все. Остальная мура — к черту. И берем со скидкой в три цента, потому что мы, дорогой, как никак государственная экспедиция.

Механика не так-то просто было сломить.

— Что? А мне показалось, профессор сказал, вы не пациенты?

— Слушай, Хенк, неужели не понятно? Это вежливая предосторожность, чтобы вы не сдрейфили сразу. Док не соврал бы, если бы вез обыкновенных пациентов, но мы не просто сумасшедшие, мы из отделения для психически ненормальных преступников, едем в тюрьму Сан-Квентин, где есть соответствующие условия для нашего содержания. Видишь того конопатого пацана? Теперь он выглядит так, будто сошел с обложки «Сэтердей ивнинг пост», а ведь невменяемый убийца, зарезал троих. У того, что рядом с ним, кличка пахан-псих, непредсказуем, как дикий кабан. А

вон большого видишь? Индеец, киркой забил насмерть шестерых, когда попытались надуть его, покупая ондатровые шкурки. Ну-ка, Вождь, встань, дай на тебя поглядеть.

Хардинг ткнул в меня большим пальцем, и я встал. Механик прикрыл глаза от солнца, окинул меня взглядом снизу вверх и ничего не сказал.

— Компания неприятная, согласен, — сказал Макмерфи, — но это законная, запланированная, санкционированная правительством экскурсия, и нам очень даже полагается скидка, как если бы мы были из ФБР.

Механик смотрел на Макмерфи, а тот зацепил большими пальцами за карманы, откачнулся назад и окинул его насмешливым взглядом поверх своего шрама на носу. Механик повернулся, проверил, на месте ли его приятель, то есть рядом со штабелем пустых бутылок, и снова с ухмылкой глянул на Макмерфи.

— Очень крутые ребята! Ты это хочешь сказать, рыжий? А нам лучше не высовываться и делать, что говорят, так? Послушай, рыжий, а ты там за что? Покушение на жизнь президента?

— Этого, Хенк, доказать не смогли. Получил срок по глупости. Убил одного на ринге, а потом, понимаешь, понравилось.

— Так ты из тех, про кого говорят: убийцы в боксерских перчатках? Да, рыжий?

— Нет, приятель, не так. Видишь ли, не смог привыкнуть к этим подушкам. Нет. Тот бой по телевизору из дворца не передавали: я больше в подворотнях боксирую.

Механик зацепил большими пальцами карманы, передразнивая Макмерфи.

— Ты больше похож на трепача из подворотни.

— А разве я говорил, что не люблю потрепаться? Но ты лучше посмотри сюда. — Он поднес руки к лицу механика, прямо к глазам, и медленно поворачивал их ладонями и суставами. — Ты когда-нибудь видел, чтобы у человека, который только *треплется*, были такие пожеванные и изрезанные грабли? Видел, Хенк?

Он долго держал руки перед лицом механика и ждал, когда тот что-нибудь скажет. Механик посмотрел на руки, потом на меня, снова на руки. Когда стало ясно, что сказать ему нечего, Макмерфи пошел от него к другому, который стоял, прислонившись к холодильнику с прохладительными напитками, выдернул у него из кулака докторскую десятку и зашагал к магазину рядом с заправочной.

— Значит так, подобьете бабки за бензин и

пришлете счет больнице, — крикнул он, оглядываясь. — А на эти деньги я куплю чего-нибудь перекусить ребятам. Это им вместо дворников и восьмидесятивосьмипроцентных масляных фильтров.

Когда он вернулся, все настолько расхрабрились, что, как бойцовые петухи, вовсю покрикивали на механиков: проверьте давление в запасном колесе, протрите окна, соскоблите птичий помет с капота, пожалуйста, как будто во всем, что произошло, была наша заслуга. Когда Билли не понравилось, как большой механик протер ветровое стекло, он тут же позвал его снова.

— Ты не вытер то м-м-место, где попал ж-ж-жук.

— Это не жук, — сказал тот угрюмо, соскребая пятно ногтем, — это птица.

Мартини закричал из другой машины, что это не могла быть птица.

— Если бы птица, то остались бы перья и кости.

Какой-то велосипедист остановился спросить, почему все в зеленой форме; какой-нибудь клуб? Хардинг тут же высунулся с объяснениями:

— Нет, друг мой. Мы сумасшедшие из больни-

цы по шоссе, из психокерамической, треснутые котелки человечества. Хотите, я расшифрую картинку Роршаха для вас? Нет? Вам нужно торопиться? Ах, он уехал. Какая жалость. — Хардинг повернулся к Макмерфи. — До этого я никогда не мог себе представить, что в душевных болезнях заключен такой аспект, как могущество, *могущество.* Только вдумайся: чем более человек психически ненормальный, тем более могущественным он может стать. Пример — Гитлер. И красота сводит нас с ума, разве не так? Здесь есть пища для размышлений.

Билли открыл банку пива для девушки, и она привела его в такое волнение своей светлой улыбкой и «спасибо, Билли», что он начал открывать банки всем подряд.

А голуби суетились и бегали по тротуару, заложив руки за спину.

Я сидел, потягивал пиво и ощущал себя здоровым и бодрым; слышал, как пиво проходит в меня: шшшт, шшшт — вот так. Я уже забыл, что могут существовать хорошие звуки и вкусы, например, звук и вкус текущего в тебя пива. Я сделал еще один большой глоток и начал искать глазами: что еще я забыл за двадцать лет?

— Ого! — воскликнул Макмерфи, отодвинув

девушку от руля и прижав ее к Билли. — Вы только посмотрите, как Большой Вождь налегает на огненную воду! — И рванул в самую гущу потока машин, а доктор сзади завизжал шинами, чтобы не отстать от нас.

Макмерфи показал нам, чего можно добиться, если иметь хоть чуть-чуть напускной храбрости и отваги, и нам казалось, что он научил нас, как этим пользоваться. Всю дорогу до побережья мы забавлялись тем, что изображали из себя храбрецов. Когда мы стояли у светофоров и люди пялились на нас и нашу зеленую форму, мы делали так же, как он: сидели прямо, уверенно, будто мы сильные и дерзкие парни, широко улыбались, смотрели им прямо в глаза, так что у них глохли моторы, слепли от солнца окна, а когда красный свет светофора сменялся зеленым, они не могли съехать с места, выведенные из душевного равновесия тем, что в каких-то трех футах от них разгуливала группа диких обезьян, а помощи поблизости не было никакой.

Так Макмерфи вел нас всех, двенадцать, к океану.

Мне кажется, Макмерфи лучше нас понимал, что наш храбрый вид был показным, потому что до сих пор ему так и не удалось нас рассмешить.

Наверное, он еще не понимал, почему мы не в состоянии смеяться, но он знал, что человек не может стать по-настоящему сильным, пока не научится видеть смешную сторону. В конце концов он так старался показывать нам смешную сторону вещей, что я начал задумываться, уж не слеп ли он, раз не видит другой стороны, а может быть, он вообще не способен понять, что такое народившийся смех, задушенный еще там, глубоко внутри. Может, и остальные не понимали этого, а только чувствовали давление различных лучей и частот со всех сторон, так что вынуждены были двигаться и сгибаться влево-вправо, вперед-назад, ощущая работу Комбината, — но я-то хорошо это понимал.

Это все равно что заметить перемены в человеке, с которым давно не виделся, а если видишь его каждый день, изо дня в день, конечно, ничего не заметишь, потому что меняется он постепенно. Так, на всем пути до побережья я наблюдал результаты деятельности Комбината, как все изменилось, пока меня здесь не было. Например, останавливается на станции поезд и выплевывает цепочку взрослых людей в зеркально одинаковых костюмах и штампованных шляпах, отложил, как личинки одинаковых насекомых,

каких-то полуживых существ, которые выходят — уф-уф-уф — из последнего вагона, потом раздается электрический гудок, и поезд движется дальше по угробленной земле, чтобы отложить личинки еще, в другом месте.

Или пять тысяч домиков за городом, наштампованных, абсолютно одинаковых, вытянувшихся цепочкой по холмам, только что с фабрики, даже еще сцепленных между собой, словно сосиски, тут же объявление: «ДОМИКИ „ЗАПАДНЫЙ УЮТ“ — ВЕТЕРАНАМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ», а ниже, по холму, игровая площадка, проволочное ограждение и другая вывеска: «ШКОЛА СВ. ЛУКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ» — там на акре мелкого гравия играют в «хлыст» пять тысяч ребят, одетых в зеленые вельветовые брюки и белые рубашки под зелеными свитерами. Цепочка мальчишек раздувается, изгибается, дергается, как змея, и каждый взмах этого хлыста отрывает маленького мальчика с краю, бросает его на ограждение, и он катится, словно перекати-поле. При каждом взмахе хлыста. Всегда тот же самый мальчишка, снова и снова.

Все эти пять тысяч детей живут в тех пяти тысячах домиков, что принадлежат мужчинам, сошедшим с поезда. Домики настолько похожие,

что дети, возвращаясь домой, часто по ошибке попадают в другие дома и другие семьи. И никто никогда этого не замечает. Они ужинают и ложатся спать. Единственный, кого замечают и узнают, — тот маленький мальчик, что на конце хлыста. Он постоянно в ссадинах и царапинах и, где бы ни появлялся всегда оказывается ни к месту. Он также не может расслабиться и посмеяться. Очень трудно смеяться, когда ощущаешь давление лучей, исходящих от каждой новой проезжающей машины или от каждого домика на твоем пути.

— Мы можем даже создать лобби в Вашингтоне, — рассуждал Хардинг, — организацию вроде национальной африканской ассоциации душевнобольных. Группы оказания давления. Большие рекламные щиты вдоль шоссе, на них — придурковатый шизофреник, управляющий машиной для сноса зданий, и крупным красно-зеленым шрифтом слова: «НАНИМАЙТЕ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ». У нас радужные перспективы, джентльмены.

Мы переехали мост через Сиуслоу. В воздухе висела водяная пыль, и я на язык почувствовал вкус океана раньше, чем мы его увидели. Все понимали, что находимся рядом, и до самого

причала уже не проронили ни слова.

У капитана, который должен был взять нас в море, лысая серая металлическая голова выступала из высокого ворота черного свитера, как орудийная башня на подводной лодке; он обвел нас потухшей сигарой, торчавшей изо рта, словно дуло. Стоя рядом с Макмерфи на деревянном причале, он разговаривал и смотрел в море. Позади него, несколькими ступеньками выше, на скамейке у двери магазинчика, торгующего рыбной наживкой, сидели человек шесть или восемь бездельников в штормовках. Капитан говорил громко, обращаясь и к ним, находившимся у него с одной стороны, и к Макмерфи, стоявшему с другой стороны, а свой громыхающий голос направлял куда-то посередине.

— Меня это не волнует. Я специально предупредил вас в письме. Без заверенного отказа от судебных преследований, который бы наделял меня соответствующими полномочиями, я в море не выйду. — Его круглая голова в орудийной башне свитера повернулась, нацелившись сигарой в нас. — Вы только посмотрите. Не дай Бог такую компанию в море — они же попрыгают с корабля, как крысы. Потом родственники в суде разорят меня до последнего цента. Я не могу так

рисковать.

Мармерфи объяснял, что документы должна была оформить другая девушка в Портленде. Один из бездельников, подпиравших затылками магазин с приманкой, крикнул:

— Какая еще другая? Разве блондинка с вами одна не управится?

Мармерфи пропустил это мимо ушей и продолжал спорить с капитаном, но девушку слова явно задели. Бездельники у магазина съедали ее глазами и, несомненно, перемывали ей косточки, наклоняясь друг к другу. Вся наша команда видела это, даже доктор, и всем было стыдно, оттого что мы ничего не могли сделать. Мы уже не были больше теми храбрецами, как на заправочной станции.

Макмерфи прекратил спорить, когда понял, что это бесполезно, пару раз оглянулся и взъерошил рукой волосы.

— Какой катер мы сняли?

— Вон тот. «Жаворок». Но ни один человек не ступит на него, пока я не получу документ, освобождающий меня от ответственности. Ни один.

— А я не собираюсь, сняв катер, сидеть весь день и наблюдать, как он качается у причала, — сказал Макмерфи. — Есть у вас телефон в этой

будке с приманкой? Пошли разберемся.

Они застучали ногами вверх по лестнице, туда, где находился магазин, зашли внутрь, и мы остались стоять одни, жалкой кучкой, а компания бездельников сверху разглядывала нас. Они бросали в нашу сторону обидные реплики, хихикали, толкали один другого локтем в бок. Ветер водил пришвартованные катера из стороны в сторону, тер их носами о мокрые резиновые покрышки, развешенные вдоль причала, и они издавали такой звук, что казалось, смеются над нами. Под досками хихикала вода; над дверью магазина табличка с надписью: «Морские услуги — кап. БЛОК, ВЛАД.» пищала и скрипела, когда ветер раскачивал ее на ржавых крючьях. Ракушки, облепившие сваи на четыре фута над водой, до уровня прилива, свистели и щелкали на солнце.

Ветер стал холодным, неприятным. Билли Биббит снял свою зеленую куртку, отдал девушке, она надела ее поверх тонкой короткой майки. Один из бездельников все кричал и кричал сверху:

— Эй, блондинка, тебе нравятся такие сладкие мальчики? — Губы у него были цвета почек, а под глазами, где ветер выдавил прожилки наверх, отпечатались багровые круги. — Эй, послушай, блондинка, — звал он и звал сверху высоким

уставшим голосом, — эй, блондинка… эй, блондинка… эй, блондинка…

Мы еще теснее сбились под ветром.

— Послушай, блондинка, а ты здесь за что?

— А она не с ними, Перси, она у них вместо лекарства!

— Это правда, блондинка? Тебя прописали им вместо лекарства? Эй, блондинка.

Она подняла на нас голову и посмотрела так, будто спрашивала: куда подевались наш задор и храбрость? Почему ее никто не защищает? Все опускали глаза, никто не мог ей объяснить, что вся наша храбрость только что поднялась по ступенькам, обняв за плечи лысого капитана.

Она поставила повыше воротник куртки, крепко обняла себя за локти и медленно побрела по причалу подальше от нас. Никто за ней не пошел. Билли Биббит ежился от холода и кусал губы. Бездельники около магазинчика пошептались и снова громко расхохотались.

— Спроси ее, Перси, давай.

— Эй, блондинка, а у них есть заверенный документ о твоих полномочиях? Мне сказали, родственники могут обратиться в суд, если кто-нибудь из них утонет. Ты об этом подумала? Может, лучше останься с нами, блондинка?

— Правильно, блондинка. Мои родственники в суд не обратятся. Обещаю. Оставайся с нами, блондинка.

Вдруг я почувствовал, что ноги мои промокают и причал от стыда уходит под воду. Мы не годимся для того, чтобы жить среди людей. Скорее бы вернулся Макмерфи, выдал хорошенько этим бездельникам и отвез нас назад, где нам место.

Мужик с почечными губами сложил нож, встал, отряхнул с колен стружки и двинулся к ступенькам.

— Слушай, блондинка, ну зачем тебе возиться с этими дубами?

Она повернулась, посмотрела через весь причал на него, потом на нас, было видно, обдумывает его предложение. В этот момент открылась дверь магазина, показался Макмерфи, прошел мимо бездельников и начал спускаться вниз по ступенькам.

— Команде грузиться, все улажено! Топливо есть, все готово, наживка и пиво на борту.

Он хлопнул Билли по заду, изобразил сигнал боцманской дудки и начал отвязывать канаты.

— Капитан Блок говорит по телефону, сейчас выйдет, и мы отплываем. Джордж, посмотри, может, прогреешь двигатель? Скэнлон и Хардинг,

отвяжите канат. Кэнди! Ну что ты там делаешь? Спеши, дорогая, мы отчаливаем.

Мы двинулись к катеру, довольные тем, что наконец отвяжемся от бездельников, стоявших в рядок у магазина. Билли взял девушку за руку и помог ей подняться на борт. Джордж склонился над приборной доской на мостике, мурлыкал что-то и показывал Макмерфи, какие кнопки крутить и нажимать.

— А-а, эти пукалки! Пукающие катера, как мы их называем, — говорил он Макмерфи, — они простые, все равно что автомобилем управлять.

Доктор колебался, не решаясь подняться на катер, и оглядывался на магазин, откуда по ступенькам двинулись бездельники.

— Рэндл, вам не кажется, что лучше подождать… пока капитан…

Макмерфи взял его за лацканы пиджака и поднял на катер прямо с причала, словно маленького мальчика.

— Что, док? — спросил он. — Подождать, пока капитан *что?* — Он рассмеялся, как пьяный, и заговорил нервно и возбужденно: — Подождать, пока капитан выйдет и скажет, что я дал ему телефон ночлежки в Портленде? Еще чего! Джордж, хватит наблюдать, принимай эту штуку и уводи

нас подальше отсюда! Сефелт, отвязывай канат и лезь на борт. Джордж, ну давай же.

Мотор кашлянул и смолк, снова кашлянул, как будто прочистил горло, и заревел на полных оборотах.

— У-у-у-у! Поехали. Подбрось-ка угольку, Джордж. Всем по местам, готовиться к отражению абордажников!

Позади катера забурлило ущелье из белого дыма и воды; дверь магазина с приманкой с треском распахнулась — голова капитана вылетела оттуда и с ревом понеслась по ступенькам, казалось, она тащит за собой не только его тело, а и всех восьмерых бездельников тоже. Они неслись, громыхая, по причалу, но у самого их носа ноги им окатило кипящей пеной — это Джордж круто развернул катер от причала и двинул вперед, в открытое море.

От резкого поворота катера Кэнди упала на колени, а Билли помогал ей подняться и одновременно пытался извиниться за наше поведение на пристани. С мостика спустился Макмерфи, спросил, не уединиться ли им, чтобы поговорить о прошлом, Кэнди взглянула на Билли, но тот лишь качал головой и заикался. Макмерфи сказал, что в таком случае они с Кэнди спустятся

вниз, проверят, нет ли течи, а остальные пусть занимаются своими делами. Он стал в дверях, что вели вниз, в каюту, отдал честь, подмигнул, назначил Джорджа капитаном, Хардинга первым помощником, сказал: «Продолжайте, матросы,» — и исчез вслед за девушкой.

Ветер улегся, солнце поднялось выше и, словно хромом, покрыло всю восточную часть темно-зеленой зыби. Джордж полным ходом вел катер дальше, в открытое море, и вот уже почти исчезли из вида пристань и магазин с наживкой. Когда мы прошли оконечность пристани и последний черный камень, я почувствовал, как на меня накатывается великое спокойствие, и чем дальше оставалась земля, тем сильнее становилось это чувство.

Еще несколько минут все взволнованно обсуждали угон катера, но потом успокоились. Один раз дверь кабины на короткое время открылась, рука вытолкнула ящик с пивом, открывалкой, которая нашлась в ящике с инструментами, и Билли вскрывал и передавал каждому по одной. Мы пили, наблюдая, как земля за нами уходит под воду.

Примерно в миле от берега Джордж сбавил ход до — как он выразился — самого малого с

волочением живца и приставил четырех человек к четырем удочкам на корме, остальные разлеглись на солнце на крыше каюты и на носу катера, сняли рубашки и наблюдали, как эти четверо налаживают удочки. Хардинг установил порядок рыбной ловли: вытащил рыбу — передай удочку другому. Джордж стоял у штурвала, щурился, глядя через покрытое высохшей солью ветровое стекло, и выкрикивал указания стоящим на корме: как крепить катушки и лески, как насаживать живца, далеко ли забрасывать и на какую глубину.

— Теперь удочка номер четыре. Подцепи к тросу двенадцать унций съемным устройством — сейчас покажу как, — и этой удочкой возьмем очень большого с самого дна, ей-Богу.

Мартини подбежал к борту, перегнулся, глянул в воду, туда, куда ушла его леска.

— Ух ты. Ух ты, Боже мой, — простонал он, но что он там заметил, на глубине, нам не было видно.

Вдоль побережья плавали и другие рыболовные катера, но Джордж не хотел присоединяться к ним, он держал прямо, мимо них, в открытое море.

— Мы идем туда, где работают промысловики,

там настоящая рыба.

Волны катились мимо: темно-изумрудные с одной стороны, хромированные с другой. Никаких звуков, только гудение и тарахтенье двигателя: то исчезнет, то опять слышится — это выхлопная труба то опустится в воду, то поднимется на волне, да еще странный затерянный крик маленьких взъерошенных черных птиц, которые плавали вокруг и спрашивали друг у друга, куда плыть. Больше ничего не слышно. Некоторые из наших заснули, другие смотрели на воду. Почти час мы уже рыбачили, таская живца, вдруг удилище Сефелта изогнулось и нырнуло в воду.

— Джордж! Боже, Джордж, помоги!

Джордж и думать не хотел браться за удочку, лишь ухмыльнулся, посоветовав ослабить натяжение тормозного барабана и держать кончик удилища вверх, *вверх* — дать жару этой громадине в воде.

— А если со мной случится припадок? — завопил Сефелт.

— Тогда посадим тебя на крючок и используем в качестве приманки, — сказал Хардинг. — Тяни же ее, тяни, как приказал капитан, и перестань думать о припадке.

В тридцати ярдах за кормой рыба выскочила

из воды, блеснула на солнце дождем серебристая чешуя, Сефелт вытаращил глаза от восторга и удивления и так разволновался, что опустил удилище вниз, леска щелкнула и отскочила на палубу, как резинка.

— *Вверх!* Я же тебе говорил! Зачем позволил ей тянуть напрямую, неужели непонятно? Держи кончик вверх… *вверх*! У тебя был здоровенный кижуч, ей-Богу!

У Сефелта побелел и задрожал подбородок, когда он передавал удочку Фредриксону.

— На, бери… но если тебе попадется рыба с крючком во рту, то это моя проклятая!

Как и остальных, меня охватило волнение. Я не ожидал многого от рыбалки, но, когда увидел, с какой стальной силой лосось тянул леску, я слез с крыши каюты, надел рубашку и стал с нетерпением ждать своей очереди.

Скэнлон начал собирать ставки на самую большую рыбу и на первую пойманную, по четыре монеты с каждого участника, и не успел он положить деньги в карман, как Билли поймал какое-то жуткое страшилище, что-то вроде десятифунтовой жабы с колючками на спине, как у дикобраза.

— Это не рыба, — заявил Скэнлон. — Выигры-

шем считаться не может.

— Но это же не п-п-птица.

— Эта штука — морская треска, — объяснил Джордж. — Хорошая съедобная рыба, если срезать с нее бородавки.

— Поняли? Тоже рыба. Давай п-п-плати.

Билли отдал мне удочку, взял деньги и, посматривая на закрытую дверь, с печальным видом присел рядом с каютой, где находились Макмерфи и девушка.

— Ж-ж-жаль, у нас удочек на всех не хватает, — сказал он и откинулся на спину.

Я сидел, держал удочку, смотрел, как леска тянется за нами следом, дышал глубоко и, принюхиваясь к воздуху, чувствовал, как выпитые мною четыре банки пива закорачивают десятки контрольных проводков где-то внутри меня: повсюду вспыхивают и мигают хромированные бока волн.

Джордж пропел нам смотреть вперед, мол, к нам приближается то, что мы ищем. Я наклонился, начал осматриваться, но увидел лишь медленно плывущее бревно и черных морских чаек, которые кружились и ныряли вокруг него, словно черные листья, попавшие в дьявольские водоворот. Джордж прибавил пару узлов и на-

правил катер туда, где кружились птицы, леску мою натянуло так, что я уже и не знал, смогу ли заметить, что клюнуло.

— Эти ребята, бакланы, следуют за косяком угольной рыбы, — объяснял нам Джордж. — Маленькие белые рыбки величиной с палец. Когда ее высушишь, она горит как свечка. Это кормовая рыба-помощник: ими кормятся кижучи. Где большой косяк угольной рыбы, можешь быть уверен, кижуч где-то рядом.

Он направил катер в самую середину стаи, прошел рядом с бревном, и неожиданно вокруг меня гладкие хромированные склоны разлетелись вдребезги под натиском ныряющих птиц, рыбной мелюзги, вспенивающей воду, и все это пронизали насквозь лоснящиеся спины лососей, похожие на торпеды. Я видел, как одна из спин остановилась, развернулась и сиганула в то самое место, примерно в тридцати ярдах от моей удочки, где, я предполагал, должна сидеть на крючке селедка. Я подобрался, сердце у меня забилось, и вот обеими руками я почувствовал рывок, как будто кто-то ударил по удочке бейсбольной битой. Леска, обжигая палец, пошла раскручиваться с катушки, окрашиваясь в красный как кровь цвет.

— Включи тормозную звездочку, — крикнул

мне Джордж.

Но я не имел ни малейшего понятия о тормозных звездочках и все сильнее давил большим пальцем, пока леска снова не стала желтой, потом она начала сматываться медленнее и остановилась. Я оглянулся: три остальные удочки хлестали так же, как и моя, тех, кто не рыбачил, смело с крыши каюты, и они в волнении бросились к нам, всячески мешаясь под ногами.

— Вверх, вверх, держите конец вверх, — вопил Джордж.

— Макмерфи! Вылазь скорей сюда и посмотри, что делается.

— О Господи, Фред, ты поймал мою рыбу!

Я услышал его смех и краешком глаза увидел, что он стоит в дверях каюты, не собираясь никуда идти, а я согнулся над своей рыбиной и был так занят, что даже не мог попросить его о помощи. Все кричали ему, чтобы он что-нибудь сделал, но он не двигался с места. Даже доктор с донной удочкой просил Макмерфи помочь. Но тот только смеялся. Наконец Хардинг понял, что Макмерфи и не думает ничего делать, схватил багор и ловким, точным движением, будто всю жизнь этим занимался, перебросил мою рыбину в катер. Здоровенная, как моя нога, подумал я, как столб!

Я прикинул: такую огромную на водопаде никто не вытаскивал. Она скачет на дне катера, как сумасшедшая радуга! Измазала всех кровью, разбрасывает чешую, словно серебряные монетки, и я боюсь, как бы она не перепрыгнула через борт. А Макмерфи по-прежнему не двигается с места. Скэнлон бросается на рыбину и прижимает ее ко дну палубы, чтобы не выскочила за борт. Снизу, из каюты, мчится девушка, кричит, что теперь ее очередь, черт побери, хватает мою удочку и, пока я пытаюсь привязать для нее селедку, успевает трижды подцепить меня крючком.

— Вождь, черт возьми, ну что ты так долго возишься! Э, да у тебя из пальца кровь. Неужели это чудище укусило? Кто-нибудь, завяжите Вождю палец, да побыстрее!

— Сейчас еще раз пройдем через них, — кричит Джордж, а я бросаю лесу за корму и вижу, как селедка сверкнула, исчезла в серо-синем броске лосося и леса с шипением уходит в воду. Девушка обеими руками обнимает удилище, скрипит зубами:

— О нет, не смей, черт тебя побери! О нет!..

Удилище она зажала между ног, руками обхватила катушку снизу, катушка крутится, и леска скручивается, бьет ручкой по телу.

— О, прекрати!

На ней по-прежнему зеленая куртка Билли, но катушкой ее расстегнуло, и все видят, что из одежды там больше ничего нет, все таращат на нее глаза, тянут своих рыб, стараясь не наступить на мою, которая скачет и бьет хвостом по дну катера, а под ударами рукояти катушки ее грудь вибрирует с такой скоростью, что сосок мгновенно расплывается в большое красное пятно.

Ей на помощь прыгает Билли. Но почему-то обхватил ее сзади и лишь сильнее прижимает удилище к ее груди, пока катушка наконец не останавливается, прижатая к телу. К этому времени девушка так напряглась и ее грудь выглядит такой твердой, что мне кажется, даже если они вдвоем отпустят руки, удилище останется на месте.

Такая неразбериха продолжается довольно долго, хотя на море это секунда — все бранятся, упираются, вопят, стараются следить за своей удочкой и в то же время глазеют на девушку, тут же, на палубе продолжается кровавая схватка Скэнлона с моей рыбой; лески перепутались и ходят в разные стороны; очки доктора зацепились шнурком за чью-то леску и висят за кормой в тридцати футах, рыбины выпрыгивают из воды,

их притягивают блестящие на солнце линзы; девушка ругается на чем свет стоит и смотрит на свою голую грудь — одна белая, другая красная и горит огнем; Джордж перестал смотреть, куда правит, катер наскакивает на бревно, и мотор глохнет.

А Макмерфи хохочет, падает спиной на крышу каюты, смех его летит над морем, разносится в разные стороны; он смеется над девушкой, над нами, над Джорджем, оставшимся на причале, над велосипедистом, механиками с заправочной станции, над пятью тысячами домиков, над Большой Сестрой — над всем этим. Смеется, потому что понимает: нужно смеяться над всем, что причиняет боль, чтобы сохранить равновесие, чтобы мир не свел тебя с ума. Он, конечно, знает и другую сторону жизни: да, я поранил палец, а его девушка ушибла грудь, да, доктор остался без очков, но нельзя позволить боли заслонить смешное, как нельзя позволить, чтобы смешное заслонило боль.

Я вижу, что Хардинг упал рядом с Макмерфи и тоже смеется. И Скэнлон на дне катера. Смеются над собой и над всеми нами. И девушка, которая мучительно переводит взгляд с белой груди на красную, — тоже начинает смеяться. И Сефелт, и

доктор, и все остальные.

Смех начинался медленно, но потом стал разрастаться, наполняя людей и делая их все больше и больше. Я смотрел и думал, что я как будто смеюсь вместе с ними, но в то же время я уже и не с ними. Меня унесло с катера, я плыву куда-то над морем, лечу по ветру вместе с этими черными птицами, парю высоко над собой и, когда смотрю вниз, вижу себя и всех остальных, вижу катер, который качается среди ныряющих птиц, вижу Макмерфи, окруженного дюжиной своих людей, наблюдаю за ними, охваченными смехом, который бежит по воде кругами, все дальше и шире, и вот он уже выплеснулся на пляжи побережья, на пляжи по всем побережьям, и волна за волной накатывается на них.

Доктор наконец подцепил что-то у дна на свою удочку; все, за исключением Джорджа, уже поймали и втащили на катер по рыбине, а доктору только удалось подвести свою добычу ближе к поверхности, мы даже увидели ее — нечто белое появилось из воды на миг и тотчас ушло вглубь, несмотря на все попытки доктора удержать его. Каждый раз, когда он подводил рыбу близко к поверхности, приподнимая удочку и наматывая катушку, при этом упрямо кряхтя и отказываясь

от помощи, — всякий раз она, увидев свет, тут же уходила на глубину.

Джордж решил больше не запускать мотор и спустился к нам; показал, как чистить рыбу, чтобы чешуя летела за борт, как выдирать жабры, чтобы у мяса не ухудшился вкус.

Макмерфи взял четырехфутовую веревку, привязал к ее концам по куску мяса и метнул в воздух, две кричащие птицы закружились над ней, «пока их смерть не разлучит».

Вся корма и почти все люди были обляпаны кровью и серебристой чешуей. Кое-кто снял рубашку и, свесившись через борт, полоскал ее в воде, пытаясь отстирать. Так незаметно прошло время до обеда: еще немного порыбачили, допили второй ящик пива, кормили птиц, а катер лениво покачивался на волнах, и доктор все возился со своим чудовищем с глубины. Поднялся ветер, разбил море на зеленые и серебристые осколки, превратив его в поле из стекла и хрома, и катер сердито забросало с волны на волну. Джордж посоветовал доктору побыстрее вытаскивать рыбу или резать леску, потому что погода обещает испортиться. Доктор не отвечал. Он только сильнее потянул удочку, наклонился вперед, выбирая катушкой леску, и снова потянул.

Билли с девушкой забрались на нос, разговаривали и смотрели сверху на воду. Билли увидел что-то необычное и закричал нам, мы все бросились смотреть. Действительно, на глубине десяти-пятнадцати футов медленно вырисовывались контуры чего-то широкого и белого. Странно было наблюдать, как оно поднимается: сначала просто светлое пятно, потом что-то явно белое, словно туман под водой, который вдруг начинает твердеть и оживать…

— Боже праведный! — воскликнул Скэнлон. — Это же рыба доктора!

Сам доктор находился у противоположного борта, но, глядя на леску, мы поняли, что она тянется к этой бесформенной массе под водой.

— Нам ни за что не вытащить ее на катер, — заявил Сефелт. — Да и ветер крепчает.

— Это большой палтус, — объяснил Джордж. — Иногда они весят по двести, триста фунтов. Чтобы их поднять, нужна лебедка.

— Придется резать леску, док, — сказал Сефелт и обнял доктора за плечи.

Доктор снова ничего не ответил; пиджак между лопатками у него пропотел насквозь, глаза сделались красные, оттого что долгое время он был без очков. Он продолжал тянуть, пока рыба

не выплыла с его стороны. Несколько минут мы наблюдали, как она приближается к поверхности, потом начали готовить веревку и багор.

Но только через час мы смогли втащить ее на катер. Кроме багра, пришлось подцепить ее крючками остальных трех удочек, а Макмерфи перегнулся через борт, схватил рукой ее за жабры, и наконец после долгих усилий она скользнула в катер, прозрачно-белая, плоская, и шлепнулась на дно вместе с доктором.

— Это было *что-то*! — Доктор тяжело дышал, не в силах подняться и сбросить с себя огромную рыбину. — Это уж точно… что-то необыкновенное.

Весь обратный путь катер взлетал на волнах и скрипел, а Макмерфи кормил нас мрачными историями о кораблекрушениях и акулах. Ближе к берегу волны стали еще выше, с гребней ветер срывал клочья белой пены, закручивал их и бросал вверх, к чайкам. Проход к причалу прочесывали волны выше катера, и Джордж приказал надеть спасательные жилеты. Я заметил, что в море не осталось ни одного катера.

У нас не хватило трех спасательных жилетов, и возникла ссора, кто будут те трое, которым предстоит новое испытание на воде. Ими в конце

концов стали Билли Биббит, Хардинг и Джордж, который отказался надевать жилет, потому что тот грязный. Все были несколько удивлены, что среди добровольцев оказался Билли: когда выяснилось, что у нас не хватает спасательных жилетов, он сразу же снял свой и надел его на девушку, но еще больше все удивились тому, что Макмерфи не захотел быть одним из героев; в течение всех этих споров он стоял, прислонившись спиной к каюте, чтобы не упасть при качке, и молча смотрел на остальных. Просто смотрел и улыбался.

До пристани было рукой подать, когда вдруг мы оказались в водяном ущелье, нос катера смотрел на шипящий гребень волны, которая шла перед нами, а корма — на впадину, скрытую в тени следующей волны, надвигающейся на нас сзади. Все стояли за рубкой, крепко держались за поручни и смотрели то на преследовавшую нас водяную гору, то на черные камни мола, футах в сорока слева, то на Джорджа у штурвала. А тот возвышался, как мачта, крутил головой назад и вперед, давал полные обороты, сбрасывал ход, снова врубал на полную катушку, постоянно удерживаясь на склоне идущей впереди волны, которая тащила катер на себе. Еще в самом на-

чале он объяснил нам, что, если мы перевалим через гребень и окажемся впереди, нас понесет вперед и мы потеряем управление, потому что руль и винт поднимутся над водой, а если сбавим ход, волна сзади накроет нас и обрушит на катер тонн десять воды. Поэтому никто не шутил и не смеялся над тем, как он крутит головой назад и вперед, словно она крепится на шарнирах.

В районе пристани волна улеглась, и у нашего причала под магазином, у самой кромки воды, мы увидели капитана с двумя полицейскими. За ними толпились все бездельники. Джордж несся прямо на них, не сбавляя хода, и капитан не выдержал, начал махать руками, кричать, а полицейские вместе с бездельниками бросились вверх по ступеньках. Когда, казалось, нос катера вот-вот разворотит весь причал, Джордж крутанул штурвал, резко дал полный назад и с мощным ревом аккуратно и мягко приткнул катер к резиновым покрышкам, будто уложил его в постель. Прежде чем волна от катера догнала нас, мы уже стояли на причале и крепили концы. Она тем временем подняла все пришвартованные катера, шлепнулась на причал и покрыла пеной пристань, словно мы привели с собой сюда море.

Капитан, полицейские и бездельники с топотом

бросились обратно вниз, по ступенькам. Доктор первым атаковал их, заявив полицейским, что мы не подпадаем под их юрисдикцию, так как являемся законной и государственной экспедицией, и если кто может заниматься разбирательством этого дела, то разве что федеральное ведомство. Кроме того, если капитан действительно хочет неприятностей, можно провести расследование по поводу количества спасательных жилетов на борту катера. Разве в соответствии с законом не должно быть жилетов столько же, сколько людей на борту? Тут выяснилось, что капитан не в состоянии оправдаться, тогда полицейские записали несколько фамилий и ушли, что-то бормоча, окончательно сбитые с толку. Как только их не стало, Макмерфи и капитан начали спорить и толкать друг друга. Оказалось, что Макмерфи все еще порядком пьян и с трудом держится на ногах, он дважды поскальзывался на мокрых досках причала и падал в океан, пока наконец не обрел устойчивость, после чего врезал капитану, хотя и не попал, а только скользнул по лысой голове, но таким образом окончательно решил спор. Всем сразу стало веселее, капитан с Макмерфи вместе пошли в магазинчик за пивом, а мы начали выгружать свой улов из трюма. Бездельники

стояли чуть выше, наблюдали за нами и курили самодельные трубки. Мы ждали, когда они снова скажут что-нибудь обидное о девушке, по правде говоря, даже надеялись на это; вот один из них наконец заговорил, но речь пошла совсем о другом: о том, что он в жизни своей еще не встречал такого палтуса, среди улова здесь, на орегонском побережье. Остальные кивали, соглашаясь, что это правда. Они придвинулись бочком, чтобы взглянуть на рыбину. Спросили у Джорджа, где он так научился причаливать катер, и мы узнали, что Джордж не только рыбачил, но и был капитаном сторожевого катера на Тихом океане и получил Военно-морской крест.

— Мог бы работать в государственном учреждении, — сказал один из бездельников.

— Очень грязно, — ответил ему Джордж.

Они почувствовали происшедшую в нас перемену, о которой большинство только догадывалось: теперь они видели перед собой не кучку слабаков из психушки, которая безропотно сносила их оскорбления на причале сегодня утром. Перед девушкой не то чтобы извинились за сказанное прежде, но попросили разрешения глянуть на пойманную ею рыбу, и она почувствовала, что ведут они себя теперь исключительно

вежливо. А когда Макмерфи с капитаном вернулись из магазина, мы все вместе выпили на дорогу пива.

В больницу возвращались поздно.

Девушка спала на груди у Билли, а когда проснулась и села, Билли почувствовал, как сильно затекла у него рука, которой он всю дорогу придерживал девушку, и она растирала ему руку. Он сказал, что хотел бы назначить ей свидание, если его отпустят на выходные, и она ответила, что могла бы навестить его, пусть он только назначит время. Билли вопросительно посмотрел на Макмерфи. Тот обнял обоих за плечи и произнес:

— Давайте ровно в два.

— В субботу в два часа дня? — спросила она.

Он подмигнул Билли и чуть прижал голову девушки к своей руке.

— Нет. В субботу в два часа ночи. Подкрадешься и постучишь в то же окно, у которого была сегодня утром. Я уговорю ночного санитара впустить тебя.

Она хихикнула и кивнула:

— Черт Макмерфи.

Некоторые острые еще не ложились спать и собрались возле уборной, чтобы посмотреть, утонули мы или нет. Мы вошли в коридор строем,

забрызганные кровью, загорелые, пропахшие пивом и рыбой, неся своих лососей, как героизавоеватели. Доктор спросил, не хотят ли они выйти посмотреть на его палтуса в багажнике, и мы все, за исключением Макмерфи, двинулись обратно. Он сказал, что, кажется, прилично вымотался и лучше отправится на боковую. Когда он ушел, один из острых, который не ездил с нами, спросил, с чего бы это Макмерфи выглядит уставшим и потрепанным, в то время как остальные румяные и возбужденные. Хардинг объяснил это тем, что у Макмерфи просто сошел загар.

— Помните, Макмерфи прибыл к нам после суровых условий на исправительной ферме и работы на воздухе, румяный и пышущий здоровьем, как паровоз. Так вот, сейчас мы являемся свидетелями того, как сходит его великолепный психопатический загар. Только и всего. Сегодня он действительно провел несколько изнурительных часов, между прочим, в сумраке каюты, в то время как нас окружала стихия и мы впитывали витамин Д. Конечно, эти труды в закрытой каюте могли в какой-то степени истощить его, но давайте вдумаемся, друзья. Что касается меня, я бы обошелся и меньшим количеством витамина Д, если бы испытал частично подобного рода

истощение. Особенно если работой руководит малышка Кэнди. Разве я ошибаюсь?

Вслух я не сказал, но подумал, что, может быть, и ошибается. Я заметил эту усталость Макмерфи еще раньше, на обратном пути. Он настоял на том, чтобы мы проехали через городок, где он жил когда-то в детстве. Мы только что допили последнее пиво, выбросили пустую банку в окно у дорожного знака «Стоп» и откинулись на сиденья, чтобы насладиться этим днем, пребывая в каком-то состоянии сонливости, которое наваливается обычно после долгой, тяжелой, но доставляющей удовольствие работы, — немного загорелые и еще не совсем трезвые мы не засыпали лишь только потому, что хотелось как можно дольше продлить это блаженство. Я смутно отметил, что могу уже видеть кое-что хорошее в окружающем мире. Это заслуга Макмерфи. Я чувствовал себя так здорово, как, если память мне не изменяет, не чувствовал себя с самого детства, когда все было прекрасно и земля говорила со мной волшебными стихами.

Мы возвращались не берегом, а поехали в глубь материка, чтобы завернуть в городок, где Макмерфи жил дольше всего. Двигаясь по склону одной из гор Каскадной цепи, мы уж было

подумали, что затерялись, как вдруг попали в городок по территории примерно в два раза больше нашей больницы. Поднявшийся вдруг ветер с песком скрыл солнце в том месте, куда привез нас Макмерфи. Он остановил машину в каких-то зарослях и показал через дорогу.

— Вон там. Вот он. Как будто его сорняками подперли… приют убогий юности моей, растраченной бесцельно.

В вечерних сумерках я увидел вытянувшиеся вдоль улицы голые деревья, пронзившие тротуар, словно деревянные молнии, и там, куда они воткнулись, плиты треснули, и у каждого имелась проволочная ограда. Перед заросшим сорняками двориком торчал железный частокол, за ним стоял большой дощатый дом с верандой, он упирался своим шатким плечом в ветер, чтобы его не перевернуло и не унесло за пару кварталов, как пустую картонную коробку. Ветер принес первые капли дождя, и, когда громыхнули замки на цепи перед дверью, я заметил, что у дома сильно зажмурены глаза.

На веранде висела одна из тех штук, которые делают японцы из стекла и подвешивают на нитке: они звенят и тренькают при малейшем дуновении ветра; но на ней осталось лишь четы-

ре стекляшки. Они раскачивались, стукались, и на пол сыпались осколки мелодичного звона.

Макмерфи включил скорость.

— Однажды я сюда приезжал — черт знает сколько времени прошло! — в тот год мы возвращались с корейской заварухи. Заехал навестить. Старик и мамаша были еще живы. Хорошо было дома тогда. — Он отпустил сцепление и тронулся, но тут же снова затормозил. — Боже мой, — сказал он, — посмотрите туда, видите платье? — Он показал назад. — На ветке того дерева? Тряпка желтая с черным?

Я разглядел что-то вроде флага, развевавшегося высоко в ветвях над сараем.

— Это то самое платье, девчонки, которая первый раз затащила меня в постель. Мне было десять, а ей, кажется, и того меньше; тогда считалось, что переспать с кем-нибудь — это очень серьезно, и я спросил у нее, не думает ли она, что нам следует как-то объявить обо всем этом? Ну, например, сказать старикам: «Мама, у нас с Джуди сегодня состоялась помолвка». Я говорил это вполне серьезно — большим был дураком; я ведь думал: если ты, парень, сделал это, значит, законно женился, прямо на том же месте и в тот же час, хочешь ты того или нет, и правило нару-

шать нельзя. А эта маленькая шлюха, — самое большее, восемь-девять лет — наклоняется, поднимает платье с пола и сообщает, что дарит его мне, мол, повесь его где-нибудь, а я пойду домой в трусах, вот и все объявление, они уж как-нибудь догадаются. Боже, девять лет, — Макмерфи протянул руку и ущипнул Кэнди за нос, — а знала намного больше иных профессионалок.

Кэнди засмеялась и укусила его за руку; он стал внимательно изучать это место на руке.

— В общем, так или иначе, пошла она домой в трусах, а я ждал, пока стемнеет, чтобы ночью забросить куда-нибудь это чертово платье… Но вы чувствуете этот ветер? Так вот, ветер подхватил платье, как воздушного змея, и оно улетело куда-то за дом, а на следующее утро, ей-Богу, вижу: оно уже висит на том дереве, и теперь весь город, как мне тогда казалось, шел сюда, чтобы на него поглазеть.

Макмерфи облизывал руку с таким горестным видом, что Кэнди рассмеялась и поцеловала ее.

— Таким образом, флаг мой был поднят, и с того дня до настоящего момента я старался быть достойным своего имени — Рэнди, преданный в любви; а во всем виновата та девятилетняя девчонка из моего детства.

Дом проплыл мимо. Макмерфи зевнул и подмигнул.

— Научила меня любить, спасибо ей, сладкой попке.

Он говорил, а задние огни обгонявшей нас машины вдруг осветили его лицо, и в ветровом стекле я увидел такое выражение, какое он позволил себе наверняка лишь потому, что понадеялся на темноту: страшно утомленное, напряженное и *отчаявшееся,* словно у него не оставалось времени, чтобы доделать задуманное…

А голос его, спокойный, добродушный, не спеша повествовал о его жизни, которая на время стала нашей, о веселом прошлом, полном детских шалостей, приятелей-собутыльников, любящих женщин, и пьяных драк ради мелких почестей; о прошлом, куда мы все смогли отправиться в мечтах.

Часть четвертая

Большая Сестра начала свой очередной маневр на следующий день, как только мы вернулись с рыбалки. Этот замысел родился у нее накануне поездки, после разговора с Макмерфи о том, какую выгоду он получает от рыбалки и прочих хитрых мероприятий такого рода. Она обдумывала свой замысел всю ночь, проанализировала его с разных точек зрения, окончательно поверила в то, что он вполне осуществим, и следующий день начала с осторожных намеков, чтобы слухи пошли не от нее, а от больных, а затем расширились и охватили все отделение прежде, чем она затронет эту тему на собрании.

Она знала: люди рано или поздно начнут сторониться того, кто, по их мнению, дает больше чем принято: санта-клаусов, миссионеров, благотворителей с их пожертвованиями, и подумают: а им-то что за выгода? Криво усмехнутся, когда, например, молодой адвокат принесет детям в местную школу мешок орехов — перед самыми выборами в сенат, вот хитрый дьявол, — и будут говорить друг другу: этот себе на уме.

Она знала: немного нужно, чтобы пациенты задумались, зачем Макмерфи тратит столько времени и сил на организацию рыбалки, игры в лото, на тренировки баскетбольной команды? Что заставляет его постоянно суетиться, когда все в отделении привыкли довольствоваться спокойной и размеренной жизнью, играя в пинэкл и читая прошлогодние журналы? Почему этот ирландский лесоруб, отбывавший срок за драку и азартные игры, вдруг повязывает голову платочком, воркует, как школьница, и битых два часа под восторженный рев всех острых разыгрывает из себя девушку, которая учит Билли Биббита танцевать? С чего бы этот прожженный плут, ярмарочный мошенник и закоренелый картежник, всегда просчитывающий все ходы, вдруг рискует продлить свой срок в психушке, все больше и больше настраивая против себя женщину, от которой как раз и зависит, кого выписать из больницы, а кого нет?

Сестра положила начало такому ходу мыслей пациентов и, кроме того, собрала информацию об их финансовом положении за последнее время. Она, должно быть, провела не один час, копаясь в документах. Информация свидетельствовала об устойчивом истощении капиталов всех острых,

кроме одного. Его капитал с того дня, как он прибыл, продолжал неуклонно увеличиваться.

Острые начали подшучивать над Макмерфи, мол, он дерет с них шкуру помаленьку, а он спокоен, потому что никогда этого не отрицал. И даже хвастал, что, если пробудет в больнице с годик, выйдет отсюда не с худым кошельком, тогда уж точно отойдет от всех дел и проведет остаток жизни во Флориде. Они смеялись, когда он был рядом, но, если он находился на ЭТ, ТТ или ФТ, или когда сестра его вызывала на дежурный пост и отчитывала за что-то, при этом на ее застывшую пластмассовую улыбку он отвечал своей обычной широкой и нахальной, им становилось не до смеха.

Они спрашивали друг у друга, с чего это он в последнее время так шустрит, подначивая, например, пациентов отменить правило, по которому все перемещения пациенты должны осуществлять в терапевтических группах по восемь человек («Билли поговаривает о том, что снова будет резать себе вены, — говорил он на собрании, выступая против этого правила. — Так кто из вас войдет в его восьмерку, чтобы вместе с ним сделать это терапевтически?»), а еще своими интригами заставил доктора, который после

рыбалки слишком сблизился с пациентами, организовать подписку на «Плейбой», «Нагтет» и «Мэн» и выбросил все номера «Макколз», которые пухлолицый тип из связей с общественностью приносил из дома, складывал стопкой в отделении, а статьи, которые, по его мнению, могут представлять для нас особый интерес, отмечал зеленым. Макмерфи даже послал петицию по почте куда-то в Вашингтон, в которой просил разобраться, почему в государственных больницах продолжают практиковать лоботомию и электрошок. Интересно, все чаще задавались вопросом пациенты, какую выгоду хочет извлечь Мак из этого?

После того как эти слухи уже с неделю бродили по отделению, Большая Сестра решила войти в игру на одном из групповых собраний. Но когда она попыталась это сделать, Макмерфи заткнул ей рот прежде, чем она как следует разошлась. А начала она с того, что шокирована и обескуражена тем ужасным состоянием, до которого докатилось отделение. Умоляю вас, посмотрите вокруг: везде на стенах порнографические картинки, вырезки из непристойных книг; это ненормально, и она собирается обратиться в Главный корпус, чтобы провели расследование,

каким образом эта грязь попала в больницу. Она откинулась на спинку стула и, сидя как на троне, выдержала паузу в несколько секунд; наступила полная тишина, сестра уже готовилась продолжить, чтобы назвать виновника всего этого, как вдруг тишину разорвал оглушительный хохот Макмерфи и он сказал: ну, конечно же, прямо сейчас и не забудьте напомнить в Главном корпусе, чтобы они прихватили с собой зеркальца, когда займутся расследованием. Так что в следующий раз она решила действовать в отсутствие Макмерфи.

Ему должны были звонить по междугородному из Портленда, и он в сопровождении одного из черных отправился вниз к телефону, где сидел и ждал звонка. Около часа дня, когда мы начали перетаскивать мебель, подготавливая дневную комнату, черный коротышка спросил у нее, нужно ли позвать Макмерфи и Вашингтона на собрание, но она сказала, что нет, пусть звонит дальше, более того, кое-кто из пациентов, возможно, обрадуется, получив возможность обсудить нашего мистера Рэндла Патрика Макмерфи, когда его сильная личность ни над кем не тяготеет.

Они начали собрание смешными рассказами о нем и его выходках, какое-то время говорили и

пришли к выводу: все-таки он отличный парень; она молчала и ждала, когда они выговорятся. Но вот начали всплывать вопросы: что с Макмерфи? Почему он себя так ведет и все это вытворяет? Кто-то предположил, что, может, его история о том, как он симулировал драки в исправительной колонии, чтобы попасть сюда, вовсе не выдумка и он действительно сумасшедший. Услышав это, Большая Сестра улыбнулась и подняла руку.

— Сумасшедший, как лиса, — заметила она. — Мне кажется, именно так вы хотите охарактеризовать Макмерфи?

— Что вы имеете в виду? — спросил Билли. Макмерфи был его близким другом и героем, и ему не совсем понравилось, что она связывает этот комплимент с чем-то не очень чистым. — Что з-з-значит «как лиса»?

— Это лишь наблюдение, Билли, — любезно ответила сестра. — Давайте посмотрим, может, кто-нибудь попытается объяснить, что это значит. Пожалуйста, мистер Скэнлон.

— Она имеет в виду, Билли, что Мак себе на уме.

— Никто и не во-во-возражает! — Билли ударил кулаком по ручке кресла, чтобы выдавить из себя последнее слово. — Однако мисс Вредчет

подразумевала…

— Нет, Билли, ничего я не подразумевала. Я просто отметила, что мистер Макмерфи не из тех, кто рискует без выгоды. Разве вы с этим не согласны? Разве вы все с этим не согласны?

Все молчали.

— Тем не менее, — продолжала она, — он совершает поступки, будто совсем не думает о себе, ну прямо мученик или святой. Но отважится ли кто-нибудь назвать мистера Макмерфи святым?

Она знала, что теперь может спокойно смотреть на всех с улыбкой в ожидании ответа.

— Нет, не святой и не мученик. Давайте рассмотрим филантропию этого человека в разрезе. — Она достала из корзинки листок желтой бумаги. — Взгляните на некоторые его дары, как их, возможно, называют его преданные почитатели. Первый — ванная комната. Но его ли это дар? Разве комната принадлежала ему, чтобы он мог ее дарить? И потерял ли он что-нибудь, превратив ее в казино? С другой стороны, сколько, по-вашему, он заработал за то короткое время, когда выполнял функции крупье этого маленького Монте-Карло в отделении? Сколько, Брюс, проиграли вы? А вы, мистер Сефелт? Вы, мистер Скэнлон? Мне кажется, вы догадываетесь, какие

убытки понесли вы, но имеете ли вы представление о том, какова общая сумма его выигрышей? Исходя из данных нашей сберегательной кассы — это почти триста долларов.

Скэнлон тихо присвистнул, остальные молчали.

— Если вас интересует, у меня записаны все его пари, в том числе связанные с преднамеренной попыткой внести беспорядок в действия персонала. Причем все эти азартные игры находятся в полном противоречии с существующим в отделении порядком, и каждый из вас знал об этом.

Она снова взглянула на бумагу, потом положила ее в корзину.

— А недавняя поездка на рыбалку? Как вы думаете, какова прибыль мистера Макмерфи от этого мероприятия? Машину ему предоставил доктор, даже деньги на бензин и, как мне сообщили, целый ряд других льгот — сам же он не заплатил ни цента. Выходит, точно как лиса.

Она подняла руку, чтобы Билли не перебил ее.

— Прошу вас, Билли, поймите: я не против подобной деятельности, просто я считаю, будет полезней, если мы перестанем заблуждаться в отношении мотивов, которые движут этим человеком. Но, по-видимому, все-таки неблаго-

родно выдвигать такие обвинения в отсутствие мистера Макмерфи. Давайте вернемся к вопросу, который мы обсуждали вчера… о чем мы тогда говорили? — Она начала перебирать бумаги в корзинке. — Доктор Спайви, вы не помните, о чем мы тогда говорили?

Доктор вскинул голову.

— Нет… подождите… по-моему…

Она достала лист из папки.

— Вот оно. Мистер Скэнлон и его мысли о взрывчатых веществах. Отлично. Мы обсудим эту тему сейчас, а в следующий раз, когда мистер Макмерфи будет с нами, вернемся к его вопросу. Однако, как мне кажется, вам следует подумать над тем, о чем мы сегодня говорили. Итак, мистер Скэнлон…

В тот же день, чуть позже, когда мы ввосьмером или вдесятером столпились у двери буфета и ждали, пока наконец черный украдет масло для волос, кто-то вновь завел разговор об этом. Да, они не хотели соглашаться с тем, что говорила Большая Сестра, но, ей-Богу, кое в чем старушка была права. И все-таки, черт возьми, Мак — хороший парень… в самом деле.

В конце концов Хардинг начал разговор начистоту.

— Друзья мои, вы слишком протестуете, чтобы можно было вам верить. Ведь в глубине своих жалких душонок вы согласны с тем, что наш ангел милосердия, наша мисс Вредчет позволила себе заметить относительно поведения Макмерфи. Вы знаете, что она права, и я это знаю. Так зачем все отрицать? Будем честными и отдадим должное этому человеку вместо того, чтобы тайком критиковать его капиталистический талант. Пусть он делает на чем-то деньги. Тем более, общипывая нас, он всегда давал нам то, что мы хотели получить, разве не так? Он парень не промах и ищет, на чем заработать. Но разве он скрывает мотивы своих поступков? Так почему мы должны вести себя иначе? У него нормальное, честное отношение к своим махинациям, и здесь, друзья мои, я целиком за него, как и за милую капиталистическую систему свободного частного предпринимательства, за него и за его откровенно упрямую наглость, за американский флаг, благослови его, Господи, за линкольновский мемориал и за все прочее. Помните «Мэн», Ф. Т.

Барнума и Четвертое июля[9]. Я обязан выступить в защиту чести моего друга, этого старого, доброго звездно-полосатого стопроцентного американского мошенника. Хороший парень? Черта с два! Макмерфи бы расстроился буквально до слез, если бы узнал о тех якобы подлинных причинах, которые, как мы думаем, лежат в основе его сделок. Он бы расценил это как прямое оскорбление своего ремесла.

Хардинг полез в карман за сигаретами, ничего не нашел и одолжил одну у Фредриксона, театральным жестом закурил и продолжал:

— Признаюсь, поначалу меня сбили с толку его действия. Когда он разбил стекло, я подумал: Боже, вот человек, который, кажется, действительно решил остаться в этой больнице, связать свою судьбу с приятелями и все такое прочее, но потом до меня дошло: Макмерфи поступал так, потому что ему это было выгодно. Каждый час, который он проводит здесь, идет ему на пользу.

---

[9] Примечания: 9

помните «Мэн», Ф. Т. Барнума и Четвертое июля… — Линкор ВМС США «Мэн» затонул в результате взрыва 15 февраля 1898 г., при этом погибло 260 чел. Это событие предшествовало войне между США и Испанией. Фраза «Помни „Мэн“» стала кличем американцев в этой войне.

Барнум Финиас Тейлор (1810–1891) — основатель Американского музея в Нью-Йорке (1842) и цирка «Величайшее зрелище на земле» (1871).

4 июля (1776 г.) — День независимости США.

И пусть его деревенские манеры не вводят вас в заблуждение; он хитрый делец и очень расчетливый. Приглядитесь: что бы ни делал Макмерфи, он делает с определенной целью.

Билли не собирался так легко сдаваться.

— Ладно. А зачем он учит меня т-т-танцевать? — Пальцы опущенных рук Билли сжал в кулаки, и я заметил, что ожоги от сигарет уже зажили, а на их месте появились татуировки, сделанные химическим карандашом. — Что ты на это скажешь, Хардинг? Какая выгода в том, что он учит меня *танцевать*?

— Не расстраивайся, Уильям. И не спеши. Давай лучше подождем и посмотрим, как он станет поворачивать это дело.

Похоже, из тех, кто верил Макмерфи, остались только Билли и я. Но в тот же вечер Билли тоже изменил свое мнение и переметнулся на сторону Хардинга. Случилось это, когда Макмерфи, возвратясь после очередного телефонного разговора, сообщил Билли, что свидание с Кэнди состоится точно, и добавил, записывая для него адрес, что было бы неплохо послать ей немного зелененьких на дорогу.

— Зелененьких? Д-денег? С-с-сколько? — Билли метнул взгляд в сторону Хардинга, который с

ухмылкой смотрел на него.

— Ну… ты же сам должен понимать… может, десятку ей и десятку…

— Двадцать долларов! Столько автобусный билет не с-с-стоит!

Макмерфи глянул на него из-под козырка, медленно улыбнулся, почесал рукой горло и облизнул сухие губы.

— О-хо-хо, меня просто измучила жажда. А к концу недели, в субботу, она будет еще сильнее. Билли, друг, неужели тебе жалко, если она привезет мне чуток промочить горло?

И так невинно посмотрел на Билли, что тот рассмеялся, покачал головой, мол, не жалко, и направился в угол, где начал возбужденно обсуждать свои планы на предстоящие выходные с пациентом, которого, кажется, считал сутенером.

Я все еще держался своей точки зрения, что Макмерфи — великан, пришедший с неба, чтобы спасти нас от Комбината, который опутывает землю медным проводом и стеклом, и он слишком велик, чтобы думать о такой мелочи, как деньги, но затем и я стал наполовину думать, как и другие. Случилось это так.

Перед началом собрания он помогал перено-

сить столы в ванную и увидел, что я стою у пульта управления.

— Ей-Богу, Вождь, — обратился он ко мне, — мне кажется, после рыбалки ты вырос на десять дюймов. Боже мой, да ты только посмотри, какая у тебя большая нога, ну точно платформа!

Я глянул вниз — нога, действительно, стала такой огромной, как будто прямо от слов Макмерфи выросла в пару раз больше.

— А *рука*! Таких я еще не видывал, да это же рука индейца-футболиста! Знаешь, что я думаю? Не пора ли тебе попробовать, сколько весит этот пульт, просто, чтобы узнать, как у тебя идут дела?

Я покачал головой и ответил нет, но он сказал, что мы заключили сделку и я обязан попытаться, чтобы проверить, насколько эффективна его система роста. Я не видел выхода и подошел к пульту — пусть убедится сам, что не смогу. Я нагнулся и взял пульт за рычаги.

— Молодец, Вождь. Теперь выпрямись. Ноги поставь на уровне зада, так… ну, ну. Теперь потихоньку… только выпрямляйся. Ого! Сейчас осторожно опускай на палубу.

Я думал, он будет разочарован, но, когда отступил назад, он уже улыбался во все зубы и

показывал пальцем вниз: там было видно, что пульт на полфута ушел от опор.

— Поставь ее, приятель, туда, на место, чтоб никто не знал. Пока им не надо знать.

Потом, после собрания, бродя от одной кучки картежников к другой, он завел разговор о силе, характере и о пульте управления в ванной. Я думал, он собирается рассказать им о том, как помог мне снова стать большим, — это их убедило бы, что не все он делает ради денег.

Но он не упомянул обо мне. Он говорил до тех пор, пока Хардинг не спросил, готов ли он попробовать поднять эту штуку еще раз, на что Макферфи ответил: нет, но, если он не может, это еще не значит, что никто не может. Скэнлон заявил, что с помощью крана, конечно, но ни один *человек* самостоятельно эту штуку не поднимет. Макмерфи сказал, что может быть и так, но всякое бывает.

Я наблюдал, как он вел с ними игру, как подводил их к тому, чтобы они подошли к нему и сказали: да нет же, черт побери, ни один человек в мире не способен это поднять, и наконец сами предложили заключить пари. Вижу, как неохотно он соглашается на пари. Ставки растут, а он все затягивает их глубже и глубже, пока все они

не ставят пять к одному за это абсолютно верное дело, причем некоторые до двадцати долларов. И он ни словом не обмолвился о том, что я уже поднял этот пульт.

Всю ночь я надеялся: вдруг он не будет доводить дело до конца. На следующий день во время собрания сестра объявила, что все рыбаки обязаны принять специальный душ, мол, есть опасение насчет паразитов. И в течение всего собрания я продолжал надеяться, что она помешает, сделает так, чтобы нас сразу отвели в душевую или еще что-нибудь, — лишь бы не поднимать пульт.

Но после собрания он повел меня и остальных в ванную, пока черные ее не закрыли, заставил меня взять пульт за рычаги и поднять. Мне не хотелось, но я ничего не мог поделать. У меня было чувство, будто я помог ему выудить из них деньги. Когда они расплачивались, то вели себя с ним по-дружески, но я догадывался, что они чувствовали при этом — словно у них из-под ног вышибли опору. Я поставил пульт на место, выбежал из ванной, даже не взглянув на Макмерфи, и бросился в уборную — мне хотелось побыть одному. Я стоял перед зеркалом и смотрел на себя. Он сделал, что обещал: мои руки снова стали большими, такими большими, какими были еще

в школе, еще когда я жил в деревне, а грудь и плечи стали широкими и крепкими. Макмерфи появился в тот момент, когда я смотрел на себя, и протянул пять долларов.

— Бери, Вождь, это на жвачку.

Я помотал головой и направился к выходу, но он ухватил меня за руку.

— Вождь, я это делаю в знак моей признательности. Если ты считаешь, твоя доля больше…

— Нет! Забери деньги, я не возьму.

Он отступил, сунул большие пальцы в карманы и, слегка подняв голову, посмотрел на меня. Какое-то время он меня разглядывал.

— О'кей, — произнес он. — В чем дело? С чего это все тут нос от меня воротят?

Я не ответил.

— Разве я не выполнил то, что обещал? Разве не сделал тебя снова большим? Чем же это я вдруг не понравился? Вы себя так ведете, будто я изменник родины.

— Ты всегда… выигрываешь!

— Выигрываю! Чертов лось, и в этом ты меня обвиняешь? Я тебе обещал? И я сделал. Так какого черта…

— Мы думали, ты не для того, чтобы *выигрывать*…

Я почувствовал, что мой подбородок дрожит, как это обычно бывает, если собираешься заплакать, но я не заплакал. Я стоял перед ним с дергающимся подбородком. Макмерфи открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Достал руки из карманов, взялся двумя пальцами за переносицу, как очкарик, у которого жмет дужка между линзами, и закрыл глаза.

— Выигрывать? Черта с два, — произнес он с закрытыми глазами. — Надо же! Выигрывать!

Поэтому в том, что затем произошло в душевой, я считаю себя виновным больше, чем кого бы то ни было. И искупить свою вину я мог только таким поступком, в котором не было места мыслям об осторожности, собственной безопасности или наказании, а только мысли о том, что и как нужно сделать.

Когда мы вышли из уборной, появились черные и стали собирать всех рыболовов, чтобы отвести на специальный душ. Черный коротышка ходил вдоль плинтуса и, просунув свою черную корявую и холодную, как ломик, руку, отдирал от стены прислонившихся к ней пациентов. Он сказал, что Большая Сестра назвала эту процедуру гигиенической дезинфекцией. Учитывая, в какой компании мы находились, нам необходимо прой-

ти обработку, а то еще разнесем какую-нибудь гадость по всей больнице.

Мы выстроились голяком у кафельной стенки, и один из черных стал обходить нас по очереди с черным пластмассовым тюбиком в руках, из которого выдавливал вонючую мазь, густую и липкую, как белок сырого яйца. Так, сначала в волосы, отлично, поворот, наклон и — раздвинь попку!

Пациенты пытались выразить свое возмущение в шутках, кривлянье, несли всякую чушь и старались не смотреть друг на друга и на черные, как грифельная доска, маски — настоящие лица-негативы из кошмарного сна, — которые плыли вдоль шеренги с тюбиками, целясь вниз своими мягкими кошмарными ружейными стволами. Над черными подшучивали: «Эй, Вашингтон, а остальные шестнадцать часов как вы развлекаетесь?» «Эй, Уильямс, можешь сказать, что я ел на завтрак?»

Все смеялись. Черные сжимали зубы и не отвечали: раньше такого не было, пока не появился этот рыжий черт.

Когда Фредриксон раздвинул ягодицы, раздался такой звук, что я подумал, черного коротышку сейчас собьет с ног.

— Чу! — сказал Хардинг, приставив ладонь к уху. — Нежный голос ангела.

Все гоготали, смеялись, подшучивали друг над другом, но вот черный подошел к следующему пациенту, и в душевой наступила мертвая тишина. Следующим был Джордж. И за эту секунду, когда успели смолкнуть смех, шутки и жалобы, когда находившийся рядом с Джорджем Фредриксон выпрямлялся и оборачивался, а большой черный собирался попросить Джорджа наклониться, чтобы выдавить на волосы вонючую мазь, — в этот самый момент мы все ясно представили, что сейчас произойдет и почему, и как мы ошибались в отношении Макмерфи.

Джордж никогда не пользовался мылом в душе. Он даже никогда не брал полотенце из чужих рук. И черные из вечерней смены (в их обязанности входило сопровождать нас в душ по вторникам и четвергам) не трогали его, потому что понимали: себе будет дороже. Так оно и шло до сих пор. Все черные это знали. Но теперь все знали — даже Джордж, который отклонялся всем телом назад, мотал головой и закрывался большими, похожими на дубовые листья руками, — что этот черный с переломленным носом и прокисшими внутренностями, а также два его приятеля, поджидавшие

сзади, вряд ли упустят такую возможность.

— Э-э-э, наклони-ка сюда голову, Джордж…

Пациенты уже поглядывали на Макмерфи, который стоял от Джорджа через несколько человек.

— Ну, давай же, Джордж…

Мартини и Сефелт замерли под душем. И было слышно, как короткими глотками заглатывает воздух и мыльную воду сливное отверстие у их ног. Джордж бросил быстрый взгляд на него, словно оно живое и разговаривает с ним. Он посмотрел, как оно булькает и давится. Снова глянул на тюбик в черной руке перед собой — из маленького отверстия в верней части тюбика по чугунным костяшкам кулака медленно ползет слизь. Черный поднес тюбик на несколько дюймов вперед, Джордж отклонился назад еще дальше, мотая головой.

— Нет… этой дряни не надо.

— Ты обязан сделать это, Мойдодыр, — сказал черный почти извиняющимся тоном. — Обязан. Нельзя же допустить, чтобы повсюду ползали вошки. А вдруг они уже на целый дюйм проникли в тебя!

— Нет!

— Э-э, Джордж, ты просто без понятия. Эти вош-

ки, они очень маленькие, не больше булавочной головки. Знаешь, что они делают? Цепляются за волос и висят, сверлят в тебя.

— Нет вошек!

— Э-э, послушай, Джордж, что я тебе скажу: мне довелось видеть, как эти вошки…

— Хватит, Вашингтон, — произнес Макмерфи.

Шрам на носу у черного на месте перелома был как неоновый изгиб. Черный знал, кто к нему обратился, но не обернулся, и о том, что он все-таки услышал, мы догадались по тому, как он прекратил говорить и длинным серым пальцем медленно провел по шраму, который заработал в баскетбольном матче. Секунду он потирал нос, потом сунул свою корявую черную руку к лицу Джорджа и зашевелил пальцами.

— Джордж, видишь, краб? Вот он, видишь? Ты ведь знаешь, как выглядит краб? А вошки как крабы. Это уж точно, ты подцепил их на этом рыболовном катере. Но мы не позволим, Джордж, чтобы вошки всверливались в тебя?

— Нет вошек! — крикнул Джордж. — Нет! — Он выпрямился, и теперь стали видны его глаза.

Черный отступил. Двое других засмеялись над ним.

— Что-то случилось, Вашингтон? — спросил

большой. — Что-то мешает проведению про-це-ду-ры?

Он снова подошел ближе.

— Джордж, говорю тебе, нагнись! Либо ты нагнешься и я нанесу мазь… либо дотронусь до тебя своей рукой! — Он снова поднял ее, рука была большая и черная, как болото. — Буду водить этой черной! грязной! вонючей! рукой по всему телу!

— Не надо рукой! — сказал Джордж и занес кулак над головой, как будто собирался размозжить черный череп на кусочки, чтобы по полу разлетелись шестеренки, гайки и болты. Но тут черный сунул тюбик в пупок Джорджа и нажал. Джордж согнулся пополам, с шумом вдохнув воздух. Черный выдавил порцию в тонкие белые волосы и растер ладонью, вымазав мазью всю голову Джорджа. Джордж обхватил себя руками вокруг живота и закричал: — Нет! Нет!

— А теперь повернись, Джордж…

— Послушай, хватит, приятель.

Тон, каким это было сказано, заставил черного повернуться. Я видел, как он улыбался, оглядывая голого Макмерфи — ни кепки, ни ботинок, ни карманов, куда можно было бы засунуть пальцы. Черный с ухмылкой мерил его взглядом.

— Макмерфи, — сказал он, качая головой. — Я

уже начал было думать, что у нас никогда до этого не дойдет.

— Ты черная свинья, — сказал Макмерфи скорее усталым, нежели злым голосом.

Черный ничего не ответил. Макмерфи повысил голос:

— Паршивая морда!

Черный покачал головой, хихикнул и посмотрел в сторону своих приятелей.

— Как вы думаете, чего мистер Макмерфи добивается? Наверное, хочет, чтобы я первым начал? Хи-хи-хи. Неужто он не знает, что нас научили спокойно сносить подобные оскорбления от сумасшедших?

— Сосун ниггер! Вашингтон, ты…

Вашингтон отвернулся от него и снова принялся за Джорджа, который все еще стоял согнувшись и ловил ртом воздух. Черный схватил его за руку и развернул лицом к стене.

— Хорошо, Джордж, а теперь раздвинь попку.

— *Не-е-ет!*

— Вашингтон, — Макмерфи глубоко вздохнул, направился к черному и оттолкнул его от Джорджа. — Вашингтон, хватит, хватит…

Все почувствовали в голосе Макмерфи беспомощность и отчаяние загнанного в угол

человека.

— Макмерфи, ты вынуждаешь меня защищаться. Разве не вынуждает?

Двое других утвердительно кивнули.

Тогда он аккуратно положил тюбик на скамейку рядом с Джорджем, затем повернулся, одновременно размахиваясь, и неожиданно саданул Макмерфи в челюсть. Макмерфи чуть не упал. Он зашатался, сделал шаг назад и откинулся на голую шеренгу, которая приняла его, как мячик, и вновь отбросила к улыбающейся грифельной доске. Удар пришелся в шею, и Макмерфи наконец примирился с мыслью, что все-таки это началось, значит, не остается ничего другого, как действовать. Он перехватил метнувшуюся к нему как черная змея руку и, удерживая черного за запястье, тряс головой, чтобы прояснилось в глазах.

Секунду они так качались, пыхтя, как пыхтело сливное отверстие, но вот Макмерфи оттолкнул черного, пригнулся, сдвинул плечи вперед, чтобы защитить подбородок, прикрыл кулаками голову и начал обходить черного кругом.

На месте ровной молчаливой шеренги голых людей возникло орущее кольцо, конечности и тела переплелись, превратились в канаты жи-

вого ринга.

Черные руки наносили удары в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекая кровь с бровей и щек. Черный ускользал, танцуя. Он был выше ростом, руки длиннее толстых рыжих ручищ Макмерфи, удары быстрее и резче, он мог обрабатывать плечи и голову Макмерфи издали. Макмерфи по-прежнему наступал на черного тяжелым, твердым шагом, лицо опустил, защищая с боков двумя татуированными кулаками, глаза прищурил; наконец прижал черного к кольцу голых людей и ударил кулаком точно в центр белой накрахмаленной груди. На грифельном лице появилась трещина, из нее высунулся язык цвета клубничного мороженого и облизнул губы. Черный нырнул, ушел от танковой атаки Макмерфи, успел еще пару раз смазать, но тот же кулак вновь нанес ему мощный удар. На этот раз рот открылся шире — красное пятно боли.

На голове и плечах Макмерфи тоже появились красные следы, но, похоже, это его совсем не беспокоило. Он все наступал, на десять ударов отвечая одним. Так они и кружили по душевой, пока черный наконец не начал задыхаться, пошатываясь и думая лишь о том, как уберечься от этих мощных рыжих кулаков. Пациенты вопили,

чтобы Макмерфи уложил его. Но Макмерфи действовал не спеша.

От удара в плечо черного отбросило в сторону, и он метнул взгляд-молнию на своих дружков:

— Уильямс… Уоррен… черт бы вас побрал!

Другой большой черный раздвинул толпу, обхватил Макмерфи сзади. Макмерфи стряхнул его, как стряхивает бык обезьяну, но тот снова набросился сзади.

Поэтому я приподнял его и откинул под душ. Внутри него были одни радиолампы, и весил он не больше десяти-пятнадцати фунтов.

Черный коротышка крутанул головой по сторонам, повернулся и бросился к двери. Пока я наблюдал за ним, тот второй вышел из душа и взял меня борцовским захватом: сзади просунул свои руки под моими, а кисти сцепил в замок за моей шеей, и мне пришлось спиной вбежать в душ, чтобы шмякнуть его о кафель. Я лежал в воде, наблюдал, как Макмерфи продолжает выбивать ребра Вашингтону, черный подо мной начал кусать меня за шею, тогда я отпустил захват. Он затих, и крахмал вымывался из его формы, стекая в захлебывающийся сток.

Когда черный коротышка вбежал обратно с ремнями, наручниками и простынями в сопро-

вождении четырех санитаров из буйного, все уже одевались, жали нам с Макмерфи руки, говорили, что так им и надо, какая сногсшибательная была драка и какая великолепная, внушительная победа. Они продолжали так говорить, подбадривая нас и поднимая дух, — хорошая драка, отличная победа! — а в это время Большая Сестра помогала санитарам из буйного надевать на нас мягкие кожаные наручники.

* * *

Наверху, в буйном, постоянный грохот машинного отделения: тюремная фабрика штампует автомобильные номера. «Ди-док», «ди-док» — на столе для пинг-понга отмеряют время. Люди снуют по своим личным взлетно-посадочным полосам: до стены, затем крен, разворот, назад к другой стене, снова крен, разворот и опять по кругу — быстрыми короткими шагами протаптывают пересекающиеся дорожки в полу, на лицах устойчивое выражение жажды от долгого сидения в клетке. Паленый запах от людей, испуганных до безумия и вышедших из-под контроля, а по углам и под столом для пинг-понга припали к земле и скрежещут зубами твари — доктора с сестрами их не видят, санитары не могут убить

дезинфекцией. Когда дверь в отделение открылась, я сразу учуял этот запах паленого и услышал скрежет зубов.

Санитары ввели нас, и у самой двери мы столкнулись с высоким костлявым стариком, он был подвешен на проводе, привинченном между лопаток. Оглядел нас желтыми чешуйчатыми глазами и покачал головой.

— Я умываю руки от всех этих дел, — сказал он одному из цветных санитаров, и провод утащил его дальше по коридору.

Мы шли за ним в дневную комнату. Макмерфи остановился в дверях, расставил ноги, отвел голову назад, чтобы все рассмотреть, хотел подцепить большими пальцами карманы, но мешали наручники.

— Ну и кино, — процедил он сквозь зубы.

Я кивнул. Все это мне уже было знакомо.

Пару человек, курсировавших по комнате, остановились посмотреть на нас; снова притащился костлявый старик, умывающий руки от всех этих дел. Поначалу никто не обратил на нас внимания. Санитары ушли на пост, а мы остались стоять посередине комнаты. Глаз у Макмерфи заплыл, от этого он постоянно подмигивал, губы опухли, я видел, как трудно ему улыбаться. Он поднял руки

в наручниках, окинул взглядом всю эту шумную суету и сделал глубокий вдох.

— Фамилия моя Макмерфи, приятели, — заговорил он, медленно растягивая слова, как ковбой в фильме, — и хотел бы я знать, кто из вас, дятлов, заправляет покером в этом заведении?

Пинг-понговые часы быстро затикали на полу и смолкли.

— Играть в очко стреноженным мне будет трудновато, но все-таки уверяю вас, что в покере я маг.

Он зевнул, двинул плечом, согнулся, прочистил горло и плюнул в урну в пяти футах от него, там что-то звякнуло, он снова выпрямился, улыбнулся и языком лизнул кровоточащую дыру на месте зуба.

— Попали в передрягу внизу. Нам с Вождем пришлось кое-что выяснить у двух грязных макак.

Грохот штамповки к этому моменту прекратился, народ уставился на нас. Макмерфи притягивал все взоры, как зазывала на ярмарке. Рядом с ним я тоже привлекал внимание, люди смотрели на меня, и я считал нужным выпрямиться во весь рост. Сделать это оказалось не просто: заболела спина, — наверное, ушибся, когда падал в душе с повисшим на мне черным, — но я не подал виду.

Один из зрителей — тощий, косматый, с черными волосами — подошел ко мне с протянутой рукой, будто рассчитывал, что я ему что-нибудь дам. Я попытался не обращаться на него внимания, но, куда бы я ни повернулся, он оказывался передо мной и, словно ребенок, вытягивал свою пустую ладошку.

Какое-то время Макмерфи еще рассказывал о драке, а спина у меня болела все больше: так долго я просидел, скрючившись в своем кресле в углу, что совсем не мог стоять выпрямившись. Поэтому я обрадовался, когда пришла маленькая медсестра-японка и увела нас на дежурный пост, где можно было присесть и отдохнуть.

Она спросила, успокоились ли мы, чтобы снять с нас наручники, Макмерфи кивнул. Он тяжело опустился в кресло, свесил голову, зажал локти между коленями и выглядел совершенно измученным. И я не сразу понял, что ему так же тяжело находиться в выпрямленном состоянии, как и мне.

Сестра — маленький короткий пустячок, соструганный до предела, как сказал о ней позже Макмерфи, — сняла наши наручники, дала Макмерфи сигарету, а мне жевательную резинку. Надо же, помнит, что я жевал резинку. А я ее

совсем не помню. Макмерфи курил, сестра обмакивала в банку с мазью свою розовую ручку с пальчиками-свечами, которые ставят на дни рождения, и обрабатывала его ссадины, дергаясь всякий раз, когда он дергался от боли, и при этом извинялась. Затем взяла его кисть обеими руками, повернула и смазала суставы.

— С кем это вы? — спросила она, глядя на суставы. — С Вашингтоном или Уорреном?

Макмерфи глянул на нее и ответил ухмыляясь:

— С Вашингтоном. Уорреном занимался Вождь.

Она отпустила его руку, повернулась ко мне, и я смог разглядеть нежные, как у птиц, косточки на ее лице.

— У вас есть ушибы?

Я отрицательно покачал головой.

— А что с Уорреном и Уильямсом?

Макмерфи сказал, что в следующий раз она их увидит, скорее всего, в гипсовых украшениях. Она кивнула и опустила глаза.

— Что-то не похоже на ее отделение. Вернее, похоже, но не совсем. Военные медсестры пытаются превратить больницу в военный госпиталь. Они сами не очень нормальные. Иногда я думаю, что всех незамужних медсестер, как только им

исполняется тридцать пять, следует увольнять.

— По крайней мере, всех незамужних *военных* медсестер, — добавил Макмерфи. Он спросил, как долго мы сможем иметь удовольствие пользоваться ее гостеприимством.

— Боюсь, что недолго.

— *Боитесь*, что недолго? — переспросил Макмерфи.

— Да. Иногда я предпочла бы держать людей здесь и не отправлять обратно, но она старше меня по должности. Нет, вероятно, вы здесь долго не пробудете… Я имею в виду… такие, как вы.

Все кровати в буйном расстроенные до неприличия: то слишком натянутые, то провисшие до пола. Нам дали кровати по соседству. Простыней меня не перевязали, но все же оставили тусклый свет рядом с кроватью.

Среди ночи кто-то завопил:

— Индеец, я вхожу в штопор! Смотри меня, смотри!

Я открыл глаза и прямо перед собой увидел светящиеся длинные желтые зубы. Это был тот самый тип с голодным взглядом.

— Индеец, я вхожу в штопор! Пожалуйста, смотри меня!

Санитары подхватили его сзади и поволокли

из спальни, а он все смеялся и кричал: «Я вхожу в штопор, индеец!» Потом просто смеялся. Все время, пока его тащили по коридору, он повторял эти слова и смеялся, наконец в спальне стало тихо, и я услышал другого: «Что ж… я умываю руки от всех этих дел».

— Вождь, к тебе тут дружок приходил, — прошептал Макмерфи, повернулся и снова заснул.

А я больше не смог уснуть и все видел эти желтые зубы, голодное лицо, просившее: «Смотри меня! Смотри меня!» А потом, когда я все-таки уснул, оно просило без слов. Это лицо — желтая, изголодавшаяся нужда — надвигалось на меня из темноты, хотело чего-то… просило. Я удивлялся, как Макмерфи может спать в окружении сотни таких лиц или двух сотен, а может, и тысячи.

В буйном пациентов будили сиреной, не как у нас, где только включали свет. Звук этот напоминал гигантскую точилку для карандашей, затачивающую что-то ужасное. Когда мы его услышали, разом подскочили в своих кроватях и уже снова собрались было лечь, как вдруг динамик сообщил, что нас двоих вызывают на дежурный пост. Я поднялся с постели с негнущейся спиной и мог лишь чуть-чуть наклоняться. По тому, как скорчился Макмерфи, я понял, что и он

стал за ночь таким же.

— Интересно, что они там приготовили для нас, Вождь? — спросил он. — Сапожок? Дыбу? Неплохо бы что-нибудь, не требующее усилий, а то я как разбитое корыто.

Я успокоил его, сказал, что это не потребует усилий, но больше ничего не говорил, потому что сам не был уверен. На дежурном посту медсестра, уже другая, спросила: «Мистер Макмерфи и мистер Бромден?» и каждому вручила по маленькому бумажному стаканчику.

Я заглянул в свой — там были знакомые красные капсулы.

Тонкий звон возник у меня в голове и никак не прекращается.

— Постойте, — говорит Макмерфи. — Это что, нокаутирующие таблетки?

Сестра кивает и поворачивает голову, проверить, есть ли кто сзади. Там двое со щипцами для льда, наклонились вперед, локтем чувствуют друг друга.

Макмерфи возвращает стаканчик.

— Нет, мэм. Не хочу завязывать глаза. Хотя от сигареты не откажусь.

Я тоже возвращаю свой стаканчик, тогда она говорит, что должна позвонить по телефону, но,

прежде чем мы успеваем что-нибудь сказать, она выскальзывает в стеклянную дверь рядом и уже разговаривает по телефону.

— Извини, Вождь, что втянул тебя в это дело, — говорит Макмерфи.

Я его почти не слышу из-за шума и свиста телефонных проводов в стенах. Чувствую, как летит на меня лавина испуганных мыслей.

Мы сидим в дневной комнате, вокруг те же лица. В дверях появляется сама Большая Сестра, по бокам и на шаг сзади наши большие черные. Пытаюсь спрятаться в кресле, но поздно. Слишком много людей смотрят на меня, липкими глазами держат и не дают двигаться.

— Доброе утро, — говорит она. Та же знакомая улыбка.

Макмерфи отвечает «доброе утро», а я молчу, хотя она и мне громко говорит «доброе утро». Смотрю на черных: у одного пластырь на носу и рука на перевязи, серая кисть висит, как утонувший паук, другой ходит так, будто все ребра у него в гипсе. Оба с ухмылкой на губах. При их состоянии могли бы и не выходить на работу, но не хотят упустить такое. Я ухмыляюсь им в ответ, чтоб тоже знали.

Большая Сестра говорит Макмерфи мягким и

терпеливым голосом, как безответственно он себя вел, по-детски, вспылил, как маленький мальчик, — неужели не стыдно? Он отвечает, что нет, и просит продолжать.

Она рассказывает, как вчера, на специальном собрании группы, пациенты нашего отделения согласились с мнением медперсонала, что ему будет полезна шоковая терапия — если он не признает своих ошибок. То есть ему лишь надо *признать*, что он был не прав, подтвердить, *продемонстрировать* готовность к контакту, тогда лечение отменят.

Кольцо из лиц ждет, наблюдает. Сестра повторяет, что все зависит только от него.

— Точно? — спрашивает он. — У вас с собой бумага, которую я могу подписать?

— Нет, но если вы считаете необхо…

— Раз уж вы затронули этот вопрос, может, стоит кое-что добавить, например, участие в заговоре свергнуть правительство, а еще мое мнение по поводу того, что жизнь в вашем отделении — самая приятная штука по эту сторону от Гавайев, ну, и всякую другую чушь.

— Мне кажется, что это…

— А потом, когда я все подпишу, вы принесете мне одеяло и пачку сигарет от Красного Креста.

Ого! Китайским коммунистам следовало бы у вас поучиться.

— Рэндл, мы пытаемся помочь вам.

Но он уже встал и, почесывая живот, пошел мимо нее и попятившихся черных к карточным столам.

— О'кей, так-так, где тут покерный стол, ребята?

Сестра с минуту смотрит ему вслед, потом идет на дежурный пост звонить.

Двое цветных и белый санитар с курчавыми светлыми волосами сопровождают нас в Главный корпус. По дороге Макмерфи беседует с белым, будто мы на прогулке.

Трава под толстым слоем инея, и оба цветных выпускают клубы пара, как паровозы. Солнце, раздвинув облака, поджигает иней — земля искрится. Воробьи, нахохлившись от холода, ищут среди искр зерна. Мы идем напрямик по хрустящей траве, мимо сусликовых нор, где я видел собаку. Холодные искры. Иней глубоко в норах.

Чувствую его в своем желудке.

Приходим к той двери, за ней гудение, как в растревоженном улье. Перед нами двое, шатаются от красных капсул. Один зашелся как младенец:

— Это мой крест, Господи, благодарю тебя,

только это у меня и осталось, Господи, благодарю тебя…

Второй в очереди тоже твердит свое:

— Взять мяч, взять мяч.

Это спасатель из бассейна. Он тихо плачет.

Я не буду плакать и кричать — со мной рядом Макмерфи.

Техник просит нас снять туфли. Макмерфи интересуется, как насчет брюк? Может, тоже разрежут? А головы обреют? Но техник отвечает: мол, много хочешь.

Металлическая дверь глядит своими глазами-заклепками.

Дверь открывается, всасывает первого. Спасатель даже не шелохнулся. Черный пульт в комнате посылает луч, похожий на неоновый дым, который захватывает его лоб со следами от клемм и втаскивает внутрь, как собаку на поводке. Луч трижды крутит его на месте, на лице ужас, он мычит: «Бей раз, бей два, бей три!» — и дверь закрывается.

Слышу, как в комнате с него снимают лоб, словно крышку люка, лязг и путаница заклинивших шестерен.

Дым распахивает дверь, выезжает каталка с первым, он водит по мне глазами, как грабля-

ми. То самое лицо. Каталка въезжает обратно и вывозит спасателя. Слышу, как болельщики скандируют его имя.

Техник объявляет:

— Следующая группа.

Пол холодный, в инее, хрустит. Вверху завыл свет — длинная ледяная белая трубка. Чувствую запах графитовой смазки, словно в гараже. Чувствую кислый запах страха. Вверху одно окно, маленькое, там видны нахохлившиеся воробьи, сидят на проводе, как коричневые бусинки. Голову от холода спрятали в перья. Что-то включается и гонит ветер по моим полым костям, выше и выше.

— Воздушная тревога! Воздушная тревога!

— Перестань орать, Вождь…

— Воздушная тревога!

— Спокойней, Вождь. Я пойду первым. Мой толстый череп им не удастся прошибить. А если не выйдет со мной, то и с тобой тоже.

Сам взбирается на стол, разводит руки в стороны точно по тени. Поворот переключателя — зажимы щелкают, прижимают его запястья и лодыжки к тени. Чья-то рука снимает с него часы, которые он выиграл у Скэнлона, бросает рядом с пультом, они раскрываются, шестеренки,

колесики, длинная раскрутившаяся спираль пружины прыгают на боковую стенку пульта и прилипают к ней.

Похоже, он совсем не боится, все время улыбается мне.

Ему нанесли графитовую мазь на виски.

— Что это? — спрашивает он.

— Проводящее вещество, — отвечает техник.

— Помазание проводящим веществом. А терновый венец наденете?

Втирают мазь. Он поет им, и у них дрожат руки.

— Найди мне крем из ди-иких трав…

Надевают что-то вроде наушников, на покрытых графитом висках — венец из серебряных шипов. Чтобы не пел, дают ему прикусить кусок резинового шланга.

— Волшебный нежный ла-а-но-лин!

Крутят какие-то регуляторы, машина начинает дрожать, две руки берут по паяльнику и склоняются над ним. Он подмигивает мне, что-то говорит, но мешает во рту шланг, слова неразборчивы, что-то рассказывает, а паяльники приближаются к серебру на висках… мелькают яркие дуги, тело его напрягается, выгибается мостом, на столе лишь запястья и щиколотки, но

через сжатый зубами черный резиновый шланг слышно нечто вроде «О-го!», и весь он покрывается инеем из искр.

За окном воробьи, дымясь, падают с провода.

Его выкатывают на каталке, он еще дергается, лицо заиндевело от инея. Коррозия. Аккумуляторная кислота. Техник поворачивается ко мне.

— Осторожней с этой дубиной. Я его знаю. Держи его!

О силе воли не может быть и речи.

— Держи его! Черт! Теперь будем работать только с теми, кто принял сэконал.

Зажимы впиваются в мои запястья и щиколотки.

В графитовой мази железные опилки, царапают виски.

Он что-то сказал мне, когда подмигивал. Рассказывал что-то.

Надо мной кто-то наклоняется, подводит два паяльника к кольцу на голове.

Машина выгибает меня.

Воздушная тревога.

Когда с горы спускался, на пулю нарвался. Там враг стоит и там стоит. Смотри прямо в дуло — и будешь убит, убит, убит.

Мы вышли из полосы тростника у самой же-

лезной дороги. Прикладываю ухо к рельсу, он обжигает щеку.

— Ничего ни с той, ни с этой стороны, — говорю я, — на сотню миль ничего…

— Хм, — говорит папа.

— Мы же так всегда бизонов слушали: воткнешь нож в землю, возьмешься зубами за рукоятку — стадо слышно далеко, так?

— Хм, — снова говорит он, но ему смешно.

С другой стороны железной дороги полоска соломы с прошлой зимы. Собака говорит, что под ней мыши.

— В какую сторону пойдем, сынок?

— Пойдем через дорогу, так говорит собака.

— Что-то собака рядом не идет?

— Пойдет. Там птицы, вот что она говорит.

— А отец говорит, лучше охотиться вдоль насыпи.

— Лучше через пути у соломы, говорит мне собака.

Переходим железнодорожные пути — вдруг люди начинают вовсю палить по фазанам вдоль дороги. Похоже, наша собака забежала слишком далеко вперед и спугнула всех птиц с соломы.

Собака поймала трех мышей.

…человек, человек, человек, человек… Широ-

коплечий, высокий и мигает, как звезда.

Надо же, опять эти муравьи, вот сейчас я им задам, кусаются, черти. Помнишь, раз мы нашли таких муравьев, они были на вкус как укроп в маринаде? А? Ты сказал, что не укроп, а я говорил, укроп. А твоя мама, когда это услышала, дала мне взбучку: учишь ребенка есть букашек!

Х-м. Хороший индейский мальчик должен уметь выжить, питаясь чем угодно, если оно его не съест первым.

Мы не индейцы. Мы цивилизованные, и не забывай об этом.

Ты сказал мне, папа, чтобы я, когда ты умрешь, прикрепил тебя к небу.

Мамина фамилия была Бромден. И сейчас она Бромден. Папа сказал, что он родился только с именем, вписался в него, как теленок в развернутое одеяло, когда корова телится стоя. Ти А Миллатуна, Самая Высокая Сосна На Горе, и я самый большой индеец в штате Орегон, а может, даже в Калифорнии и Айдахо. Родился прямо на имя.

Ей-Богу, ты самый большой глупец, если думаешь, что истинная христианка возьмет имя Ти А Миллатуна. Ты родился с этим именем, ну и хорошо, и я родилась с именем Бромден. Мэри

Луиза Бромден.

Папа говорит, что, когда мы переедем в город, с этим именем нам будет намного легче получить социальные гарантии.

Мужик гонится за кем-то с клепальным молотком, ох и всадит ему, если догонит. Снова вижу вспышки молний, разноцветный фейерверк.

Дзинь-дзинь-дзинь, дрожит рука, прячьтесь все от рыбака… раз, два, три, четыре, пять, тетка ловит кур опять… в небе гуси пролетают, мы сейчас их сосчитаем… первый полетел на юг, а второй вернулся в дом, третий сделал плавный круг над кукушкиным гнездом… тингл-тингл-тэнглтон, гусь летит — выходишь вон…

Так приговаривала моя старенькая бабушка. Мы часами играли в эту игру, сидя рядом с вяленой рыбой и отгоняя мух. Игра называлась «Тингл-тингл-тэнглтон». Я сидел с растопыренными пальцами, и бабушка на каждый слог отсчитывала один мой палец.

Дзинь-дзинь-дзинь (три пальца)… тетка ловит кур опять (двадцать три); с каждым слогом она ритмично касается моих пальцев своей черной, похожей на краба рукой, все мои ногти обращены к ней, как маленькие лица, и каждый хочет, чтобы именно его выбрал гусь.

Я люблю игру и люблю бабушку. Не люблю тетку, которая ловит кур. Не люблю. А вот гуся, что летит над кукушкиным гнездом, люблю. Люблю его и люблю бабушку. В морщинках у нее пыль.

В следующий раз я видел ее уже мертвой, на тротуаре в самом центре Даллза; труп обступили цветастые рубашки — индейцы, скотоводы, сельскохозяйственные рабочие. Отвезли ее на городское кладбище, засыпали глаза красной глиной.

Помню знойное предгрозовое послеобеденное время, когда дикие кролики забегали под колеса дизельных грузовиков.

После подписания контракта у Джо Рыба-в-Бочке было уже двадцать тысяч долларов и три «кадиллака». Но ни на одном из них он не умел ездить.

Вижу игральную кость.

Вижу ее изнутри, сам я на дне кубика. Я груз, заставляю кубик ложиться единицей вверх. Всегда единицей и всегда вверх. Они сработали так, чтобы выбрасывалась только единица, а я груз; меня окружают шесть бугров, как шесть белых подушек, — это шестерка на противоположной стороне кубика, она всегда внизу. А другая кость как сработана? Держу пари, тоже на единицу. Гла-

за змеи. Он играет в кости с шулерами, а я груз.

Посторонись, бросаю. Эх, дамочка, в карманах пусто, а так хочется новые парадные туфли. Получай. Вот это да-а!

Неудача.

Промок насквозь. Лежу в луже.

Глаза змеи. Снова его пробросили. Вижу над собой единицу. Не может никак выиграть своими шулерскими костями в маленькой улочке за продовольственным магазином в Портленде.

Улочка — это тоннель, здесь холодно, потому что солнце заходит. Можно я… проведаю бабушку? Пожалуйста, мама.

Что он сказал, когда подмигивал?

Первый полетел на юг, а второй вернулся в дом.

Не стой у меня на пути.

Черт тебя побери, сестра, не стой у меня на пути **пути ПУТИ**!

Мне метать. Э-э. Черт. Неудача. Глаза змеи.

Учительница сказала, у тебя умная голова, сынок, кем-нибудь вырастешь…

Кем, папа? Ткать ковры, как дядя Б. и П. Волк? Плести корзины? Или стану еще одним пьяницей-индейцем?

Послушай, механик, ты индеец?

Совершенно верно.

Должен признаться, ты отлично знаешь язык.

Да.

Хорошо… на три доллара обыкновенного бензина.

У них бы поубавилось спеси, если бы узнали, что происходит между мной и луной. Не обычный индеец, черт…

Тот, кто — не помню, откуда это? — шагает не в ногу, слышит другой барабан.

Снова глаза змеи. Э-э, парень, да эти кости не двигаются.

После похорон бабушки папа, я и дядя Бегущий и Прыгающий Волк откопали ее. Мама не пошла с нами, ни о чем таком она никогда раньше не слышала. Повесить труп на *дереве*! Любому дурно станет. За осквернение могилы дядя Б. и П. Волк и папа отсидели двадцать дней в вытрезвителе тюрьмы в Даллзе, играя в карты.

Но это же наша мать, черт побери!

Не имеет значения, ребята. Вам не надо было ее трогать. Не знаю, когда вы, чертовы индейцы, это поймете. А теперь скажите, где она? Лучше признайтесь сами.

Пошел ты, бледнолицый, сказал дядя Б. и П. Волк, делая самокрутку. Я не скажу.

Высоко-высоко в горах, в своей постели на высокой сосне, чертит старой рукой вместе с ветром, считает облака под старую считалку:…в небе гуси пролетают…

Что же ты сказал мне, когда подмигнул?

Играет оркестр. Смотри — *небо,* сегодня Четвертое июля.

Игральные кости остановились.

Снова они добрались до меня с этой машиной… интересно…

Что же он сказал?

…интересно, как Макмерфи удалось сделать меня снова большим?

Он сказал: «Взять мяч».

Они там, снаружи. Черные в белой форме мочатся под дверь на меня, потом придут и свалят на меня, будто я промочил все шесть подушек, на которых лежу. Шестерка. Мне казалось, комната — это игральная кость. Единица, глаз змеи вверху, круг, белый *свет* в потолке… так вот что я видел… в маленькой комнате-кубике… наверное, уже темно. Сколько часов я находился в отключке? Немного туманит, но я не утону в нем, не спрячусь. Нет… уже никогда…

Я стою, поднялся медленно, чувствую, как между лопатками онемело. Белые подушки на полу

изолятора промокли насквозь, когда я находился без сознания. Я пока не мог вспомнить всего, но протер глаза ладонями и начал стараться, чтобы в голове прояснилось. Я очень старался. Еще никогда я сам не пытался выбраться.

Пьяной походкой я потащился к маленькому, как в курятнике, круглому, забранному проволокой окошку в двери и постучал по нему костяшками пальцев. Увидел, как по коридору ко мне с подносом идет санитар, и понял: на этот раз я их победил.

* * *

Бывали периоды, когда после шоковой терапии я недели две ходил в полубессознательном состоянии, жил в какой-то туманной и неясной дымке, похожей на неровную границу сна, — такой серый промежуток между светом и тенью, явью и сном, жизнью и смертью, когда ты понимаешь, что уже вышел из обморочного состояния, но еще не знаешь, какой сейчас день, кто ты на самом деле и вообще есть ли смысл приходить в себя, — по две недели. Если просыпаться не хочется, незачем, можно продлить это состояние и еще долго и бесцельно болтаться в туманной пелене, но, когда надо, я это понял, выбраться

можно очень скоро, если только постараться. И я постарался: пришел в себя меньше чем за день — быстрее мне еще не удавалось.

Когда туман в моей голове рассеялся, я чувствовал себя так, как водолаз после долгого и глубокого погружения, мне казалось, будто лет сто я пробыл под водой и только сейчас наконец вынырнул. Это был последний мой электрошок.

А Макмерфи в течение недели получил еще три сеанса. Каждый раз, когда он приходил в себя и уже был способен подмигивать, являлась мисс Вредчет с доктором и снова пытала его: произошли ли какие-нибудь с ним изменения, готов ли он обсудить свое поведение на собрании и не думает ли снова вернуться в отделение. В такие моменты он весь преображался, зная, что народ из буйного, все до единого, смотрят в его сторону и ждут, и говорил сестре: как жаль, что у него только одна жизнь, которую он приносит в жертву ради своей страны, и пусть она поцелует его в розовый зад, но корабль он не оставит. Да!

Он поднимался со стула, раскланивался перед улыбающимися зрителями, а сестра уводила доктора на дежурный пост, чтобы позвонить в Главный корпус за разрешением на еще один сеанс.

Как-то раз, когда она повернулась уходить, он ущипнул ее через форму за одно место так, что ее лицо стало цвета его волос. Если бы не доктор, который стоял рядом и с трудом прятал улыбку, она бы влепила Макмерфи пощечину.

Я пытался уговорить его, чтобы он уступил сестре, главное — избежать электрошока, но он только смеялся, мол, они лишь бесплатно заряжают его аккумулятор, больше ничего, говорил, что, когда выберется отсюда, первая женщина, которая подберет рыжего Макмерфи, психа в десять тысяч ватт, сразу же засветится и замигает, как игральный автомат, и расплатится серебряными долларами. «Нет, я не боюсь их хилого зарядного устройства».

Он уверял, что ему не больно. Даже не принимал капсул. Но каждый раз, когда громкоговоритель объявлял, что ему следует воздержаться от завтрака и приготовиться к посещению Главного корпуса, он бледнел, на скулах начинали ходить желваки, лицо становилось худым и испуганным — точно таким я видел его в ветровом стекле, когда мы ехали с рыбалки.

В конце недели меня вернули из буйного в наше отделение. Многое я хотел ему сказать перед уходом, но он еще не пришел в себя после очередного

электрошока, сидел и наблюдал за пинг-понгом, так что казалось: глаза его привязаны к шарику. Цветной санитар с санитаром-блондином отвели меня вниз, впустили в наше отделение, заперли за мной дверь, и я подумал, как здесь ужасно тихо после буйного. Я пошел в дневную комнату и, сам не знаю почему, остановился в дверях; все головы повернулись ко мне — на всех лицах такое выражение, какого я никогда раньше не видел. Лица их светились так, будто они смотрели на переливающуюся яркими огнями передвижную ярмарку.

— Дорогие друзья! — торжественно объявил Хардинг. — Перед вами дикарь, который сломал руку черному! Вот, смотрите!

Я улыбнулся им. Наконец я понял, что должен был чувствовать Макмерфи, с первого дня и до последнего, в окружении этих кричащих на него лиц.

Они обступили меня и просили рассказать обо всем, что случилось: как он держал себя там? Что делал? Правда ли, ходят слухи, что каждый день его обрабатывают электрошоком, а с него как с гуся вода, и он заключает пари с техниками на то, сколько сумеет держать глаза открытыми после включения.

Я все рассказал, и — надо же! — никого не удивило, что я вдруг заговорил, что человек, которого они считали глухонемым черт знает с каких времен и никогда не слышали от него ни слова, теперь разговаривает и слушает, как любой из них. Я сказал, что все истории — правда, и даже подбросил кое-что от себя. Они так хохотали над его ответами сестре, что два овоща даже заулыбались и фыркнули под своими мокрыми простынями, будто тоже что-то поняли.

Когда в следующий раз на собрании группы сестра подняла вопрос о пациенте Макмерфи, мол, по непонятным причинам он совсем не реагирует на ЭШТ и, чтобы установить с ним контакт, могут потребоваться более радикальные меры, Хардинг сказал:

— Конечно, мисс Вредчет, вполне верятно, что это так… Однако до нас дошли слухи, как проходили ваши встречи с Макмерфи там, наверху, и, судя по всему, он не испытывал никаких трудностей в установлении контакта с вами.

Все в комнате засмеялись; это ее совсем сбило с толку, и она заговорила о другом.

Ей стало ясно: пока Макмерфи наверху и пациенты не видят, как она его обрабатывает, он вырастает все больше и больше, превращаясь

почти в легенду. Трудно представить себе человека слабым, если он находится вне вашего поля зрения. Это она поняла и решила вернуть Макмерфи в отделение. Пусть пациенты сами увидят, что он так же уязвим, как и любой другой. Он перестанет выглядеть героем, когда изо дня в день будет сидеть в дневной комнате апатичный и невменяемый после очередного электрошока.

Пациенты предвидели это, а также и то, что здесь, в отделении, на глазах у всех, она начнет подвергать его электрошоку с такой скоростью, что он не будет успевать приходить в себя. Поэтому Хардинг, Скэнлон, Фредриксон и я обсудили это и решили убедить его, что для всех будет лучше, если он сбежит из отделения. К субботе, когда его привели обратно в отделение, — он вошел в дневную комнату танцующей походкой, как боксер на ринг, сцепив руки над головой и сообщая, что чемпион вернулся, — план у нас уже был разработан. Дождемся, пока стемнеет, подожжем матрац, а когда прибудут пожарные, толпа вынесет его за дверь. План показался нам отличным, мы были уверены: Макмерфи не откажется.

Но мы не подумали, что именно в этот день он собирался тайно провести в отделение Кэнди, ту самую девушку, к Билли.

Макмерфи вернулся назад в отделение около десяти утра.

— Весь в моче и уксусе, приятели. У меня проверили и прочистили свечи, теперь искрюсь, как катушка зажигания в модели Т. Когда-нибудь пробовали подсвечивать такими катушками тыквенные маски? Вззззз! Хорошо можно подшутить!

И отправился гулять по всему отделению, большой, как никогда. Опрокинул ведро с грязной водой под дверью в дежурный пост, шлепнул кусок масла на носок белой замшевой туфли черного коротышки, причем черный этого не заметил, и весь обед давился от смеха, пока масло таяло и туфля черного приобретала цвет, который Хардинг описал как «желтый, наводящий на неприличные мысли». Каждый раз, когда Макмерфи оказывался рядом с медсестрой-практиканткой, та взвизгивала и, почесывая бок, устремлялась от него подальше.

Мы рассказали ему, какой разработали план его побега, но он сказал, что спешить не надо, и напомнил о свидании Билли.

— Мы же не можем допустить, чтобы парнишка Билли расстроился, не так ли, приятели? Не сейчас же, когда он решил поставить на кон свою

девственность. Если нам все удастся, получится неплохая вечеринка. Назовем ее моей прощальной вечеринкой.

В эти выходные должна была дежурить Большая Сестра: не хотела прозевать его возвращение. И она решила, что нам непременно нужно собраться и кое-что обсудить. На собрании она опять начала разговор о более радикальных мерах и настаивала, чтобы доктор прислушался к этому «прежде, чем будет слишком поздно, и пациенту уже ничем не поможешь». Но Макмерфи так вертелся, подмигивал, зевал и громко рыгал в течение всего ее выступления, что в конце концов она смолкла, после чего он окончательно уморил доктора и пациентов, заявив, что согласен с каждым ее словом.

— Знаете, док, может, сестра и права. Посмотрите, ведь никакой пользы от этой пары жалких вольт. Может, если напряжение удвоить, начну принимать восьмой канал, как Мартини; так надоело лежать в постели и бредить по четвертому одними новостями и погодой.

Сестра прокашлялась и попыталась снова взять собрание в свои руки.

— Я не имела в виду очередную порцию шока, мистер Макмерфи.

— Простите, не понял.

— Я имела в виду… операцию. Совершенно простую, уверяю вас. У нас уже есть положительный опыт в проведении таких операций, когда удавалось ликвидировать агрессивные наклонности у некоторых враждебно настроенных больных…

— Враждебно настроенных? Мэм, я же дружелюбен, как щенок. Уже вторую неделю не вытряхиваю душу из санитаров. Нет никаких причин, чтобы резать меня сейчас, разве не так?

Она одарила его улыбкой, в которой можно было прочитать сочувствие.

— Рэндл, резать ничего не…

— И кроме того, — продолжал он, — какой толк отрезать их, если у меня еще одна пара в тумбочке.

— Еще одна… пара?

— Док, одно большое, как бейсбольный мяч.

— Мистер Макмерфи! — Ее улыбка лопнула, как стекло, когда она поняла, что над ней издеваются.

— А второе, док, можно считать вполне нормальным.

Он продолжал в таком же духе до самого отбоя. В отделении царило праздничное, ярмарочное настроение, все шепотом обсуждали возможность

погулять, если девушка принесет выпивку. Каждому хотелось поймать взгляд Билли, при этом улыбнуться и подмигнуть ему. А когда мы стали в очередь за лекарством, Макмерфи подошел к маленькой медсестре с распятием и родимым пятном и попросил парочку витаминов. Она удивилась, сказала, что не видит причины для отказа, и дала ему несколько таблеток размером с птичье яйцо. Он положил их в карман.

— Разве вы не собираетесь их принимать? — спросила она.

— Я? Конечно, нет. Мне витамины ни к чему. Это для Билли. Кажется, в последнее время он что-то зачах, — наверное, кровь застоялась.

— Тогда… почему же вы не отдадите их Билли?

— Отдам, крошка, отдам, но я думал, ночью они ему больше понадобятся, — и направился в спальню, обняв Билли за покрасневшую шею, подмигнув Хардингу и ткнув меня в бок своим большим пальцем, а сестра так и осталась стоять с широко открытыми глазами, и вода из графина лилась ей на ногу.

Нужно знать, что собой представлял Билли. Хотя на лице у него имелись морщины, а в волосах седина, напоминал он мальчишку: конопатый, с неровными зубами и оттопыренными ушами,

каких часто рисуют на календарях босыми, они обычно волочат на кукане рыбешек и насвистывают себе под нос что-нибудь веселенькое. На самом деле он был совсем другим. Когда он стоял рядом с остальными, удивительно, но оказывалось, что он ничуть не меньше других, а если приглядеться, то и уши у него были нормальные, и зубы, и никаких веснушек, да и вообще ему было за тридцать.

Однажды я слышал, как он назвал свой возраст, по правде говоря, я это подслушал. Он разговаривал со своей матерью. Она работала в регистратуре, такая плотная, хорошо сложенная дама, которая каждые несколько месяцев меняла цвет своих волос с белого на голубой, потом на черный и снова на белый; говорили, что она и Большая Сестра — соседки и большие приятельницы. Всякий раз, когда мы куда-нибудь шли через вестибюль, Билли приходилось останавливаться и наклонять свою пунцовую щеку над стойкой, чтобы она могла запечатлеть на ней поцелуй. Нам было так же неловко, как и ему, поэтому никто, даже Макмерфи, над ним не подтрунивал.

Однажды днем, уже и не помню когда, нас вели на прогулку, и мы задержались в вестибюле:

ждали, пока один наш черный звонил по телефону своему букмекеру. Мы расположились кто в вестибюле на больших пластиковых диванах, кто на полуденном солнце снаружи, и мать Билли, воспользовавшись случаем, оставила свою работу, вышла из-за стойки, взяла сына за руку и села с ним на траву неподалеку от меня. Она сидела прямо, плотно обтянутая на сгибах, вытянув вперед короткие ноги в чулках цвета копченой колбасы, а Билли лег рядом, положив голову ей на колени, и она щекотала его ухо одуванчиком. Билли говорил о том, что нужно было бы жениться и поступить в колледж. Мать щекотала его одуванчиком и смеялась над такой глупостью.

— Милый, у тебя еще масса времени. Вся жизнь впереди.

— Мама, мне т-т-тридцать лет!

Она засмеялась и пощекотала ему ухо одуванчиком.

— Милый, неужели я похожа на мать такого взрослого мужчины?

Она посмотрела на него, наморщив нос, приоткрыла губы, чмокнула, и я подумал, что она вообще не похожа на мать. Я тоже не верил, что ему уже тридцать, и только позже, как-то подобравшись к нему поближе, увидел дату его

рождения у него на браслете.

В полночь, когда сменились Дживер, еще один черный и медсестра, а на дежурство заступил цветной старик Теркл, Макмерфи и Билли поднялись и, как я подумал, начали принимать витамины. Я встал с постели, надел халат и направился в дневную комнату, где они разговаривали с мистером Терклом. Из спальни пришли также Хардинг, Скэнлон, Сефелт и еще несколько человек.

Макмерфи объяснял мистеру Терклу, что тот должен делать, когда придет девушка, вернее, напоминал, потому что, по всей видимости, они уже обговорили все заранее, еще несколько недель назад. Макмерфи сказал, что девушку нужно впустить через окно, потому что вести через вестибюль рискованно: можно напороться на ночного дежурного. Потом надо отпереть изолятор. Такой замечательный шалашик для влюбленных. Очень укромное местечко. («А-х, Макм-мерфи», — все пытался вставить Билли). И не включать свет. Чтобы дежурный ничего не увидел. Двери спальни прикрыть, чтобы не разбудить этих болтунов-хроников. И сохранять тишину, не надо их беспокоить.

— Ну хватит, М-М-Мак, — сказал Билли.

Мистер Теркл кивал, дергал головой и вообще, похоже, засыпал. Когда Макмерфи сказал: «По-моему, мы уже все обговорили», мистер Теркл ответил:

— Нет… не совсем.

Сидит так, улыбается, в белой форме, лысая желтая голова плавает на конце шеи, как шарик на палочке.

— Да ладно тебе, Теркл. Внакладе не останешься. Она должна привезти пару бутылок.

— Уже ближе к делу, — сказал мистер Теркл.

Голова у него моталась и дергалась. Можно было подумать, что он изо всех сил держится, как бы не заснуть. Поговаривали, днем он работал в другом месте, на ипподроме.

Макмерфи повернулся к Билли.

— Билли, мальчик, кажется, Теркл хочет отхватить кусок побольше. Сколько ты дашь за то, чтобы потерять свою девственность?

Прежде чем Билли смог что-то ответить, мистер Теркл отрицательно замахал головой:

— Не это, не деньги. У вашей сладенькой при себе ведь не только бутылка? Сами-то вы поделитесь не только бутылкой? — И с ухмылкой оглядел всех.

Билли чуть не лопнул, заикаясь в попытке

проговорить, что только не Кэнди, только не его девушку! Макмерфи отвел его в сторону и сказал, чтобы он не беспокоился за целомудрие *своей* девушки: к тому времени, когда Билли управится, этот черный старик Теркл будет настолько пьяным и сонным, что не сможет и морковку сунуть в корыто.

Девушка снова опаздывала. Мы сидели в дневной комнате в халатах, слушали, как Макмерфи и мистер Теркл рассказывают армейские истории, покуривая по очереди сигарету мистера Теркла; курили они как-то странно: затягивались и не выпускали дым, пока глаза у них на лоб не вылазили. Хардинг спросил, что за сорт сигарет, у которых такой возбуждающий запах, и мистер Теркл ответил своим тонким задыхающимся голосом:

— Нормальная сигарета. Хи-хи. Дать дернуть?

Билли все больше и больше нервничал, боялся, что она не придет, и в тоже время боялся, что придет. Все спрашивал нас, почему мы не идем спать, а сидим здесь, в холоде и темноте, как собаки, ожидающие объедков со стола, а мы только усмехались ему. Никто из нас не собирался ложиться, никакого холода не было, а было приятно расслабиться в полумраке и слушать,

как травят байки Макмерфи и мистер Теркл. Спать никому не хотелось, и никто, казалось, даже не беспокоился, что сейчас уже больше двух ночи, а девушки все нет. Теркл высказал предположение, что она задерживается, наверное, потому что в отделении темно и ей не видно, куда идти. Макмерфи воскликнул, что так оно и есть, и они вдвоем начали бегать по коридорам, включать везде свет, уже готовы были включить в спальне мощные потолочные лампы, которые применялись для побудки, но Хардинг сказал, что это разбудит остальных, тогда придется с ними делиться. Они согласились и вместо этого включили свет в кабинете доктора.

Как только отделение осветилось и в нем стало видно как днем, в окно постучали. Макмерфи подбежал к окну, прижался к нему лицом и прикрыл ладонями глаза от света. Потом с улыбкой повернулся к нам.

— Сама красота в ночи, — сказал он. Взял Билли за руку и потащил к окну. — Открывай, Теркл. Выпускаем на нее этого бешеного жеребца.

— Слушай, Макм-м-мерфи, подожди. — Билли упирался как мул.

— Билли, мальчик, хватит, «Ма-ма-мерфи». Теперь уже поздно отступать. Прорвешься. Вот

что я тебе скажу: ставлю свои пять долларов на то, что ты ее здорово отдерешь, ну? Теркл, открывай окно.

В темноте стояли две девушки — Кэнди и еще одна, та, что не пришла на рыбалку.

— Блеск, — одобрительно сказал Теркл, помогая им влезть в окно. — На всех хватит.

Мы бросились помогать, девушкам пришлось задрать свои узкие юбки до бедер, чтобы перемахнуть через подоконник.

— Чертов Макмерфи, — воскликнула Кэнди и так дико бросилась ему на шею, что едва не разбила бутылки, которые держала за горлышко в каждой руке. Ее прилично покачивало, волосы выпадали из прически, которую она соорудила на макушке. Я подумал, что ей больше шло, когда они были закручены на затылке, как тогда, на рыбалке. Бутылкой она показала на вторую девушку, которая в этот момент влезала в окно.

— Сэнди тоже приехала. Взяла и ушла от этого маньяка из Бивертона. Жуть, правда?

Девушка перешагнула через подоконник, поцеловала Макмерфи и сказала:

— Привет, Мак. Извини, что тогда не приехала. Но с этим покончено. Я уже по горло сыта этими шуточками: белая мышь в наволочке, черви в

креме, лягушки в лифчике. — Она мотнула головой и помахала ладонью перед собой, как будто стирала из памяти своего бывшего мужа, любителя животных. — Боже, натуральный маньяк!

На обеих девушках были юбки, свитера, нейлоновые чулки, обе были босые, краснощекие, и обе хихикали.

— Пришлось спрашивать дорогу, — объяснила Кэнди, — во всех встречных барах.

Сэнди осматривалась, широко раскрыв глаза.

— Ого, Кэнди, девочка, куда это мы попали? Это не сон? Неужели мы в сумасшедшем доме? Вот это да!

Она была крупнее Кэнди и лет на пять старше, свои каштановые волосы собрала в модный узел на затылке, но они падали прядями на упитанные, здорового цвета щеки, и она больше походила на пастушку, которая выдает себя за светскую даму. Ее плечи, грудь и бедра были слишком широкими, а улыбка слишком открытой и бесхитростной, чтобы можно было назвать ее красавицей, но она была привлекательной, выглядела здоровой и одним пальцем за кольцо держала бутыль с галлоном красного вина, которая, как сумка, качалась у нее сбоку.

— Кэнди, ну почему, почему, почему именно с

нами постоянно что-нибудь такое происходит? — Она еще раз повернулась кругом и остановилась, расставив босые ноги и хихикая.

— А наяву ничего не происходит, — торжественно сказал Хардинг. — Вы в своих фантазиях, которыми грезите, когда лежите без сна ночью, а потом боитесь рассказать психиатру. На самом деле вас здесь нет. И вино это нереально, и вообще *ничего* этого не существует. Но теперь пойдемте отсюда.

— Привет, Билли, — сказала Кэнди.

— Вот это ягодка! — присвистнул Теркл.

— Я принесла тебе подарок, — Кэнди неловко протянула Билли бутылку.

— Это все грезы! — заявил Хардинг.

— Батюшки! — воскликнула девушка по имени Сэнди. — Куда мы попали?

— Тссс, — прошипел Скэнлон и, сердито нахмурившись, оглянулся. — Перестаньте кричать, а то разбудите тех хануриков.

— В чем дело, жадина? — хихикнула Сэнди и снова закружилась, осматриваясь. — Боишься, на всех не хватит?

— Сэнди, чертовка, я так и знал, что притащишь этот дешевый портвейн.

— Ого! — Сэнди прекратила крутиться и по-

смотрела на меня. — Глянь-ка на этого, Кэнди! Настоящий Голиаф.

— Блеск! — сказал мистер Теркл и запер сетку.

— Вот это да! — не могла успокоиться Сэнди.

Все мы сбились в кучу посреди дневной комнаты и, чувствуя себя неловко, толкались, говорили всякую ерунду, не знали, что делать, потому что никогда не оказывались в такой ситуации; неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта взволнованная неловкая болтовня, хихиканье, топтание, если бы вдруг не раздался звук поворачивающегося в замке ключа, после чего распахнулась дверь в отделение. Все вздрогнули, словно сработала сигнализация.

— Боже мой! — запричитал мистер Теркл и схватился руками за лысую голову. — Это дежурная, идет гнать меня из больницы под черный зад.

Мы бросились в уборную, выключили свет и, стоя в темноте, слушали дыхание друг друга. Дежурная ходила по отделению и громким, почти испуганным шепотом звала мистера Теркла. Она не решалась повысить голос, но мы чувствовали, в каком она недоумении.

— Мистер Тер-кл? Мис-тер Теркл?

— Где он делся, черт бы его побрал? — прошеп-

тал Макмерфи. — Почему не отзывается?

— Не волнуйся, — говорит Скэнлон. — В унитазы она заглядывать не будет.

— Но почему он не отзывается? Может, слишком надышался травки и ловит кайф?

— О чем ты говоришь? — раздался голос мистера Теркла где-то рядом, из темноты уборной. — Какой кайф от маленькой самокрутки.

— Боже, Теркл, что ты здесь делаешь? — Макмерфи старался говорить строго и в то же время еле удерживался от смеха. — Дуй отсюда и узнай, в чем там дело. Что она подумает, если не найдет тебя?

— Нам конец, — сказал Хардинг и сел. — Аллах, будь милосерден.

Теркл открыл дверь, выскользнул из уборной и встретил дежурную в коридоре. Она пришла узнать, почему везде горит свет. Что за необходимость включать все светильники в отделении? Теркл сказал, что не все светильники включены, например, в спальне и уборной выключены. Она заявила, что это не предлог, не должно быть столько света; зачем вообще горит весь этот свет? Теркл не нашелся, что ответить, и во время этой паузы я услышал, как в темноте из рук в руки передают бутылку. Там, в коридоре, дежурная

вновь обратилась к Терклу с вопросом, он сказал, что занимался уборкой, драил, так сказать. Тогда она хочет знать, почему именно в уборной, в том месте, где в соответствии со своими обязанностями он обязан производить уборку, свет как раз выключен? Пока мы ждали его ответа, бутылка еще раз пошла по кругу. Дошла до меня, и я приложился к ней, чувствуя, что мне это необходимо. Даже здесь было слышно, как Теркл в коридоре глотает слюну, мекает и бекает, пытаясь что-то сказать.

— Она его доконает, — прошипел Макмерфи. — Надо идти ему на помощь.

Позади меня кто-то спустил воду, дверь открылась, и яркий свет в коридоре выхватил фигуру Хардинга, выходящего из уборной и одновременно подтягивающего пижамные брюки. Я услышал, как дежурная охнула, а Хардинг начал извиняться, мол, не заметил ее, так было темно.

— Но ведь совсем не темно.

— Я имел в виду в уборной. Я всегда выключаю свет для лучшего испражнения. Это все из-за зеркал. Понимаете, когда свет включен, кажется, что зеркала сидят и решают, какое вынести мне наказание, если у меня получится не так, как надо.

— Но санитар Теркл сказал, что убирал там…

— И очень хорошо справился с этой работой, должен признать, если учесть трудности, вызванные темнотой. Желаете убедиться в этом?

Хардинг чуть-чуть приоткрыл дверь, на кафельный пол уборной упала полоска света. Я лишь заметил, как попятилась дежурная, говоря, что вынуждена отказаться от его предложения, ей необходимо продолжать обход. Слышно было, как она ключом открыла входную дверь и исчезла из отделения. Хардинг крикнул ей вслед, чтобы она поскорее приходила еще раз, и все ринулись из туалета, начали жать ему руку, хлопать по спине за то, что он так здорово все уладил.

Мы стояли в коридоре, вино снова пошло по кругу, и Сефелт заявил, что выпил бы водки, если бы ее можно было чем-то разбавить. Он спросил у Теркла, есть ли что-нибудь подходящее в отделении, тот ответил, что ничего, кроме воды, и Фредриксон вспомнил про микстуру от кашля.

— Мне время от времени немного дают из той бутыли в полгаллона, что в аптечной комнате. На вкус она неплохая. Теркл, у тебя есть ключ от той комнаты?

Теркл сказал, что ночью ключ от аптеки только у дежурной, тогда Макмерфи уговорил его, чтобы мы попытались открыть замок без ключа. Теркл

ухмыльнулся и лениво кивнул. Пока Макмерфи колдовал над замком, работая скрепками, девушки и все остальные носились по дежурному посту, открывали папки и читали досье.

— Гляньте-ка, — воскликнул Скэнлон, помахивая одной из папок. — Собрали почти все. У них здесь даже мой табель успеваемости за первый класс. Да-а, оценки неважные, ну просто неважные.

Билли вместе с Кэнди просматривал свое досье. Она отступила и смерила его удивленным взглядом.

— Это действительно так, Билли? Психическое то и извращенное это? Не похоже, чтобы у тебя такое было.

Сэнди выдвинула ящик с запасным инвентарем и с подозрением спрашивала, зачем медсестрам все эти грелки, целый миллион, а Хардинг сидел на столе Большой Сестры, смотрел на всех и качал головой.

Макмерфи и Теркл открыли дверь аптеки и притащили из холодильника бутыль густой жидкости вишневого цвета. Макмерфи наклонил бутыль так, чтобы свет падал на этикетку, и прочитал:

— Ароматические и красящие вещества, лимон-

ная кислота. Семьдесят процентов нейтральных веществ, — должно быть, вода, двадцать процентов спирта — отлично! Десять процентов кодеина. Осторожно, наркотическое средство может вызвать привыкание.

Он отвинтил пробку и, закрыв глаза, попробовал жидкость на вкус. Провел языком по зубам, сделал еще глоток, снова почитал этикетку.

— Ну что ж, — произнес он и щелкнул зубами, как будто только что наточил их, — если мы этим чуток разбавим водку, мне кажется, будет в самый раз. Теркл, приятель, как у нас обстоят дела с кубиками льда?

Смешанная в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном микстура по вкусу напоминала детский напиток, но имела убойную силу кактусовой настойки, которую раньше можно было достать в Даллзе, — прохладная, горло не дерет, но жгучая и бешеная в желудке. Мы выключили свет в дневной комнате, развалились в креслах и потягивали спиртное. Первые пару стаканчиков пропустили, как будто принимали лекарство: пили вдумчиво, маленькими глотками, поглядывая друг на друга — не умрет ли кто. Макмерфи и Теркл попеременно пили и курили сигареты Теркла, снова начали посмеиваться,

теперь уже обсуждая, что было бы, если бы маленькая медсестра не сменилась в полночь, а осталась с нами.

— Я бы все время боялся, — сказал Теркл, — что она отстегает меня этим большим крестом на цепочке. Вот была бы ситуация, а?

— А я бы все время думал, — говорит Макмерфи, — вот получаю удовольствие, а она вдруг протянет руку с термометром мне за спину и измерит температуру!

Все чуть не лопнули от смеха. Хардинг перестал смеяться и продолжил:

— Или того хуже, — говорит он. — Ляжет с тобой с ужасно сосредоточенным видом и вдруг — ой, мамочка, ой, не могу! — сообщит, какой у тебя пульс!

— Ой, не надо… ой, не могу…

— Или еще хуже. Лежа так, начнет вычислять твой пульс и температуру одновременно — без приборов!

— Ой, не могу, пожалуйста, не надо…

От смеха все катались по кушеткам и креслам, задыхались и плакали. Девушки так нахохотались, что сумели подняться на ноги только со второй или третьей попытки.

— Мне нужно… звякнуть, — сообщила та, что

побольше, и пошла, хихикая и пошатываясь, к уборной, но попала в спальню; мы зашикали друг на друга, прижимая палец к губам, и ждали. Вскоре она взвизгнула, затем раздался рев старого полковника Маттерсона:

— Подушка — это… лошадь! — И он понесся за ней из спальни прямо в своей коляске.

Сефелт отвез полковника обратно в спальню и лично повел девушку к уборной, сообщив, что вообще-то уборная только для мужчин, но, пока она не выйдет, он будет стоять у двери, охранять ее покой и защищать от незваных гостей, черт возьми. Она торжественно поблагодарила его, пожала руку, и они отдали друг другу честь. Не успела она скрыться за дверью, как из спальни вновь выкатился полковник, и Сефелт теперь был занят тем, что удерживал его подальше от уборной. Когда девушка выходила оттуда, Сефелт ногой отражал атаки коляски, а мы придвинулись к месту боевых действий и криками подбадривали то одного, то другого. Девушка помогла Сефелту снова уложить полковника в постель, а потом они вдвоем в коридоре вальсировали под музыку, которой никто не слышал.

Хардинг пил, наблюдал за всем и качал головой.

— Ведь на самом деле всего этого нет. Это совместное произведение Кафки, Марка Твена и Мартини.

Макмерфи и Теркл забеспокоились, что все-таки слишком много света, пошли по коридору, выключая все, что светилось, вплоть до маленьких ночничков на высоте колена, и вскоре все утонуло в кромешной тьме. Теркл вынес фонарики, и мы играли в салки в инвалидных колясках, которые притащили из складского помещения; веселились вовсю, как вдруг услышали припадочный крик Сефелта и бросились на помощь. Он растянулся на полу рядом с большой девушкой Сэнди и дергался в конвульсиях. Она отряхивала юбку, глядя на него.

— Мне такого еще не приходилось видеть, — произнесла она тихо и благоговейно.

Фредриксон присел на колени рядом с Сефелтом, всунул ему бумажник между зубами, чтобы не прикусил язык, а потом помог застегнуть пуговицы на брюках.

— С тобой все в порядке, Сеф? Сеф?

Сефелт не открыл глаз, но поднял ослабевшую руку и вытащил бумажник изо рта. Губы его, покрытые слюной, вытянулись в улыбке.

— Все в порядке, — сказал он. — Только дайте

мне лекарство и можете быть свободными.

— Тебе правда нужно лекарство, Сеф?

— Лекарство.

— Лекарство! — бросил Фредриксон через плечо, все еще не вставая с колен.

— Лекарство, — повторил Хардинг и нетвердой походкой направился с фонариком в аптечную комнату.

Сэнди посмотрела ему вслед остекленевшим взглядом. Она сидела рядом с Сефелтом и гладила его по голове, изумлению ее не было предела.

— Может, и мне что-нибудь захвати, — пьяным голосом крикнула она Хардингу. — Никогда ничего такого даже близко я не испытывала.

В коридоре раздался звон стекла, и вскоре Хардинг вернулся с двумя горстями таблеток. Он посыпал ими Сефелта и девушку так, словно бросил первый ком земли в их могилу.

— Боже милосердный, — возвел Хардинг глаза к потолку, — прими в свои объятия двух бедных грешников и приоткрой дверь для нас остальных, ибо являешься ты свидетелем конца, полного, неотвратимого, фантастического конца. Сейчас я понял, что происходит. Это последний наш пир. Мы обречены и должны собрать все свое мужество, чтобы смело встретить неминуемую

гибель. На рассвете нас всех расстреляют. Сто кубиков каждому. Мисс Вредчет выстроит нас у стенки, и мы увидим ужасное и ненасытное дуло дробовика, в который она зарядит милтаун! таразин! либриум! стелазин! Махнет саблей и… *бабах*! Накачают всех транквилизаторами до полного одурения.

Он прислонился к стене, обвис и сполз на пол, таблетки высыпались из его рук и запрыгали во все стороны — красные, зеленые, оранжевые букашки.

— Аминь, — произнес он, закрывая глаза.

Девушка на полу пригладила юбку на длинных натруженных ногах, посмотрела на Сефелта, который все еще дергался, улыбаясь, в конвульсиях рядом с ней под лучами фонариков, и сказала:

— Никогда ничего подобного в жизни не видела.

Речь Хардинга если и не отрезвила, то, по крайней мере, заставила нас всех осознать серьезность происходящего. Ночь подходила к концу, и следовало задуматься, что скоро утро и явится медперсонал. Билли Биббит с Кэнди напомнили нам, что уже пятый час, и, если никто не возражает, они попросили бы мистера Теркла открыть изолятор. Под аркой лучей они

удалились, а мы все пошли в дневную комнату, чтобы подумать и решить, как навести порядок. Отперев дверь изолятора, Теркл вернулся оттуда в полнейшей отключке, и мы были вынуждены отправить его в дневную комнату в инвалидной коляске.

Когда я шел позади всех, я вдруг понял и удивился: надо же, я пьян, пьян по-настоящему, мне тепло и хорошо, я всем улыбаюсь и покачиваюсь, впервые после армии я напился с полдюжиной других пациентов и двумя девушками — и где! — прямо в отделении Большой Сестры! Пьян, бегаю, смеюсь и волочусь за девушками в самом центре самой могущественной цитадели Комбината! Я еще раз вспомнил все события этой ночи, все, что мы вытворяли, — в это невозможно было поверить! Мне приходилось постоянно убеждать себя, что все-таки это произошло, что мы добились этого сами! Взяли и открыли окно, и впустили к себе это, как свежий воздух. Нет, Комбинат не всесилен. Что может удержать нас от повторения этого, когда мы поняли, что это нам по силам? Кто удержит нас от чего-то еще, если нам захочется? От этой мысли я почувствовал себя так хорошо, что, завопив, нагнал Макмерфи и Сэнди, обхватил их руками, приподнял и так бежал до дневной

комнаты, а они кричали и брыкались, как дети. Вот как хорошо мне было.

Полковник Маттерсон снова встал с постели, глаза горят, полон премудростей, и Скэнлон опять покатил его назад в спальню. Сефелт, Мартини и Фредриксон сказали, что им тоже пора на покой. Макмерфи, я, Хардинг, Сэнди и мистер Теркл остались докончить микстуру от кашля и подумать, как быть с беспорядком в отделении. Кроме меня и Хардинга, похоже, это больше никого не беспокоило; Макмерфи и девушка продолжали потягивать микстуру, улыбались и распускали в темноте руки, а мистер Теркл то и дело засыпал.

Хардинг изо всех сил пытался заставить их задуматься.

— Вы не п'нимаете всей с'ожности в'зникшей ситуации, — говорил он, и язык его заплетался.

— Чушь, — отвечал Макмерфи.

Хардинг стукнул ладонью по столу.

— Макмерфи, Теркл, вы не представляете себе, что произ'шло здесь сегодня. В отделении для душевно-б'льных. В отделении мисс Вредчет! П'следствия будут… страшными!

Макмерфи куснул девушку за мочку.

Теркл кивнул, открыл один глаз и сказал:

— Правильно. Она тоже завтра заступает.

— Однако у меня есть план, — сказал Хардинг.

Он встал и заявил, что Макмерфи, очевидно, сейчас в таком состоянии, что сам с возникшей ситуацией справиться не может, поэтому взять на себя эту обязанность должен кто-то другой. По мере того как Хардинг говорил, он распрямлялся и трезвел. Голос его звучал убедительно и настойчиво, а руки облекали сказанное в соответствующую форму. Я был рад, что он взял это на себя.

План его сводился к следующему. Мы связываем Теркла и изображаем все так, будто Макмерфи подкрался к нему сзади, связал его, ну, скажем, кусками разорванной простыни, украл ключи, проник в аптеку, разбросал лекарства, перетряхнул все досье, чтобы насолить сестре — *этому* она поверит, — затем открыл окно с сеткой и сбежал.

Макмерфи заявил, что ну прямо как в кино и такая чушь обязательно должна сработать, и похвалил Хардинга за то, что тот ясно мыслит. Хардинг пояснил, что этот план имеет ряд достоинств: у всех остальных не будет неприятностей с сестрой, Теркла не выгонят с работы, а Макмерфи благополучно исчезнет. Девушки отвезут его в Канаду, Тихуану или, при желании, даже в Неваду, где он будет в полной безопасности; полиция

не очень-то усердствует в поимке беглецов из больниц, потому что девяносто процентов из них через неделю-другую возвращаются назад — пьяные, без цента в кармане — на бесплатный ночлег и дармовую еду. Какое-то время мы обсуждали это и допили всю микстуру. Разговор сам собой смолк. Хардинг сел.

Макмерфи высвободил руку, которой обнимал девушку, посмотрел сначала на меня, потом на Хардинга, задумался, и на лице у него снова появилось усталое выражение. Он спросил, а как же мы, почему бы и нам не рвануть вместе с ним?

— Я пока не готов, Мак, — сообщил Хардинг.

— А почему ты думаешь, что я готов?

Хардинг некоторое время молча смотрел на него, потом улыбнулся и сказал:

— Нет, — ты не понимаешь. Я буду готов, но через несколько недель. Я хочу это сделать сам, через парадную дверь, со всеми формальностями и бюрократическим штучками. Чтобы жена приехала за мной на машине. И чтобы они знали: я еще в состоянии выйти отсюда таким образом.

Макмерфи кивнул.

— А ты, Вождь?

— Я считаю, что со мной все в порядке. Просто пока не знаю, куда идти дальше. И кто-то ведь

должен побыть здесь еще несколько недель, когда ты уйдешь, проследить, чтобы все не пошло по-старому.

— А как же Билли, Сефелт, Фредриксон, остальные?

— Я не могу говорить за них, — сказал Хардинг. — Как и у всех нас, у них свои проблемы. Во многих отношениях они еще больны. Но, по крайней мере, теперь это больные *люди.* Уже не кролики, Мак. И, может быть, когда-нибудь станут здоровыми людьми. Как знать.

Макерфи разглядывал свои руки и о чем-то думал. Снова посмотрел на Хардинга.

— Хардинг, в чем дело? Что происходит?

— Ты обо всем этом?

Макмерфи кивнул.

Хардинг покачал головой.

— Не знаю, сумею ли я объяснить тебе. Конечно, я могу начать изъясняться ученым языком со ссылками на Фрейда, все это будет верно. Но тебе нужны причины причин, и я вряд ли назову их. По крайней мере что касается других. А в отношении себя? Чувство вины. Стыд. Страх. Самоуничижение. В раннем возрасте я сделал открытие… Как бы это сказать помягче… Наверное, общая фраза подойдет лучше, чем то, другое

слово. Я предавался определенному занятию, которое наше общество считает постыдным. И вот заболел. Причина, конечно, не в этом, а в том, что ты чувствуешь, когда на тебя направлен указующий перст общества и миллионы окружающих громко в один голос скандируют: «Позор. Позор. Позор». Так общество поступает со всеми, кто хоть сколько-нибудь отличается от других.

— Я тоже не такой, как все, — возразил Макмерфи. — Почему же что-нибудь в этом роде не случилось со мной? Сколько помню себя, люди все время цеплялись ко мне то с одним, то с другим, но я не от этого… вернее, от этого я не свихнулся.

— Да, ты прав. Ты свихнулся не от этого. Я не думаю, что это единственная причина. Хотя какое-то время, несколько лет назад, еще длинношеим юношей, я считал, что наказание общества — это единственная сила, которая гонит тебя по пути к безумию, но ты заставил меня пересмотреть мою теорию. Есть кое-что еще, друг мой, что гонит по этой дорожке сильных людей, таких, как ты.

— Да? Знаешь, я не согласен, что я на этой дорожке, но все-таки интересно, что это за «кое-что еще»?

— Это мы. — Мягкой и белой рукой он очертил круг и повторил: — Мы.

— Чушь, — без особой уверенности произнес Макмерфи, улыбнулся, встал и помог подняться девушке. Прищурясь, взглянул вверх на едва видимые в темноте часы. — Почти пять. Мне нужно чуток вздремнуть перед дорожкой. Дневная смена заступит не раньше чем через два часа, пусть Билли и Кэнди побудут еще вместе. Я исчезну часов в шесть. Сэнди, крошка, может, часок в спальне нас протрезвит? Что скажешь? Завтра нам предстоит нелегкий путь в Канаду, Мексику или еще куда-нибудь.

Теркл, Хардинг и я тоже встали. Мы все еще порядком пошатывались, до трезвости нам явно было далеко, но на это опьянение накладывалось сладкое и грустное чувство. Теркл сказал, что через час сбросит Макмерфи и девушку с кровати.

— И меня разбуди, — попросил Хардинг. — Когда будешь уезжать, я встану у окна, сожму в кулаке серебряную пулю и воскликну: «Что это за человек в маске скачет там, впереди?»

— Ладно, хватит. Ложитесь-ка оба спать, и чтоб я вас больше не видел. Ясно?

Хардинг улыбнулся, кивнул, но ничего не сказал. Макмерфи протянул руку, Хардинг пожал ее.

Макмерфи качнулся назад — так ковбои вываливаются из салуна — и подмигнул.

— Теперь, когда Большой Мак исчезнет, у тебя есть шанс снова стать главным психом, приятель.

Он повернулся ко мне и нахмурился.

— Как с тобой, Вождь, не знаю. Осмотрись пока. Может, пристроишься на телевидении, будешь в драках бандитов играть. Ладно, пока.

Я пожал ему руку, и мы пошли в спальню. Макмерфи велел Терклу нарвать простыней и выбрать пару любимых узлов, которыми он хочет, чтобы его связали. Теркл пообещал подумать. Я забрался в свою постель, когда в спальне уже начинало светать, и слышал, как Макмерфи с девушкой тоже укладываются. Я чувствовал тепло во всем теле, но оно показалось мне совсем чужим. Я слышал, как мистер Теркл открыл дверь в бельевой, дальше по коридору, и закрыл ее, сопровождая длинной и громкой отрыжкой. Глаза мои привыкли к темноте, и я увидел, как устроились Макмерфи с девушкой: чтоб было поуютней, уткнулись друг другу в плечо — скорее два уставших ребенка, нежели взрослые мужчина и женщина, которые ложатся в постель для любви.

В таком положении и застали их черные, когда пришли включать свет в шесть тридцать.

* * *

Я много думал над тем, что случилось после, и пришел к выводу, что рано или поздно, так или иначе, все равно это случилось бы, даже если бы мистер Теркл разбудил Макмерфи и девушек и выпустил их из отделения, как мы задумали. Большая Сестра все равно бы узнала обо всем — это можно было прочитать на лице Билли — и сделала бы то же самое как при Макмерфи, так и без него. И Билли все равно бы сделал то, что сделал, а Макмерфи узнал бы об этом и все равно вернулся. Должен был бы вернуться, потому что не смог бы развлекаться в Карсон-Сити или Рино, или еще где-нибудь, оставив за Большой Сестрой последнее слово, давая ей последний ход, как не давал ей спуска здесь, в больнице. Это все равно что заключить контракт на участие в игре, из которой нельзя выйти.

Только мы встали и расползлись по отделению, как рассказ о нашей ночной гулянке начал распространяться со скоростью лесного пожара.

— Что у них было? — спрашивали те, которые не участвовали в этом. — Шлюха? В спальне?

О Боже.

— И не только шлюха, — рассказывали им другие, — но и черт знает какая попойка. Макмерфи собирался тайком вывести девиц до того, как на дежурство заступит дневная смена, но проспал.

— Да хватит чушь нести.

— Никакая это не чушь. Все до последнего слова истинная правда. Сам там был.

Причем все участники ночных событий начали рассказывать об этом с тайной гордостью и удивлением, словно свидетели пожара большого отеля или прорыва дамбы — очень серьезно и важно, потому что о количестве жертв пока не сообщалось, — но по мере повествования серьезность улетучивалась. Всякий раз, когда Большая Сестра и ее подручные черные обнаруживали что-нибудь новенькое, например, пустую бутыль из-под микстуры от кашля или флотилию инвалидных колясок, припаркованных в конце коридора, будто пустые тележки в парке аттракционов, в памяти тотчас всплывал очередной ночной эпизод, который участникам хотелось посмаковать, а остальным — услышать. И хроников, и острых черные согнали в дневную комнату, и там все толклись взволнованные и растерянные. Оба старых овоща сидели, по уши

увязнув в своих подстилках, и хлопали глазами и деснами. Все были еще в пижамах и шлепанцах, кроме Макмерфи и девушки: она успела одеться, только не обулась, нейлоновые чулки висели у нее на плече, а он был в тех самых черных трусах с белыми китами. Они сидели вместе на диване и держались за руки. Девушка снова задремала, Макмерфи привалился к ней и улыбался сонной удовлетворенной улыбкой.

Наши тревоги и беспокойство вновь исчезли, уступив место шуткам и веселью. Когда сестра обнаружила кучу таблеток, которыми Хардинг посыпал Сефелта и девушку, мы прыснули и стали фыркать, едва удерживаясь от смеха, но, когда из бельевой появился мистер Теркл, хлопая глазами и охая, обмотанный сотней ярдов рваных простынь, как мумия с головной болью после перепоя, тут уж мы дружно расхохотались. Большая Сестра воспринимала наше веселье без обычной рисованной улыбки, молча глотала каждый наш смешок, и вскоре стало похоже, что она вот-вот лопнет, как пузырь.

Макмерфи забросил ногу на край кушетки, надвинул кепку пониже, чтобы свет не резал покрасневшие глаза, и постоянно ворочал во рту языком, который, казалось, от выпитой микстуры

покрылся лаком. Вид у Макмерфи был больной и ужасно усталый, он постоянно сжимал виски ладонями и зевал. Но, несмотря на плохое самочувствие, улыбка по-прежнему не сходила с его губ, а раза два он даже громко расхохотался по поводу некоторых находок сестры.

Когда сестра пошла звонить в Главный корпус насчет отставки мистера Теркла, тот и Сэнди воспользовались удачным моментом, снова открыли сетку на окне, махнули всем рукой на прощание и побежали вприпрыжку напрямик, спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой, сверкающей на солнце траве.

— Он не запер окно, — сказал Хардинг Макмерфи. — Быстрее. Быстрее за ними!

Макмерфи тяжело вздохнул и открыл один глаз, налитый кровью, словно насиженное яйцо.

— Шутишь? Я и голову не просуну в это окно, а все тело тем более.

— Друг мой, ты, кажется, в полной мере не осознаешь…

— Хардинг, черт побери тебя и твои возвышенные фразы, в этот момент я осознаю одно: я все еще пьян. И мне дурно. Честно говоря, я уверен, что и ты пьян. Вождь, а ты как?

Я сказал, что совсем не чувствую носа и щек, ес-

ли можно из этого сделать какой-нибудь вывод.

Макмерфи кивнул и снова закрыл глаза; скрестил руки на груди, съехал в кресле, подбородок уткнулся ему в воротник. Он почмокал губами и улыбнулся, словно задремал.

— Да-а, — произнес он, — мы все еще пьяные.

Хардинг волновался. Он пытался объяснить, что для Макмерфи сейчас лучше всего одеться, да побыстрее, пока наш ангел милосердия по телефону докладывает доктору об ужасах, обнаруженных сегодня в отделении, однако Макмерфи сказал, что беспокоиться не о чем, мол, сейчас его положение ничуть не хуже прежнего.

— Ну что еще они мне могут устроить?

Хардинг воздел руки и отошел прочь, предрекая скорую гибель.

Один из черных заметил, что сетка не заперта, закрыл ее на ключ, отправился на дежурный пост и вышел оттуда с большой конторской книгой. Он водил пальцем по списку, читал фамилию сначала про себя, потом, убедившись, что человек здесь, называл фамилию вслух. Список был составлен в обратном алфавитном порядке, чтобы сбить людей с толку, поэтому к букве «Б» он подошел в самом конце. Держа палец на последней фамилии в списке, он начал крутить головой

и оглядываться.

— Биббит. Где Билли Биббит? — Глаза его округлились. Он решил, что Билли сбежал из-под самого его носа и теперь его не поймаешь. — Вы, чертовы твари, кто видел, как ушел Билли Биббит?

Тут все вспомнили, где остался Билли, начали перешептываться и снова захихикали.

Черный вернулся в дежурный пост, было видно, что он разговаривает с сестрой. Она бросила телефонную трубку, выскочила из поста, черный за ней; прядь волос выбилась у нее из-под белой шапочки, словно мокрый пепел прилип к лицу. Между бровей и под носом выступил пот. Она потребовала, чтобы мы сказали, где скрылся влюбленный. Ответом ей был дружный хохот. Она обвела всех взглядом.

— Как это понимать? Он не исчез, Хардинг? Он здесь… в отделении, да? Почему вы молчите? Отвечайте. Сефелт, я вас слушаю.

При каждом слове она вонзала взгляд в чье-нибудь лицо, но люди не реагировали на ее яд. Они смело смотрели ей прямо в глаза. Их ухмылки были ответом на ее уверенную улыбку, которая давно исчезла с ее лица.

— Вашингтон! Уоррен! Идите за мной, осмот-

рим комнаты.

Мы двинулись следом, а они шли впереди, открыли лабораторию, ванную, кабинет доктора…

Скэнлон прикрыл улыбку своими узловатыми пальцами и прошептал:

— В веселенькую историю попал наш Билли. — Мы все кивнули. — А если подумать, то не один Билли. Помните, кто с ним еще?

Сестра подошла к изолятору в конце коридора. Мы придвинулись к самой двери, чтобы лучше видеть, столпились, вытянув шеи, и заглядывали через спины Большой Сестры и двух черных, пока она возилась с замком. Наконец дверь распахнулась. В комнате без окон было темно. Послышались скрип и возня. Сестра вытянула руку, щелкнула выключателем: с матраца на полу, мигая, смотрели Билли и девушка, как две совы из гнезда. Сестра не обратила внимания на дружный хохот за ее спиной.

— Уильям Биббит! — Она изо всех сил старалась, чтобы голос ее звучал холодно и строго. — Уильям… Биббит!

— Доброе утро, мисс Вредчет, — сказал Билли, даже не делая попытки встать и застегнуть пижаму. — Это Кэнди, — он взял девушку за руку и улыбнулся.

Язык сестры заскрипел в высохшем горле.

— Ох, Билли, Билли, Билли… Как мне стыдно за вас.

Билли еще не совсем проснулся, чтобы должным образом реагировать на ее упреки; девушка возилась рядом, искала свои чулки под матрацем, движения ее после сна были замедленными, вид разомлевшим. Время от времени она прекращала свою сонную возню, поднимала глаза и улыбалась сестре, которая стояла с ледяным выражением лица и скрестив руки, потом опять начинала тянуть чулки, зажатые между матрацем и кафельным полом. Оба они двигались как отъевшиеся кошки, которые напились теплого молока и разомлели под солнцем. Но я думаю, они также, кроме всего прочего, были прилично пьяны.

— Ах, Билли, — сказала сестра таким тоном, словно вот-вот не выдержит и расплачется. — Женщина, как эта. Дешевка! Низкая! Размалеванная…

— Куртизанка? — вступил Хардинг. — Иезавель!

Сестра обернулась, пытаясь пригвоздить его взглядом, но он продолжал:

— Не Иезавель? Нет? — Он в задумчивости

почесал затылок. — Тогда Саломея. Та славилась своими пороками. Может быть, вы хотели сказать блудница? Я просто пытаюсь помочь.

Она снова развернулась к Билли. Он сейчас был занят тем, что пытался подняться: перевернулся, встал на колени, задрал зад, как корова, оттолкнулся руками, поднялся на одну ногу, потом на другую и наконец выпрямился. Похоже, он был доволен своим успехом и словно не замечал, что мы столпились у двери, поддразниваем его и приветствуем криками: «Ура!»

Вокруг сестры не прекращался смех, шуточки, громкий разговор. Она перевела взгляд с Билли и девушки на толпу за своей спиной. Эмалево-пластмассовое лицо ее треснуло. Она закрыла глаза в попытке унять дрожь и собраться с силами. Она поняла, что вот он, час, настал: ее все-таки приперли к стенке. Когда она снова открыла глаза, они казались совсем маленькими и неподвижными.

— Билли, меня беспокоит, — начала она, и я почувствовал, что голос ее изменился, — как все это воспримет твоя бедная мать.

Наконец она добилась нужной реакции. Билли вздрогнул, как от боли, и приложил руку к щеке, словно ее обожгло кислотой.

— Миссис Биббит всегда гордилась вашим благоразумием. Мне это известно. Она ужасно расстроится. Вы ведь знаете, Билли, если она расстраивается, как тяжело она заболевает. Она очень чувствительна. Особенно в отношении своего сына. Она всегда с такой гордостью говорила о вас. Она…

— Нет! Нет! — Рот у него открывался и закрывался. Он мотал головой, умоляя ее. — Н-не н-н-надо!

— Билли, Билли, Билли, — продолжала она, — мы с вашей матерью давние подруги.

— Нет! — крикнул он.

Голос его оцарапал ледяные стены изолятора. Он закинул голову и теперь уже кричал светильнику, прыгающему с потолка:

— Н-н-нет!

Мы прекратили смеяться. Следили за Билли, который начал опускаться и складываться на полу: голова откинулась назад, колени ушли вперед. Рукой он водил по зеленым брюкам, потирая ногу, в панике мотал головой, как ребенок, которому пообещали порку, вот только нарежут ивовых прутьев. Сестра притронулась к его плечу, чтобы успокоить, — он вздрогнул, как от удара.

— Билли, я не хочу, чтобы мать узнала о вас

такое… Но что я сама должна думать?

— Н-н-не г-говорите, м-м-мисс Вредчет. Н-н-н…

— Билли, я вынуждена рассказать. Мне трудно поверить, что вы способны на такое, но, в самом деле, что мне думать? Я обнаруживаю вас здесь, наедине с подобного рода женщиной.

— Нет! Это н-не я. Меня… — Ладонь его поднялась к щеке и прилипла. — Это она.

— Билли, она не могла затащить вас сюда силой. — Сестра покачала головой. — Поймите, я бы хотела поверить чему-то другому… ради вашей бедной матери.

Рука поползла вниз по щеке, оставляя длинные красные полосы.

— Это о-о-о-она. — Он посмотрел вокруг. — И М-М-Макмерфи! Он виноват. И Хардинг! И ос-с-стальные! Они д-д-дразнили меня, обзывали!

Теперь его взгляд был привязан только к ее лицу. Он не смотрел ни вправо, ни влево, а только прямо перед собой, ей в лицо, как будто черты исчезли и на их месте закручивалась спираль света, гипнотизирующий водоворот бело-кремового, синего и оранжевого. Он сглотнул и ждал, что она скажет, но она молчала — ее опыт, эта огромная механическая сила сразу вернулась к ней, проанализировав ситуацию и доложив, что

сейчас ей лучше всего молчать.

— Они з-з-заставили меня! Да, м-мисс Вредчет, они за-за-за..!

Она уменьшила интенсивность своего луча, и Билли опустил голову, заплакав от облегчения. Она притянула его к себе за шею, прижала щекой к накрахмаленной груди, поглаживая по плечу и обводя нас медленным высокомерным взглядом.

— Все хорошо, Билли. Все хорошо. Больше тебя никто не обидит. Все хорошо. Я объясню твоей матери.

Говоря это, она продолжала пристально смотреть на нас. И было странно, как могут в одном человеке сочетаться этот тихий, успокаивающий, мягкий, как пух, голос с таким твердым фарфоровым лицом.

— Все нормально, Билли. Пойдемте со мной. Вы посидите в кабинете доктора. Вам незачем находиться в дневной комнате вместе с этими… вашими друзьями.

Она повела его в кабинет, поглаживая по голове и приговаривая: «Бедный мальчик, бедный малыш», а мы медленно потянулись по коридору в дневную комнату, сели там, не глядя друг на друга и не разговаривая. Макмерфи уселся последним.

Хроники на другой половине прекратили

топтаться и забились в свои щели. Украдкой я посмотрел на Макмерфи. Он сидел в кресле в углу — набирался сил перед следующим раундом в бесконечном ряду раундов. То, с чем он дрался, нельзя было победить раз и навсегда. Нужно было постоянно побеждать, выигрывать бой за боем, пока хватит сил, после чего твое место должен занять кто-то другой.

На дежурном посту телефон работал с усиленной нагрузкой, приходили многочисленные начальники смотреть улики, и, когда наконец приехал доктор, все они без исключения смотрели на него так, будто именно он все задумал или, по крайней мере, санкционировал попойку. Под их взглядами он бледнел и дрожал. Похоже, ему было известно многое из того, что произошло здесь, в его отделении, но Большая Сестра снова подробно рассказала ему об этом, медленно и громко, так что мы тоже слушали. В этот раз слушали как положено, с серьезным видом, не перешептываясь и не хихикая. Доктор кивал, вертел в руках очки и хлопал глазами, такими влажными, что казалось, сейчас забрызгает ее. Закончила она тем, что перенес Билли и каким трагическим испытаниям мы его подвергли.

— Я оставила его в вашем кабинете. Он в

ужасном состоянии, так что я рекомендую вам немедленно осмотреть его. Он такое испытал — я просто содрогаюсь при мысли об этом. Бедный мальчик.

Она ждала до тех пор, пока доктор тоже не содрогнулся.

— Мне кажется, вам следует пойти и поговорить с ним. Он очень нуждается в сочувствии. На него жалко смотреть.

Доктор снова кивнул и направился в кабинет. Мы смотрели ему вслед.

— Мак, — произнес Скэнлон. — Послушай, ты не думай, что нас можно обмануть этой чушью. Все получилось не очень хорошо, но мы знаем, в чем здесь причина… и тебя не виним.

— Да, — сказал я, — никто из нас тебя не винит. — И про себя чертыхнулся, пожелав, чтобы мне язык вырвали, — так он на меня посмотрел.

Он закрыл глаза и как-то весь размяк. Может быть, чего-то ждал. Хардинг встал, подошел к нему и только открыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг по коридору прокатился крик доктора, ударил в уши и отпечатал на всех лицах ужасную догадку.

— Сестра! — кричал доктор. — Боже, сестра!

Она побежала, и трое черных побежали по ко-

ридору туда, где все еще звучал крик доктора. Из больных никто не сдвинулся с места. Мы знали, что теперь нам оставалось только ждать, когда она войдет в дневную комнату и сообщит нам о том, без чего на сей раз уже было не обойтись.

Сестра шла прямо к Макмерфи.

— Он перерезал себе горло, — сказала она. Подождала, что он ответит, но Макмерфи даже не поднял головы. — Он открыл стол доктора, нашел инструменты и перерезал себе горло. Бедный, несчастный, неправильно понятый мальчик убил себя. Сейчас он там, в кабинете доктора, с перерезанным горлом.

Снова она подождала. Но он по-прежнему не поднимал головы.

— Сначала Чарльз Чесвик, затем Уильям Биббит! Надеюсь, вы удовлетворены? Играете человеческими жизнями… играете на человеческие жизни… думаете, что вы Бог!

Она повернулась, пошла к дежурному посту, закрыла за собой дверь и оставила после себя пронзительный убийственно-холодный звук, который раздавался из трубок дневного освещения у нас над головами.

Сразу у меня мелькнула мысль задержать его, попытаться уговорить, чтобы он остановился на

уже выигранном и оставил за ней этот последний раунд, но затем другая, более важная мысль совершенно вытеснила первую. Я вдруг неожиданно ясно и четко осознал, что ни я, ни целая дюжина нас его не остановят. Это не сделают ни уговоры Хардинга, ни мои кулаки, ни лекции полковника Маттерсона, ни ворчание Скэнлона, никто этого не сможет. Мы не остановим его как раз потому, что именно, мы толкали его на это. Не сестра, а наша острая нужда заставляла его медленно приподниматься, уперев руки в подлокотники кожаного кресла, и, вытолкнув тело вверх, встать и стоять — вроде тех зомби из кинофильмов, которые одновременно получили команды от сорока хозяев. Именно мы заставляли его хорохориться без отдыха, стоять на ногах, которые уже не держат, целыми неделями подмигивать, ухмыляться, смеяться, продолжая играть свою роль даже тогда, когда его юмор давно был испепелен между двумя электродами.

Мы заставляли его встать, подтянуть черные трусы, будто кожаные ковбойские штаны, одним пальцем сдвинуть кепку на затылок, словно это десятигаллоновый «стетсон», — все медленными механическими движениями; когда же он пошел через всю комнату, было слышно, как железо его

голых пяток звенит и выбивает искры из пола.

Только в самый последний момент, после того как он выбил стеклянную дверь, а она мгновенно повернула к нему лицо (на котором ужас навсегда стер любое другое выражение, какое она захочет придать ему), и закричала, когда он схватил ее, рывком разорвав на ней форму спереди до самого низа, и снова закричала, когда два шара с сосками стали вываливаться, разбухая и разбухая до таких размеров, что никто раньше даже вообразить себе не мог, теплые и розовые на свету, — только в последний момент, когда начальство поняло, что трое черных и не думают ничего делать, а лишь стоят и смотрят и оттаскивать его им придется без их помощи, самим, и доктора, начальники и медсестры стали отдирать от ее белого горла эти толстые красные пальцы, словно его пальцы были ее шейными костями, пока наконец, дернув его назад, с громким пыхтением не оторвали от нее, — только тогда стало видно, что он, может быть, действительно, не совсем нормальный, этот упрямый, загнанный в угол человек, исполняющий трудный долг, который все равно надо исполнить, хочешь ты того или нет.

У него вырвался крик. В последний миг, когда он падал навзничь и мы на секунду увидели его

перевернутое лицо, прежде чем на полу его начала душить свора людей в белом, только тогда он позволил себе закричать.

В этом крике был страх затравленного зверя, ненависть, признание своего поражения и вызов; если вам когда-нибудь приходилось преследовать енота, кугуара или рысь, то именно такой последний крик издает загнанное на дерево, подстреленное и падающее вниз животное, когда на него набрасываются собаки и ему безразлично все, кроме самого себя и своей смерти.

Я решил пробыть здесь еще пару недель, хотелось посмотреть, что будет дальше. Все менялось. Сефелт и Фредриксон выписались вместе вопреки рекомендациям врачей, два дня спустя больницу покинули еще трое острых, а шестеро перевелись в другое отделение. Проводилось тщательное расследование по поводу вечеринки и смерти Билли; доктору сообщили, что готовы принять его отставку, но он заявил, что они обязаны довести дело до конца, а если им хочется, могут уволить его сами.

Большая Сестра с неделю пробыла в лечебном корпусе, и отделением руководила маленькая медсестра-японка из буйного, что дало нам возможность существенно изменить распорядок. К

тому времени, когда вернулась Большая Сестра, Хардингу удалось добиться, чтобы нам снова открыли ванную, и теперь он сам банковал в «очко», пытаясь своим тонким приятным голосом подражать Макмерфи и его акционерному реву. Хардинг сдавал карты, когда вдруг мы услышали, как она вставляет ключ в замок.

Мы вышли из ванной в коридор ей навстречу, чтобы спросить о Макмерфи. Когда мы подошли, она отпрыгнула на два шага, и я даже подумал, что она сейчас убежит. Лицо ее, синее и бесформенное, с одной стороны распухло так, что полностью закрыло один глаз. Горло — под толстой повязкой. И новая белая форма. Некоторые с усмешкой поглядывали на эту форму спереди: несмотря на то, что она была еще более узкой, плотной и накрахмаленной, нежели прежняя форма, уже нельзя было скрыть тот факт, что сестра — женщина.

Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с Маком.

Из кармана формы она достала маленький блокнот и карандаш, написала: «Он вернется» — и передала листок нам. Он дрожал у нее в руке.

— Вы уверены? — спросил Хардинг, прочитав.

Мы слышали многое: что он расправился с

двумя санитарами в буйном, взял у них ключи и сбежал, что его отправили обратно на исправительную ферму и даже что медсестра, назначенная старшей, пока найдут нового доктора, прописала ему специальное лечение.

— Вы действительно уверены? — еще раз задал вопрос Хардинг.

Сестра снова достала блокнот. Пальцы ее плохо слушались, еще более побелевшая ее рука прыгала по блокноту, как у цыганок в торговом ряду, которые за один цент каракулями напишут вашу судьбу.

«Да, мистер Хардинг, — написала она. — Я бы не говорила, если бы не была уверена. Он вернется».

Хардинг прочитал листок, порвал и бросил обрывки в нее. Она вздрогнула и подняла руку, заслоняя от бумажек распухшую половину своего лица.

— Мадам, мне кажется, вы несете хреновину, — сказал ей Хардинг.

Она уставилась на него, рука ее на какую-то секунду потянулась к блокноту, но затем она повернулась и пошла на дежурный пост, засовывая по пути блокнот и карандаш в карман формы.

— Хм, — произнес Хардинг. — Похоже, наша

беседа протекала несколько неровно. Хотя, когда тебе говорят, что ты несешь хреновину, что можно написать в ответ?

Она попыталась навести порядок в отделении, но это было слишком трудно. Все еще ощущалось присутствие Макмерфи. Он по-прежнему вышагивал по коридорам, громко смеялся на собраниях и пел в уборной. Она уже не могла править по-старому, тем более ей приходилось все писать на листках бумаги. Одного за другим она теряла своих больных. После того как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевелся в другое отделение, осталось только трое из тех, кто ездил на рыбалку: Мартини, Скэнлон и я.

Мне хотелось еще немного побыть здесь: уж больно уверенно она себя чувствовала, похоже, ждала еще одного раунда, и я должен был все увидеть своими глазами. И вот однажды утром, когда Макмерфи отсутствовал уже три недели, она сделала последний ход.

Дверь отделения открылась, и черные ввезли каталку с табличкой внизу, на которой жирными черными буквами было написано: МАКМЕРФИ РЭНДЛ П. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ. А ниже чернилами: ЛОБОТОМИЯ.

Они втолкнули каталку в дневную комнату и

оставили у стены, рядом с овощами. Мы стояли в ногах каталки, читали табличку, потом посмотрели в другой ее конец на голову, утонувшую в подушке, рыжий чуб, лицо молочно-белого цвета и вокруг глаз багровые кровоподтеки.

После минутного молчания Скэнлон повернулся и плюнул на пол.

— Что эта старая сука хочет нам подсунуть? Это же не он.

— Ничего похожего, — сказал Мартини.

— Она что, за дураков нас считает?

— Хотя постарались они неплохо, — заметил Мартини, подходя ближе к голове и показывая пальцем. — Смотрите-ка. И сломанный нос сделали, и шрам… даже баки.

— Ага, — проворчал Скэнлон, — но черта с два я поверил!

Я протолкался вперед и стал рядом с Мартини.

— Конечно, они умеют делать разные штуки вроде шрамов и сломанных носов, — сказал я. — Но у них получается ненастоящее. В лице-то ничего нет. Как манекен в магазине, правильно, Скэнлон?

— Конечно, — согласился Скэнлон и снова сплюнул. — Вся эта штука какая-то слишком пустая. Всем ясно.

— Смотрите, — произнес один из пациентов, отворачивая простыню, — татуировка.

— А как же, — сказал я, — и татуировки умеют делать. А вот руки, а? Руки-то? Этого не смогли. У него руки были большие!

До самого вечера Скэнлон, Мартини и я высмеивали эту, как выразился Скэнлон, паршивую ярмарочную подделку на каталке, но шло время, опухоль вокруг глаз уменьшалась, и я начал замечать, что пациенты все чаще подходят и смотрят на тело. Я видел, как они идут мимо каталки вроде бы к полкам с журналами или к фонтанчику с питьевой водой, а сами украдкой бросают взгляд на это лицо. Я смотрел и пытался себе представить, как поступил бы он в этом случае. В одном я был точно уверен: он бы никогда не допустил, чтобы лет двадцать или тридцать в дневной комнате находилось *это* с его именем на табличке, а Большая Сестра демонстрировала бы его как пример, мол, вот что может случиться с человеком, если он пойдет против системы. Это я знал наверняка.

Ночью я дождался, когда черные завершат обход и звуки в спальне сообщат мне, что все уснули. Затем повернул голову на подушке, чтобы видеть соседнюю кровать. Часами я при-

слушивался к этому дыханию — с тех пор как они подкатили каталку к кровати и уложили на нее носилки, — слушал, как легкие спотыкаются, замирают, потом снова начинают работать, и каждый раз надеялся, что они остановятся навсегда; но до сих пор так и не взглянул на него ни разу.

В окно светила холодная луна, ее свет, как снятое молоко, заливал спальню. Я сел на кровати, моя тень упала на тело и разрезала его пополам между бедрами и плечами, оставив черное пустое пространство между ними. Опухоль вокруг глаз сошла, они были открыты — уставились на луну, открытые, без каких-либо мыслей, потускневшие, оттого что долгое время не мигали, похожие на перегоревшие предохранители. Я повернулся, взял подушку — глаза заметили это мое движение и следили, как я встал и пересек пространство в несколько футов, разделявшее наши кровати.

Большое, сильное тело крепко цеплялось за жизнь, оно долго боролось, не желая ее отдавать, билось и металось так, что я вынужден был в конце концов лечь на него во весь рост, зажать его ноги своими, как ножницами, и одновременно вдавливать подушку в его лицо. Я лежал на этом теле, мне показалось, несколько дней. Пока оно

не перестало дергаться. Потом скатился с него. Убрал подушку и при свете луны увидел, что пустой, тупиковый взгляд нисколько не изменился даже после смерти. Большими пальцами я прикрыл ему веки и держал их долго, чтобы они уже больше не открылись. Потом снова лег на свою кровать.

Какое-то время я лежал, укрывшись с головой, надеялся, что сделал все без особого шума, но Скэнлон зашипел со своей кровати, и я понял, что ошибся.

— Спокойней, Вождь, — сказал он. — Не расстраивайся. Все правильно.

— Заткнись, — прошептал я. — Спи.

Некоторое время было тихо, потом он опять зашипел:

— Все кончено?

Я ответил: «Да».

— Боже, — сказал он тогда, — она узнает. Ты понимаешь? Никто, конечно, ничего не докажет — любой может отдать концы после операции, так часто бывает. Но она все равно догадается.

Я промолчал.

— На твоем месте, Вождь, я бы рвал отсюда. Точно. Послушай, ты убежишь, а я скажу, что видел, будто он вставал и ходил после того, как ты ушел,

и так прикрою тебя. Отличный план, правда?

— Да, конечно, очень просто. Попросить их, чтобы открыли дверь и выпустили меня.

— Нет. Но один раз он показал тебе, как это сделать. Еще в первую неделю. Помнишь?

Я не ответил, а он больше ничего не говорил, и в спальне снова стало тихо. Еще несколько минут я лежал, затем встал, начал одеваться. Потом открыл тумбочку Макмерфи, взял его кепку, примерил. Она была слишком маленькой, и мне вдруг стало стыдно за то, что я хотел ее надеть. Я бросил ее на кровать Скэнлону и вышел из спальни.

— Прощай, приятель, — прошептал он мне вслед.

Лунный свет с трудом проникал сквозь сетку на окнах ванной, он выхватывал низкие тяжелые очертания пульта, отражался от хромированных деталей и приборных стекол — такой холодный, что, казалось, сейчас я услышу, как он щелкает по пульту. Я сделал глубокий вдох, нагнулся, взялся за рычаги. Напряг ноги и почувствовал, как пол хрустит под тяжелым весом. Снова поднатужился и услышал, как выдергиваются из пола и рвутся провода с соединителями. Резко накренил пульт на колени и теперь уже смог обхватить его рукой

с одной стороны, поддерживая другой рукой снизу. Хромированная поверхность холодила мне шею и щеку. Я стал спиной к окну, потом вместе с пультом резко развернулся, отпустил руки, и он по инерции с треском прошил сетку и окно. В лунном свете стекло брызнуло в разные стороны, как при крещении, окропляя прозрачной холодной водой спящую землю. Я тяжело дышал, мелькнула мысль вернуться за Скэнлоном и другими, но вдруг в коридоре послышался частый писк резиновых тапочек, тогда я оперся на подоконник и прыгнул вслед за пультом в лунный свет.

Я бежал через всю территорию больницы к шоссе — туда, куда, мне вспомнилось, убегала собака, за которой я наблюдал из окна. Помню, бежал огромными шагами, словно парил в воздухе, пока нога в очередной раз не касалась земли. Мне казалось, я лечу. Свободный. Я знал: никто и пальцем не шевельнет, чтобы преследовать беглеца из больницы, а Скэнлон сможет ответить на любые вопросы, так что бежать изо всех сил не было смысла. Но я не сбавлял скорости. Только пробежав несколько миль, я наконец остановился и по насыпи взобрался на шоссе.

Меня подвез один парень, мексиканец, который ехал на север с целым грузовиком овец; я

ошеломил его сногсшибательной историей о том, будто я профессиональный борец-индеец, которого гангстеры упрятали в психушку, что он тут же остановился, дал мне кожаную куртку, прикрыть мою зеленую пижаму, и одолжил десять долларов на еду, пока я на попутках буду добираться до Канады. Когда он уезжал, я попросил у него адрес, обещая выслать деньги сразу, как только заработаю.

В конце концов я, наверное, доберусь до Канады, но по пути очень хочется остановиться на Колумбии. Наведу справки в районе Портленда, реки Худ и Даллза, — может, отыщу своих, если еще не все спились. Мне интересно, чем они занимались с тех пор, как правительство выкупило у них право быть индейцами. Ходили слухи, что некоторые из племени стали восстанавливать свои старые, шаткие, деревянные мостки вдоль миллионнодолларовой гидроэлектростанции и ловят лосося острогой в водосливе. Я многое бы дал, чтобы посмотреть на это. Но больше всего мне хочется побывать в местах возле ущелья, снова все увидеть и заново восстановить в памяти.

Я так долго отсутствовал.